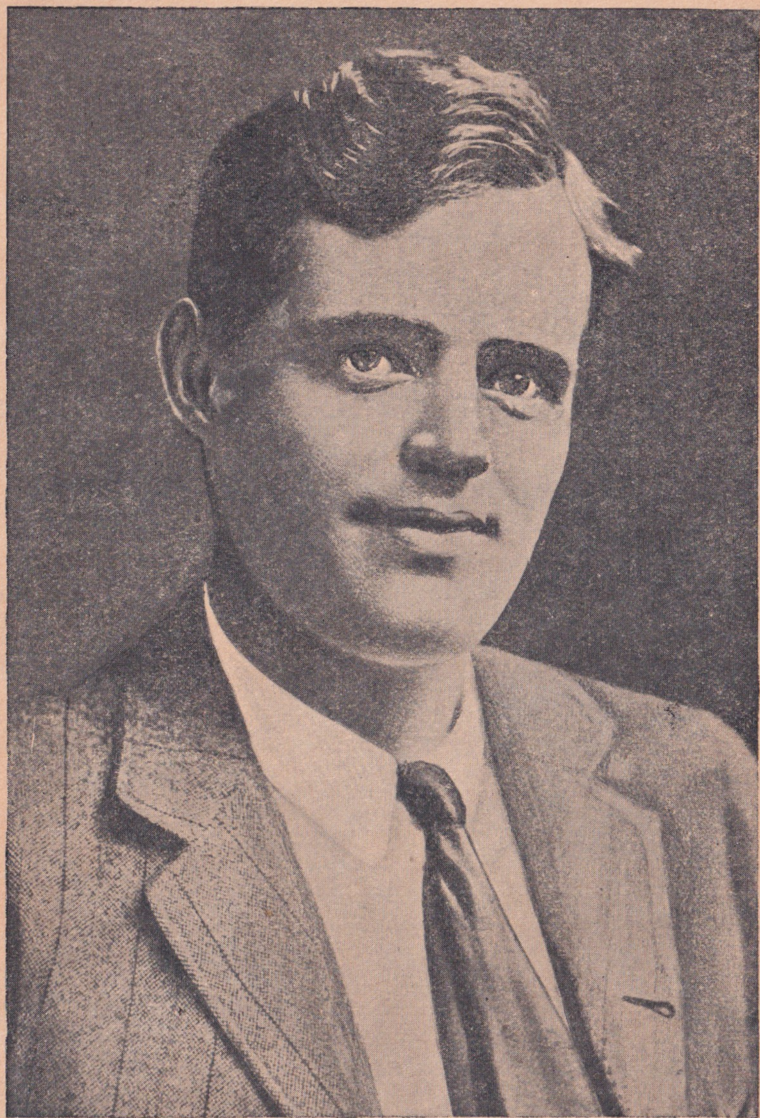


ДЖЭК ЛОНДОН (1876—1916)

ДЖЭК ЛОНДОН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С ПОРТРЕТОМ АВТОРА, ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ ПРОФ. П. С. КОГАНА И БИОГРАФИЕЙ-ВОСПОМИНАНИЯМИ ЧАРМИАН ЛОНДОН

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ „ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ“ ЗА 1928 — 29 г.г.

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЖЭКА ЛОНДОНА

ТОМ I КНИГИ 1 — 2

ЖИЗНЬ ДЖЭКА ЛОНДОНА

ЧАРМИАН ЛОНДОН

ДОРОГА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
С. Г. ЗАЙМОВСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
„ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ“
МОСКВА — 1928

JACK LONDON

THE ROAD



Jack London

1876 - 1916

ОБЛОЖКА А. МОГИЛЕВСКОГО

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ „КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ" ПИМЕНОВСКАЯ, 16, В КОЛИЧ. 50.000 экз. ГЛАВЛИТ № А—5.067

1928

О ДЖЭКЕ ЛОНДОНЕ

Очерк П. С. Когана

I

Джэк Лондон—быть-может, наиболее читаемый писатель нашего времени и не только читаемый. Он наиболее созвучен нашей эпохе. Это тот тип, которого она ищет.

Социалистическое движение, подготовляющее будущий мир, организованный и устойчивый мир людей, которые снова будут знать, чего они хотят,—социализм привлекал этого писателя. Но Джэк Лондон был социалистом в особом смысле этого слова.

Социалистическое движение трансформируется в области психики своеобразно. Оно создает свой психологический тип. Оно устанавливает сумму качеств, которые являются идеалом личности. С этой точки зрения, миросозерцание, программы, с одной стороны, и психологический тип—с другой, могут не совпадать. Еще несколько лет тому назад, когда у нас искали в классической литературе репертуара, созвучного революционной эпохе, как часто повторялось имя Клейста и в особенности название его трагедии «Принц Гомбургский». Казалось бы, что созвучного в этом произведении, в этой идеализации «великого курфюрста», в этом восторженном культе зарождающейся прусской монархии и ее солдатчины,—что общего в политических идеалах Клейста с коммунистическим движением? И, тем не менее, выдвигавшие эту трагедию были в значительной степени правы. Она обвеяна духом коллективизма, проникнута его пафосом, непреложной верой в то, что в конфликте между личностью и коллективом интересы первой ничтожны и жалки, растворяются в грандиозности коллективных интересов. Эта трагедия была нужна нам для озарения настроений, в которых развертывалась наша собственная борьба, и значение ее не умалялось тем фактом, что торжество коллективного духа во времена «великого курфюрста» служило целям и задачам нам чуждым, далеким от нашего сознания. Цели были различны, но методы в борьбе сближали героев и мучеников борьбы, были сходны в несходных эпохах страсти и усилия.

Именно в этом смысле Джэк Лондон великий социалист. Правда, мы знаем, что он был членом социалистической партии, но знаем также, что он наивно возлагал надежды на парламент, на количественный рост этой партии в палате. В конце концов он глубоко почувствовал мещанский дух американского соглашательского социализма, когда ближе присмотрелся к нему. Когда за несколько месяцев до своей смерти он вышел из партии, он уходил с сознанием, что «их» радикализму грош цена. «Я думал,—писал он,—что рабочий класс своей борьбой, своей непримиримостью, своим отказом итти на соглашение с врагами сможет освободить себя. Но так как последние годы все социалистические направления в Соединенных Штатах стали миролюбивыми и компромиссными,—мое сознание отказывается санкционировать дальнейшее мое пребывание в партии». Он ушел, потому что свобода воли и независимость не могут быть подарены или вверены расам или классам. «Если расы и классы неспособны восстать и силой своего ума и своих мускулов вырвать у мира свободу, независимость и волю, они никогда не получат этих великолепных вещей. И даже если эти великолепные вещи будут им любезно преподнесены на серебряном подносе высшими индивидуальностями, то они не будут знать, что̀ им делать с этими вещами, они не сумеют воспользоваться ими и будут тем, чем они были в прошлом—низшими расами и низшими классами».

В этих словах вся сущность его мироощущения и его отношения к величайшему движению нашего времени. Джэк Лондон не столько постигал экономическую сущность и политическую роль социализма, сколько принял тот тип человека, который нужен социализму для его осуществления. Социализм, как конечная цель, маячил где-то вдали, идеализировался, как будущее общество, как раса могучих и сильных людей. Но социализм, как стимул борьбы, как долгая война переходного времени, как источник происхождения суровых людей, не ведающих сантиментальности, противостоящих современной расслабленности, шатаниям интеллигентской мысли, колебаниям, дряблости и жалостливости,—этот социализм был усвоен Джэком Лондоном.

II

Можно сказать, что он любил средство больше цели. Мало того, он из этого средства сделал свою цель. Он прославил битвы, отодвинув куда-то в тень те цели, во имя которых эти битвы велись. Он был тем горьковским соколом, который сражался в бескрайнем небе без всяких целей и движущим стимулом которого был девиз: «О, счастье битвы!» Сам того не сознавая, он был в сущности глубочайшим выражением заратустровского идеала.

Именно этим объясняется великое обаяние Джэка Лондона. В этом тайна его совершенно исключительного успеха, его мировой славы, редкой участи, выпавшей на долю этого писателя, произведения которого переведены на все языки и читаются во всех концах света. Джэк Лондон пришелся ко времени. Революционное движение почти повсюду в настоящее время упирается в проблему личности. Передовая, сознательная часть современного человечества уже не сомневается в самом пути, которым цивилизация выйдет из тупика. Программа ясна и даже более или менее четко вырисовываются очертания и формы жизни будущего общества, идущего на смену современному, уже сотрясшемуся жизненному укладу. Мы не столько нуждаемся сейчас в разработке самой проблемы социализма, сколько в ее проводниках. В борьбе классов бывают моменты, когда та или другая «надстройка» выдвигается на первый план, становится центральной и решающей. Стадия развития, в которой находится в настоящее время революционное движение, выдвинула на первый план проблему морали, морально стойкой личности. Это инстинктивно ощущается массами, и успех Лондона обусловливается, конечно, прежде всего тем, что он в своих многочисленных произведениях вывел этот искомый образ, этот идеал сильной личности, соответствующей задачам времени.

Ницшеанство и социалзм враждебны друг другу. Идеал гордой, утверждающей себя, самодовлеющей личности, противостоящей всякой организованной общественности, и идеал совершенного организованного общества на первый взгляд непримиримы и несоизмеримы между собой. Казалось бы, нет точек соприкосновения между идеей, враждебно противопоставляющей свободу личности и общественную необходимость, и идеей согласования обоих этих начал. И тем не менее есть сфера, где ницшеанство и социализм как-то неожиданно сходятся и тянутся друг к другу, это—сфера выработки индивидуального характера. Социализму последователь Заратустры нужен не своим анархо-индивидуалистическим подходом к миру, а железной волей характера, стихией борьбы, которой он захвачен. Социализм выдвинул индивидуалистов особого типа, тех, которые вознесли себя над толпой и даже противостоят массам, но противостоят во имя этих же масс, уполномоченные к власти их незримым, неписанным мандатом. Это—тоже своего рода жестокость к ближнему во имя любви к дальнему. Всякое массовое движение, всякий коллективизм не следует понимать упрощенно. В такую эпоху выдвигаются герои, и по степени их величины и силы можно даже судить о прочности, о своевременности самого движения. В этом нет противоречия, нет отречения от идеи коллективизма. Это редкие и величественные в истории моменты, полные гармонии между вождем и массой. Если внимательно присмотреться к современной европейской и американской литературе, не к

той литературе, которая выражает настроения упадочных классов, сосредоточивается на личности, ушедшей от общества в глубины своих собственных переживаний, а к литературе, вызванной к жизни стремлениями творческих классов современного человечества, то мы увидим, что вся она проникнута идеей этого нового человека. Это тип человека, который принял грубую правду жизни, понял жизнь, как жестокую борьбу за существование, постиг этот основной закон бытия и знает, что путь к гармоническому сочетанию человеческих усилий лежит тоже через борьбу.

III

Творчество Джэка Лондона выросло из этих настроений. В этом его сила, в этом обаяние, которым он пользуется, неотразимое могущество его воздействия на умы и на воображение современного читателя.

Особый отпечаток на социализм Джэка Лондона накладывает его американизм. Джэк Лондон—американец. Он сын страны, где ненависть к капитализму выражается порой в стремлении овладеть капиталом, пробить себе дорогу и занять место среди властителей современной буржуазной жизни. Если не задуматься над этим американизмом, то на первый взгляд будет непонятен карьеризм Джэка Лондона. Он ненавидит капиталистов, но стремится стать таковым. Быть-может, в мировой литературе найдется немного страниц, наносящих такие беспощадные удары эксплоатации, жестокости и эгоизму правящих классов, изобличающих систему, построенную на унижении и нищете миллионов, на охране праздного существования немногих. Как обличитель этой системы, Джэк Лондон почти не имеет соперников среди современных писателей.

И тем не менее в борьбе против этой системы основная идея социализма, организация эксплоатируемых классов, отодвигается у него всегда куда-то на второй план. Он как бы стремится побить капиталистов их собственными средствами, развив в себе качества своего непримиримого врага, стремясь к личному обогащению, как бы исповедуя принцип «каждый за себя». Его излюбленный герой, это—личность, проявляющая несокрушимое упорство в борьбе за свою жизнь и за свое развитие. Захватывающая сила его романов скрыта в картинах препятствий, стоящих на пути личности, в изображении ее усилий к преодолению этих препятствий, ее поражений и ее побед.

Лучший из романов Джэка Лондона «Мартин Идэн»—это его собственная автобиография. Это—история личности, прошедшей суровый путь, путь воина, берущего одну за другой крепости жизни и в конце концов восторжествовавшего. Мы почти не встречаем у Джэка Лондона типа организатора, коллективиста, образ борца, утверждающего

свою волю к жизни посредством сочетания коллективных сил, руководителя масс. Его герой почти всегда одиночка, «каждый за себя», борющийся, чтобы отстоять свое место в жизни. Джэк Лондон как бы отделил себе особое место в современной борьбе. Он старался овладеть теми преимуществами, которыми пользовались его враги. В нем неистребима была своеобразная гордость или своеобразное честолюбие американца. Он стремился показать, что в борьбе на ступенях современной социальной лестницы он способен достигнуть верхней ступени. «Добиться этого,—говорит автор его биографии,—было, по его мнению, прямой пользой для дела: показать «им», что социалисты не отбросы и не неудачники, имело известную ценность, как пропаганда». Его книги потому так и поднимают дух всех выброшенных из-за пиршественного стола жизни, за которым восседают обладатели туго набитых мешков. Он сумел выявить внутренние преимущества людей, выброшенных за борт системой буржуазного общества, показать их превосходство над властителями этого общества даже в пределах существующей системы. Фабулы его романов таковы, что с убедительной очевидностью выступает значение ничем не охраняемой силы, силы, ищущей своих устоев в самой себе, извлекающей из себя все средства противодействия существующему порядку, сводящей всю мощь этого порядка к нулю, силы эластичной и приспособляющейся, легко возносящейся и так же легко опускающейся с таким ироническим пренебрежением к завоеванным благам. Джэк Лондон как-будто говорит капиталистическому обществу: «Я знаю, что для того, чтобы жить, иметь возможность все видеть и все знать—необходимы богатства. Вам они даются законом, защитой всех сил современного государства, организованного в интересах капиталистов. Я достигаю того же, закалившись в суровой борьбе, презирая эти законы и эту защиту, я овладеваю этими же преимуществами, внутренне не уважая их, зная, что они—не абсолютные критерии человеческого достоинства, что они—минутные ценности, лишь условно дающие их обладателям права на уважение и признание. Но я овладеваю ими для того, чтобы показать вам, что мои качества бродяги и беззаветного авантюриста вполне могут поспорить с вашими, с качествами людей, утвердивших свое положение на лживых устоях современного гниющего общества».

IV

Он закалился и выковал свойства своего характера там, где нет цивилизации, где борьба за существование проявляется в обнаженной форме и где основной закон развития органического мира и человечества предстает во всей своей очевидности. Он научился смотреть на людоедство, убийство, охоту за головами, он видел туземцев, обнаженных,

вооруженных луками, стрелами, копьями, томагавками и боевыми палицами, сильные характеры, воевавшие с акулами и хищными зверями, бежал от лучей тропического солнца, страшно разрушающих ткани белых людей. Его постоянно влекло к бродягам и отбросам цивилизации или в те уголки земли, где нужны звериная энергия и титаническая сила для борьбы за самое свое существование, за скудную пищу, поддерживающую жизнь,—на скалистые горы, высящиеся непроницаемой стеной, в неизведанные пространства, где никогда не ступала нога белого человека, в непроходимые чащи и на отвесные спуски, где каждый шаг вперед берется с бою, где люди борются за жизнь теми же путями, какими боролись тысячу лет тому назад. Здесь, где люди и звери не так уже далеко ушли друг от друга в средствах борьбы между собой, где ноги, зубы и когти—преобладающее оружие и тех и других, Джэк Лондон выработал в себе те свойства души, какие пригодились ему в борьбе с цивилизованным обществом.

Одно из замечательных свойств его творчества—то, что он постигает человека в его нетронутой первобытности, что даже сквозь сознание современного цивилизованного человека писатель улавливает инстинкты его отдаленных предков, в современной борьбе видит древние, сложившиеся в доисторические времена побуждения; укрощенные веками, сдерживаемые и смягченные, отшлифовавшиеся в процессе развития общества, эти побуждения проявляются в своих первоначальных стихийных формах в известные моменты. И Джэк Лондон любит улавливать эти проявления, потому что цивилизация наша запуталась в своих собственных изобретениях, слишком далеко ушла от естественной природы человека. Необходимо вернуть ее внимание к основным силам, движущим жизнью, сорвать все пышные, лицемерно расшитые одежды, которыми она прикрыла голый закон борьбы за существование. Он старается проникнуть в доисторическую древность, разглядеть зародыши будущего человека в его предках, живших «до Адама». Он слушает «зовы» предков, исконные зовы, которые можно уловить в их основной неизменности, при всех модуляциях, при всех наслоениях, рождаемых различными условиями жизни. Один из любимых сюжетов его повествований—антитеза первобытной жизни и цивилизации. Логика цивилизации, ее запутанное правосознание, ее извивающаяся, как змея, мораль, ее отвратительная философия, напрягающая усилия для объяснения и оправдания ее противоречий,—эта культура напоминает жалкого вора, изворачивающегося и лгущего перед ясной логикой естественного человека.

В этом свойстве его мироощущения скрывается одна из главных причин действия его романов на современного читателя. В эпоху такой коренной ломки сознания, какую переживаем мы, в эпоху ликвидации крупных, господствовавших в течение веков форм общественных отно-

шений, такой пересмотр является естественным. Так было и во времена завершающейся ликвидации феодально-дворянского строя жизни, когда Руссо и его ученики во всей Европе прославляли первобытного человека. Противоречия и ложь, прикрытые изобретательным и хитрым умом цивилизованных адвокатов, становятся очевидными перед прямолинейным рассуждением простого ума. Поднявшиеся низы, долго верившие, требуют отчета.

Творчество Джэка Лондона—художественное воплощение этой коллизии. Недаром его так долго гнали, недаром издатели, торговля которых зависела от общественного мнения, возвращали ему рукописи с требованием смягчить или выбросить страницы, оскорблявшие «нравственные чувства» мещанства. Но и само это мещанство с упоением читает Джека Лондона. Оно любит его героев, любит помечтать о том, чего не видит вокруг себя. Для этого читателя «омерзительный реализм» его романов является экзотикой, своего рода романтикой. Погрязший в своих будничных интересах, дышащий спертым воздухом своего благополучия, в своей жажде необычайного, мещанин находит удовлетворение этой потребности в приключениях, опасностях и отваге героев, изображаемых автором «Железной Пяты».

Джэк Лондон уловил идеальные стремления нашей эпохи.

Упадочная в своих господствующих формах, жизнь не способна к дальнейшему движению вперед. Она смутно ощущает те возможности, которые разовьются в новое мироощущение. Джэк Лондон дал им конкретное выражение, сделал смутное ясным. Он умел находить ту обстановку и тех людей, в которых эти возможности скрыты, и умел показать их. Это искусство далось ему не без труда. Его писательский путь особенный. Он верил опыту больше, чем книгам. Он становился фактически носителем той или другой системы на практике, прежде чем узнавал название этой системы из книг. Он, по его собственному выражению, формулировал евангелие труда, не будучи знаком ни с Карлейлем, ни с Киплингом. Труд, работа—это все. «Гордость, с которой я заканчивал трудовой день, вам будет непонятна. Она почти непонятна и мне, когда я оглядываюсь назад,— пишет он в своей статье «Как я стал социалистом».—Я был таким верным рабом зарплаты, какого редко приходилось эксплоатировать капиталистам. Манкировать своей работой или притворяться больным я считал грехом, во-первых, против самого себя, во-вторых, против своего хозяина. Я считал это преступлением, равным измене». Так как он обладал прекрасным здоровьем и крепкими мускулами, так как он в то время не думал о стариках, больных и калеках, то он был индивидуалистом и от всей полноты сердца пел гимн сильным. Над его веселым индивидуализмом, как рассказывает он в упомянутой статье, господствовала ортодоксальная буржуазная мораль. Он читал

буржуазные газеты, слушал буржуазных проповедников и приветствовал громкие фразы буржуазных политиков. Впоследствии он высказывал уверенность, что если бы другие события не изменили его жизни, из него вышел бы профессиональный штрейкбрехер.

V

Эту перемену произвело бродяжничество. Он спустился до уровня подонков общества и был поражен, когда узнал, откуда берутся эти подонки. Многие из них прежде были такими же здоровыми и сильными, «такими же белокурыми зверями», как и он, но с ним они встретились уже измученные, искривленные, обезображенные трудом, тяжестью жизни и несчастьями, выброшенные своими хозяевами в качестве негодных старых кляч. Бродя с ними, дрожа от холода в товарных вагонах и вымаливая кусок хлеба с черного хода, он выслушивал многочисленные истории жизней, начинавшихся при таких же благоприятных условиях, как и его, с такими же—и даже лучшими—здоровьем и силами, как и у него, и кончавшихся здесь, на его глазах, на дне общественной ямы. Им овладел ужас при мысли, что когда-нибудь и ему изменит сила, и он не сможет работать рядом с сильными и здоровыми. Он задумался и, подобно тому, как раньше был индивидуалистом, сам того не сознавая, так теперь стал социалистом—тоже бессознательно, и когда потом он набросился на книги, то не они сделали его социалистом, из них он только узнал, что уже был им: «С того дня я прочел много книг, но ни один экономический аргумент, ни одно логическое доказательство неизбежности социализма не повлияли на меня так глубоко, так убедительно и неотразимо, как повлиял тот момент, когда я увидел перед собой раскрытую пропасть общественной ямы, когда эта пропасть тянула меня к себе, и я чувствовал, что начинаю скользить все дальше и дальше: еще один шаг—и я буду на дне».

И, наконец, Джек Лондон—писатель. Он наделен жадным любопытством, чувством любознательности. Он блуждает среди опасностей, среди разнообразных людей, охваченный бескорыстным стремлением к познанию. Когда ищешь тот стержень, вокруг которого группируются разнообразные свойства его многогранного характера, то кажется, будто таким стержнем является именно эта безудержная любознательность. Ею рождается и его страсть к бродяжничеству и его карьеризм. В нем изумительно сочетаются и активизм и рефлексия. Он живет всей полнотой жизни, но ни на минуту не перестает наблюдать ее. Он захвачен судьбой окружающих и вместе с тем видит в них объект своего художественного исследования. И даже к своему богатству

стремится он только потому, что оно дает возможность больше видеть, больше узнать, больше изучить и обогатить сокровищницу своего ума.

Бескорыстное знание и утилитаризм переплетаются непрерывно в его жизни. Каждое явление жизни, каждая встреча, каждый его шаг и действие являются ярким материалом для выводов, для познания, и каждый новый вывод немедленно применяется им к действию, к практике. Природа его познавательной способности такова, что к нему более всего применима формула: «познавать явления—это значит видоизменять их». Это натура, настолько пронизанная стихией активизма, что сами его рассказы кажутся каким-то действием, каким-то напряженным усилием воли. В творениях Джэка Лондона ясно ощущаешь, что здесь каждое слово добыто опытом, извлечено из самой гущи жизни, что предмет и мысль о предмете живут в беспрестанном взаимодействии, что от одного к другой исходит энергия, что мысль придает новые формы вещам, а вещи ежеминутно преображают мысль.

Мне уже приходилось говорить, что Джэк Лондон является писателем революционным, но в особом смысле. Поэзия Джэка Лондона воплощает порыв нашего мятежного времени к разрушению буржуазного порядка, и его «варварство» есть прежде всего восстание против буржуазной цивилизации. Это—поэзия предчувствия. Джэк Лондон такой же буревестник, как и Горький. Он находится в ожидании освежающей бури, чувствует приближение грозы и радостно ждет ее.

Объективные условия, среди которых жил и действовал Джэк Лондон, не позволяли ему видеть четко очертания пути, по которому направится мировое революционное движение. Отсюда его метания, отсюда переходы от титанических порывов к разочарованиям и к душевной усталости. Он не выдержал противоречий, бушевавших в его душе, и «вернулся в молчание» за год до того, как на противоположном конце мира вспыхнула Октябрьская Революция. Разочарованный американскими социалистами, перешедшими от революционной политики к мирному сожительству с капитализмом, покинувши их, Джэк Лондон, быть-может, увидал бы осуществление своих неукротимых стремлений в том грозном движении, которое возникло на другом полушарии земли. Но об этом можно только гадать, строить более или менее вероятные гипотезы...

VI

Несколько слов о биографии Джэка Лондона, которой посвящен этот том собрания его сочинений.

Это история знаменитого писателя, написанная рукой его жены. Она принадлежит перу женщины, которая понимала значение человека, жившего с ней рядом, которая тщательно, шаг за шагом, следила за

каждым моментом его жизни, сберегла все, даже мельчайшие документы, могущие пролить свет на историю этой жизни. Это—одна из замечательных книг, не сухая биография, не повесть о внешних событиях из жизни исключительного человека, а творение, само по себе представляющее художественную ценность, увековечившее живой образ его личности. Автор книги умеет выбирать, распределять свет и тени, извлекать на свет душевные сокровища того, чью жизнь описывает, проникать в самые скрытые тайники его души и озарять их ярким светом.

Для понимания писателя его биография в сущности не нужна. Для этого достаточно его произведений.

Но книга, лежащая перед нами, дает богатый материал для значительных выводов. В данном случае мы имеем дело с писателем, которого жизнь сама по себе поучительна и многозначаща, и была бы такой, даже если бы он не создал своих произведений. Мы имеем дело с случаем редкого единства жизни и творчества.

Эта книга—раскрытая лаборатория художественного творчества. Джэк Лондон стал писателем естественно, как естественен и стихиен был каждый шаг его жизни. Он приступал к писательскому ремеслу много раз с теми же намерениями, с каким брался за ремесло носильщика, за инструмент рабочего, за всякий труд, приступал потому, что осуществлял закон, господствующий над человеческой природой, хотел жить лучше, чем жил, хотел простора, жаждал развернуть все свои силы, распространить свою творческую личность как можно шире в мир.

Для этого нужна независимость, а в буржуазной среде вообще и в Америке в особенности, независимость дается богатством. Джэк всегда думал о богатстве. Об этом свидетельствуют многочисленные письма и другие документы, приводимые автором книги. Джэк Лондон не скрывал, что среди причин, толкнувших его на писательскую дорогу, немалую роль сыграло сознание, что эта дорога—надежнейший путь к влиянию, славе и богатству. Прямой и откровенный во всем, Джэк Лондон не говорит высоких слов о «священном звании» писателя. Это ремесло не хуже и не лучше всякого другого, и если и предпочтительнее всякого другого, то только потому, что выполняет функцию, более значительную, чем многие другие профессии, и требует специального уменья, большого труда, отчего доступно далеко не всем. А профессии подобного рода, более значительные по выполняемой ими общественной функции, насчитывающие меньше конкурентов, естественно, и лучше оплачиваются и пользуются бóльшим почетом. Современное капиталистическое общество сорвало идеалистические покровы со всяких «священных» профессий, все расценки устанавливает в денежных знаках и таким образом дало возможность вести точный

учет ценам на все товары, в том числе и на литературный талант. Джэк Лондон принял этот порядок, как принимал всякий факт, одновременно и завоевывая и преодолевая, обличая и разрушая его в процессе преодоления, раскрывая смысл целого в истории своих собственных усилий.

Но благодаря этому он обнажил связь, существующую между жизнью и творчеством, между писателем и человеком, до самых скрытых глубин. Он показал во всей своей сложности материальный источник так называемых духовных ценностей, разрушил последние легенды об Аполлоне и об его приглашениях к священной жертве, о неземном происхождении искусства.

Читая книгу Чармиан Лондон, мы видим перед собой писателя, каждая строка которого написана под влиянием какого-нибудь события, встречи или впечатления, поразившего его воображение или мысль. Мы почти физически ясно ощущаем эту потребность, без которой нет и не может быть настоящего писателя, потребность передать другим свои собственные достижения, высказываться тогда, когда нет сил не высказываться. Джэк Лондон—рассказчик, у которого не найдешь грани, отделяющей произведение, построенное по законам композиции, от простой беседы бывалого человека с приятелем за столом, беседы о виденном и слышанном, о пережитом во время бесконечных скитаний и приключений. Все истинные писатели таковы, но не все они делают столь ощутительно ясным процесс творчества. Вдова Джэка Лондона, опубликовав свою книгу, довершила дело своего знаменитого спутника жизни. Об интимной жизни даже знаменитых людей нет надобности оповещать мир. Но если личная жизнь так органически слита с общественной, как это произошло с Джэком Лондоном, если, отстаивая себя, он волнует вокруг себя огромные группы, устремляя их усилия по верному пути, эта личная жизнь приобретает значение важного и поучительного общественного явления.

На манере письма, на всем содержании этой книги сказывается влияние Джэка Лондона. Общение с этой сильной личностью не прошло бесследно для его жены. В ее книге нет ничего, что не имеет общего значения, что касается только близких людей и неинтересно посторонней читательской массе. У Ч. Лондон оказалось достаточно такта и целомудрия, чтобы не выставлять напоказ тех моментов жизни знаменитого писателя, которые так привлекательны для любителей пикантного чтения. Книга эта образует одно целое с литературным наследием, оставшимся после покойного писателя, является своего рода его посмертным произведением, досказывающим то, что не успел он досказать при жизни.

ЧАРМИАН ЛОНДОН

ЖИЗНЬ ДЖЭКА ЛОНДОНА

ВВЕДЕНИЕ

Первое знакомство

— Мне хочется познакомить тебя с этим замечательным мальчиком—Джэком Лондоном,—сказала мне как-то весной 1900 года моя тетка с улыбкой в серьезных синих глазах.—Я хотела бы знать твое мнение о нем.

— Хорошо,—рассеянно ответила я.—Когда же?

— Он будет у меня завтра, хотя, пожалуй, слишком рано для тебя. Но на-днях мы должны встретиться с ним в музее. Я хочу сфотографировать его в аляских мехах для иллюстрации к моей статье. А потом поведу вас обоих завтракать.

— Вы поведете его завтракать?—возмущенно переспросила я.

— Дорогая, я знаю, у него нет ни одного лишнего цента. Итак, я угощаю вас обоих завтраком в половине первого. Не знаю, что ты о нем скажешь,—добавила она неуверенно,—он так не похож на твоих знакомых.

На следующий день, возвращаясь домой, я столкнулась у входа с тетей, провожавшей какого-то странного гостя. Гость был в потертых велосипедных штанах, в шерстяной рубашке и неописуемом галстуке. В руке он держал старую кепку. Последовало быстрое знакомство в полутемной передней, освещенной сквозь цветные стекла лучами заходящего солнца. Затем явно смущенный юноша легко сбежал по ступеням крыльца, надвинул кепи на густые каштановые кудри и умчался на велосипеде.

— Это и есть хваленый Джэк Лондон? Он не очень-то элегантен,—заметила я.

— Пожалуй,—согласилась тетя.—Но не надо забывать, что он талант, а для таланта костюм не имеет значения. И потом у него, наверно, нет другого.

— Но он не единственный талант среди ваших знакомых,—возразила я,—он только единственный, являющийся в таком виде.

В назначенный день я прямо со службы отправилась в ресторан.

В то время я служила машинисткой и стенографисткой в крупной торговой фирме в Сан-Франциско. Наше материальное положение не

было особенно блестящим. Моя тетка и приемная мать Нинетта Эймс сотрудничала в журналах, а муж ее заведывал делами «Оверлэндского Ежемесячника».

Войдя в ресторан, я сразу увидала невысокую, темноволосую и синеглазую тетю и рядом с ней юношу в мешковатом сером костюме, купленном в магазине готового платья и ослепительно новом. На молодом человеке были открытые туфли, узкий черный галстук и новое кепи. Надо отметить, что это был первый и последний раз, когда нам довелось видеть Джэка Лондона в жилете и крахмальном воротничке.

Первое, что мне бросилось в глаза и запомнилось на многие годы,—это широко раскрытые большие, прямые серые глаза, скромная, спокойная манера держаться и, главное, довольно большой красивый рот с особыми, глубокими, загнутыми кверху углами. И на всем этом какой-то отпечаток чистоты, нетронутости, так странно противоречащий слухам о романтическом, пожалуй, даже сомнительном прошлом этого широкоплечего, как матрос, двадцатичетырехлетнего юноши, члена опасной Оклэндской шайки, пирата, бродяги, авантюриста-золотоискателя... не говоря уже о тюремном заключении, которому он был подвергнут. То, что он был деятельным членом Социалистической Рабочей Партии, меня не пугало, хотя его социализм был более суров, более воинственен, чем тот, к которому я привыкла дома.

Не помню, о чем мы говорили за завтраком. Помню только, что он проявил интерес к моей работе, когда узнал, что я материально независима. Услыхав обращение тети ко мне, он взглянул на меня в упор и повторил, как бы прислушиваясь:

— Чармиан, Чармиан... какое прекрасное имя...

Мы говорили об утреннем посещении музея, о том, как нашему собеседнику приятно было снова увидеть привычный клондайкский костюм.

— Чармиан,—сказала вдруг миссис Эймс,—почему бы тебе не дать рецензии о «Сыне Волка»?.. Она могла бы выйти в том же номере, что и моя статья о мистере Лондоне.

Я уже говорила, что мы были связаны с «Оверлэндским Ежемесячником». По настоянию тети я иногда давала туда короткие заметки о новых книгах.

Джэк взглянул на меня из-под резко очерченных бровей:

— Идет, мисс Кертридж? Тогда я сейчас же пошлю вам корректуру, чтобы вам не ждать книгу.

Через несколько дней, вернувшись домой после долгой прогулки, я нашла на своем столе длинные корректурные листы. Это были гранки «Сына Волка». Не снимая шляпы, я принялась за чтение и не встала с места, не шелохнулась, пока не дочитала все до конца.

Помню еще два вечера. Я играла на рояли по просьбе Джэка, страстно любившего музыку. Потом показывала ему свою «берлогу». Он высказал живой интерес ко всем моим девичьим занятиям—музыке, рисованию, верховой езде и даже танцам.

— Я никогда в жизни не танцовал,—признался он с сожалением,—никогда не имел времени на такие тонкости. Но я люблю смотреть, как танцуют.

В нем чувствовался острый голод к книгам и к музыке. Я вспоминаю, какими блестящими глазами смотрел он на полки моего книжного шкапа. Много лет спустя эта розовая комнатка фигурировала в качестве комнаты Дэд Мэзон в романе «День пламенеет».

Уж не помню, по какому поводу мы условились встретиться с ним семнадцатого апреля. Но за неделю до этого я получила от него следующую, отпечатанную на машинке, записку:

«Дорогая Чармиан! Не могу увидеться с вами в субботу, как было условлено. Объяснение найдете в письме к вашей тете. Может-быть, когда-нибудь в будущем. Искренне преданный вам

Джэк».

Я читала эту записку, когда в комнату вошла тетя. Вид у нее был расстроенный, в руках она держала письмо, также отпечатанное на машинке. Убитым голосом она прочла мне его:

«Дорогая миссис Эймс! Должен признаться, что вы имеете преимущество передо мной. Я еще не видал своей книги и не представляю себе, как она выглядит. Но зато и вы не можете представить себе, почему я не буду у вас в будущую субботу. Вы знаете, я все делаю быстро. В воскресенье утром у меня еще не было ни малейшего намерения сделать то, что я делаю теперь. Я отправился посмотреть дом, в который собираюсь переехать,—и тут у меня зародилась эта мысль. Я решился. В субботу вечером я приступил к сватовству; в понедельник дело было на мази, и в будущую субботу я женюсь на Бесси Мадерн, кузине Минни Мадерн Фикс. В будущую субботу, как только все будет проделано, мы вскочим на велосипеды и отправимся в трехдневное путешествие, а затем—домой и за работу.

Я знаю, вы скажете—«Какой безрассудный мальчишка». Меня привели к этому разные глубокие соображения. Но я решительно отклоняю одно возражение: что я буду связан. Я уже связан. Потому что, даже когда я холост, у меня такое же хозяйство. И если я пожелаю отправиться в Китай, мне придется заботиться о доме, буду я женат или нет.

А так у меня поддержка, и я смогу посвящать больше времени работе. Ведь вы знаете: у нас только одна жизнь. Надо ее прожить,

как следует. А затем у меня широкое сердце, и я буду чище и здоровее, если на меня будет надета узда, и меня не будет носить всюду, куда бы мне ни захотелось. Я уверен,—вы поймете.

Благодарю вас за ваши милые слова по поводу выхода «Сына Волка». Я дам знать, когда вернусь и устроюсь, и попрошу вас и всех ваших притти повидаться со мной и с моими. Я все устрою по возвращении. Венчание будет без приглашенных.

Извещения разошлем потом. Искренне преданный вам

Джэк Лондон».

— Силы небесные!—воскликнула тетя.—Подумать только, что делает этот ребенок. Рассудочный, обдуманный брак для такого человека, как он, созданного для любви. «Только одна жизнь!.. И надо ее прожить, как следует!» Мальчик, должно-быть, сошел с ума, если думает, что такая хладнокровная женитьба—живая жизнь.

— Почему сошел с ума? Может-быть, именно исключительно здоров или думает, что здоров,—равнодушно заметила я.

Затем Джэк Лондон исчез с нашего горизонта. Только раз он приезжал с женой на велосипедах. Я уехала на Восток и в Европу и долго ничего не слыхала о нем, пока однажды случайно не прочла в калифорнийской газете, что у Джэка Лондона родилась дочь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Детство, отрочество и юность

Джэк Лондон родился в Сан-Франциско [1]) 12 января 1876 года. В то время отец его занимался подрядами и жил с женой и двумя маленькими дочерьми от первого брака Элизой и Идой в большом хорошем доме на Третьей улице. Так как Джон и Флора Лондон не принадлежали ни к какой официальной церкви, то ребенок так и не был окрещен и откликался на имя Джонни, пока, подросши, не выбрал по собственной инициативе имя Джэк.

Флора Лондон не могла сама кормить ребенка, и к маленькому Джэку была взята кормилица-негритянка, миссис Прентис, иначе мамми Дженни. Мамми Дженни обожала «хлопковый мячик», как она назы-

---

[1]) Сан-Франциско,—сокращенно Фриско,—главный город и коммерческий центр Сев.-Амер. шт. Калифорнии, важнейший торговый порт на берегу Тихого океана. Бухту С.-Франциско соединяет с океаном узкий пролив — Золотые Ворота, о которых неоднократно будет упоминаться далее. Климат С.-Франциско очень мягкий и ровный; летом никогда не бывает зноя, снег выпадает очень редко. Особый квартал города заселен китайцами.

вала своего белого питомца, и он всю жизнь отвечал ей самой горячей любовью.

Джэку было около пяти лет, когда семья перебралась на другую сторону залива—в Оклэнд. Джон Лондон сознавал свою неприспособленность к коммерческим делам, сумел во-время ликвидировать дело и избежать полного разорения. На уцелевшие деньги он снял в аренду участок земли и занялся огородничеством. Для сбыта продуктов была открыта зеленная лавка.

— Мой отец был лучшим из людей,—не раз говорил мне Джэк,—но он был слишком хорош по своей природе, чтобы выдержать ту жестокую борьбу за существование, которую приходится испытать каждому, желающему уцелеть в нашей анархически-капиталистической системе.

И на этот раз дело могло пойти успешно, если бы Джон Лондон не связался с компаньоном, который буквально ограбил и разорил его.

В Аламеде семья Лондонов переменила несколько квартир, так как у Флоры была страсть к переездам; но Джэк запомнил только одну квартиру на Седьмой улице, потому что там впервые он надел штанишки. Правда, штанишки были прикрыты юбочкой; но Джэк, не желая переносить подобного унижения, постоянно задирал юбочку, чтобы все прохожие могли убедиться в том, что он настоящий мужчина.

По рассказам сестры Джэка, Элизы, это был прелестный, крепкий, здоровый ребенок.

— Вернее всего будет определить его, как делового ребенка,—рассказывала она.—Я не помню его иначе, как с книгой в руках. Пяти лет он самостоятельно научился читать и писать. Внешне маленький Джэк был застенчив и робок, но под этой робостью скрывалась огромная жажда понимания и симпатии, не находившая отклика ни в ком, кроме Элизы. Проявлять свои чувства было не принято в семье Лондонов.

— Я не помню, чтобы в детстве мать приласкала меня,—говорил Джэк.—Помню только, что изредка отец проводил рукой по моей голове и говорил ласково: «ай, ай, сынок!», если что-нибудь шло не так.

Говорят, что матери знаменитых людей редко бывают веселыми и жизнерадостными женщинами. Флора Лондон не составляла исключения. Она была абсолютно лишена жизнерадостности, молодости и веселья. «Она всегда была такая»,—говорили о ней знакомые, когда она была уже пожилой женщиной. Джэк не раз говорил мне: «Я не помню времени, когда моя мать не была бы старой».

Как одно из лучших воспоминаний об Аламеде, сохранился в памяти Джэка новенький, чистенький коттеджик мамми Дженни. Там большеглазый белый мальчик всегда мог рассчитывать на радушный

прием и вкусные пирожки. Мамми Дженни была чистокровная негритянка и гордилась этим. И хотя расовая гордость его матери наложила известный отпечаток на Джэка, все же он не понимал, что дети миссис Прентис, Вилли и Анни, чем-то отличаются от него. Однажды, залепив помидором прямо в нос Вилли, он наивно крикнул: «Ой, Вилли! Я расплющил тебе нос, и теперь он совсем, как у негра!».

По мере того, как Джэк подростал, дела его отца становились все хуже и хуже. И хотя в доме всегда было достаточно еды, все же иногда ощущался недостаток в мясе. Для Джэка, всегда называвшего себя «плотоядным», это было большим лишением. Я привожу выдержку из письма, написанного двадцатилетним Джэком девушке, в которую он был влюблен. Эта девушка потребовала от него, чтобы он бросил писанье и подыскал себе постоянный заработок.

«Если бы я последовал тому, что вы в своем письме называете долгом, что бы со мной сейчас было? Я был бы земледельцем и не мог бы делать ничего, кроме этой работы. Знаете ли вы, какое у меня было детство? Знаете, что однажды случилось со мной в школе Сан-Педро, когда мне было семь лет? Мясо! Я так изголодался по мясу, что однажды открыл корзинку одной девочки и украл кусочек мяса. Маленький кусочек в два моих пальца. Я съел его, но больше я не крал. В те дни я, как Исав, буквально готов был продать право первородства за миску супа, за кусок мяса. Боже мой! Когда другие мальчики от сытости швыряли куски мяса на землю, я готов был поднять их из грязи и съесть. Я не делал этого, но представьте себе развитие моего ума, моей души в таких материальных условиях. Этот инцидент с мясом характерен для всей моей жизни».

Из этого письма можно вывести заключение, что Джэк иногда бывал склонен к преувеличениям, особенно когда усталый, разочарованный, он оглядывался на пройденный тяжелый путь. Но после долгих лет совместной жизни я могу сказать, что, несмотря на феноменальную выносливость, Джэк обладал также чрезмерной чувствительностью, заставлявшей его страдать и физически и духовно более остро, чем обычного среднего человека; он преувеличивал не самый факт, но значение этого факта.

Помимо голода, у Джэка сохранились в памяти об этом периоде жизни: унылый берег, обычно покрытый туманом, жалобы матери на то, что они—люди «старого американского происхождения»—не имеют другого общества, кроме «даго» [1]) и ирландских эмигрантов, и, наконец, ужасное отравление алкоголем, чуть не стоившее ему жизни. В

---

[1]) Даго — кличка итальянцев и других эмигрантов из латинских стран в Сев.-Амер. Соед. Шт.

книге «Джон Ячменное Зерно» подробно описывается, как маленького Джэка напоили до пьяна итальянцы с соседней фермы.

Мальчик пил, потому что смертельно боялся этих итальянцев, а они восхищались ребенком, пившим, как бездонная бочка.

Когда Джэку было около восьми лет, ему случайно попалась книга Уйда—«Синьа». Эта книга, по признанию Джэка, оказала самое большое влияние на избрание им карьеры писателя, большее даже, чем «Философия стиля» Спенсера [1]). Ведь маленький итальянец Синьа, достигший такой славы, был простым крестьянским мальчиком, таким же, как он, Джонни Лондон.

— Мой узкий горизонт раздвинулся,—рассказывал мне Джэк,— все стало возможным, если я только дерзну.

Книга Уйда стала любимым предметом разговора между Элизой и Джэком. Конец у нее был оторван, и дети, перетирая тарелки или помогая отцу в огороде, придумывали каждый раз новое окончание.

Работы на ферме было много. Работали и мужчины и женщины. Маленький Джэк, вернувшись из школы, сразу принимался за работу. Жизнь на ферме не нравилась ему. Он находил, что это «самое тупое существование», и каждый день мечтал о том, как бы «уйти за горизонт», «посмотреть на мир».

Когда Джэку минуло одиннадцать лет, дела пришли в окончательный упадок. Ферма была продана, и Джон Лондон с женой, Идой и Джэком перебрались в Оклэнд. Элиза за несколько месяцев до этого вышла замуж за ветерана гражданской войны, капитана Щепарда, вдовца старше ее на тридцать лет, отца многочисленной семьи. Обе семьи поселились в Оклэнде, недалеко друг от друга. Флора открыла меблированные комнаты для шотландских работниц с джутовых фабрик. Но и это не пошло, и семья перебралась в еще меньший и плохенький домик. Джон Лондон был изувечен в железнодорожной катастрофе и, оправившись, выхлопотал себе место полицейского, а Джэк вынужден был продавать на улице газеты. Может быть, это даже было и лучше для него, потому что по приезде в Оклэнд он узнал о существовании

---

[1]) Уйда — псевдоним английской писательницы Луизы де ля Раме (род. в 1840 г.). Она изображала высшие слои общества в самых мрачных красках, бичуя корыстолюбие, продажность, честолюбие, тщеславие и грубый разврат, едва прикрытый внешними приличиями. „Синьа“—роман из жизни итальянских крестьян.

Герберт Спенсер (1820—1903) английский позитивист и систематик эволюционной теории, как законченной философской системы. Ф. Энгельс определяет учение Спенсера и Гексли, как „стыдливый материализм“, так как, материалистическое по тенденции, их учение не дает ясного и прямого ответа на главнейший вопрос философии о соотношении материи и духа. Спенсером написано много трудов в области метафизики, биологии, психологии, этики и социологии.

библиотек и читален и буквально дни и ночи просиживал за чтением. Он читал, пока не начинала кружиться голова и глаза не отказывались служить.

Теперь отец и сын вместе проводили ночи на улице. Это сблизило их и привело к настоящей дружбе. К этому времени относится первая и последняя порка, полученная Джэком от отца по настоянию матери. Джон долго противился требованиям жены, но потом, как всегда, уступил. Отец и сын долго обсуждали вопрос со всех сторон. Джэк был более встревожен за отца, чем за себя. Оба сошлись на том, что лучше поскорее покончить с этим делом. За все двадцать лет, что Джон Лондон прожил с Флорой, во всех случаях, когда происходили недоразумения между матерью и сыном, или мачехой и падчерицами, он, по обыкновению, примиряюще говорил: «Надо уступить маме. Она не виновата, что смотрит на вещи иначе, чем мы, так же как и мы не виноваты, что смотрим не так, как она». Экзекуция была произведена, после чего отец и сын, отбросив стеснение, выплакались в объятиях друг друга.

Вот еще выдержка из того же письма двадцатилетнего Джэка, относящаяся к этой эпохе его жизни:

«Мне было восемь лет, когда я надел первую рубашку, купленную в магазине. Долг! В десять лет я уже продавал на улицах газеты. Каждый цент я отдавал семье и, отправляясь в школу, каждый раз стыдился своей шапки, башмаков, платья. Я вставал в три часа утра, чтобы итти за газетами, а затем не домой, а в школу. После школы—вечерние газеты. По субботам я работал при фургонах, развозивших лед, по воскресеньям отправлялся на кегельбан и расставлял кегли для пьяных голландцев. Я отдавал каждый цент и ходил одетый, как чучело».

Джэк Лондон на всю жизнь сохранил убеждение, что первое побуждение к писанию он получил от учительницы в последнем классе начальной школы. Джэк обладал чистым музыкальным голосом, а учительница отчаянно фальшивила. Джэк решительно отказался принимать участие в таком пении и высказал свои резоны. Барышня, по природе неспособная сознаться в своих ошибках, долго спорила с упрямым учеником и наконец отправила его к начальнику. Начальник не наказал его, внимательно выслушал его доводы и отослал обратно в класс, предложив учительнице давать ему письменные работы во время музыкальных упражнений.

К этому же периоду относится его окончательный выбор имени Джэк.

— Как ваше имя?—спросила учительница при вступлении его в школу.

— Джэк Лондон.

— Вы хотите сказать—Джон Лондон,—возразила она.

— Нет, сударыня,—вежливо, но твердо заявил он,—мое имя Джэк Лондон.

Последовал долгий спор, но в конце концов ему удалось отстоять свое новое имя.

Трудно сказать, когда он перешел от отрочества к юношеству. Пожалуй, придется согласиться с его словами, что у него никогда не было отрочества. Как всякий мальчик, он мечтал о приключениях, о море, о пиратах. Путем долгих лишений ему удалось приобрести собственную маленькую лодочку, на которой он проводил все свободное время. Это были для него единственные счастливые минуты. Но суровый долг держал его крепко. В 14 лет Джэку пришлось окончательно распроститься с свободой и поступить на постоянное место на консервный завод в Оклэнде. Здесь царила самая неприкрытая, самая бессовестная эксплоатация детского труда. Мальчики и девочки часами простаивали у опасных машин, не имея возможности отвести от них глаз, чтобы не быть изувеченными.

— Мы не могли отвлечься взглядом, мыслью от напряженного наблюдения за машиной, даже если кто-нибудь из нас бывал ранен,—рассказывал Джэк.—Один взгляд в сторону, секундное отвлечение внимания от рук и—цап!—вы без пальца.

Джэк уходил на работу рано утром, возвращался поздно вечером. Времени хватало только на еду, раздевание и одевание.

— Иногда я работал восемнадцать, двадцать часов под ряд. Однажды я простоял за машиной тридцать шесть часов. Бывали целые недели, когда я не возвращался домой раньше одиннадцати, ложился в половине первого, а в пять меня уже будили: надо было одеться, поесть и в семь уже стать на работу... Я спрашиваю себя: неужели цель жизни в том, чтобы превратиться в рабочий скот? Я не знал ни одной лошади в Оклэнде, которая работала бы столько часов, сколько я.

Надо признать, что пока он был рабом, он был рабом безупречным. Он работал энергично и продуктивно. Но мысль его также работала, не переставая. Когда ему удавалось вырваться к себе в лодку, он начинал размышлять о нелепости и разрушительности такого образа жизни. Он должен приносить домой деньги,—об этом и вопрос не поднимался; но почему не зарабатывать свой хлеб другим, менее мучительным способом? Я снова привожу цитату из того же письма:

«...работал на консервном заводе во время летних каникул... чтобы заплатить за право учения... Я работал на этой фабрике не во время каникул, а круглый год... Заработок был ничтожный, но я работал столько часов, что выгонял иногда до пятидесяти долларов в месяц.

Долг! Я отдавал каждый цент. Долг! Я работал в этом аду, простаивая у машины по тридцать шесть часов, а ведь я был ребенком. Я помню, как я пытался сберечь денег на покупку лодки—восемь долларов. Все лето я старался наскрести их.

В конце концов, отказавшись от всех удовольствий, я накопил пять долларов. Но матери понадобились деньги, она пришла на завод к машине, у которой я работал, и попросила у меня денег. В ту ночь я готов был покончить с собой... Долг! Если бы я следовал вашему понятию о долге, я никогда не попал бы в высшую школу, никогда не попал бы в университет... никогда. Я остался бы рабочим».

Во время своих скитаний на лодке Джэк познакомился с Франком, французом, уже пожилым человеком, знаменитым «устричным пиратом». Франк продавал одномачтовое судно «Раззль Даззль» за триста долларов. Но где взять деньги? Джэк вспомнил о мамми Дженни, об ее кошельке, всегда готовом раскрыться для «белого ребенка». Судно было куплено, и покупка отпразднована грандиозной попойкой. Джэк, у которого было врожденное отвращение к алкоголю и который не мог понять, как люди тратят деньги на отвратительное пойло, когда на них можно купить столь желанные сласти, умудрялся не столько пить, сколько выплескивать вино за борт. Но он был «мужчиной среди мужчин», и это сознание делало его счастливым. «И я был счастлив,—писал он,—здесь, в этой атмосфере богемы, я остро ощущал контраст между вчерашним днем, когда я сидел у машины, повторяя серию механических движений, и сегодняшним, когда я сидел со стаканом в руке, в горячей дружбе с устричными пиратами, юристами, отказавшимися стать рабами рутины, смеявшимися над ограничениями и законами, державшими свою жизнь в собственных руках». Счастью Джэка не было границ.

Он сделался устричным пиратом.

Следующий год был, по его собственному признанию, «годом отчаянного риска», когда он за неделю добывал больше денег, чем впоследствии, в первое время литературной деятельности, вырабатывал за целый год. Он жил полной жизнью, все время играя опасностью, рискуя свободой и жизнью. Не было, кажется, такого преступления,—исключая убийства и мошенничества,—в котором он не был бы повинен в возрасте от шестнадцати до двадцати лет. Он признавался впоследствии, что если бы его судили по заслугам, он был бы приговорен на много сотен лет.

«Это была жизнь суровая, обнаженная, дикая, свободная—единственная жизнь в этом роде, которая была мне доступна по моему рождению и положению. Больше того, она заключала в себе обещание. Это было только начало... От отмелей через Золотые Ворота лежал

путь к простору приключений во всем мире, где сражаются не за старую рубашку, или украденное судно, но ради высоких целей».

К этому периоду относится и служба Джэка в рыбачьем патруле.

Это было время постоянной опасности, порождаемой столкновениями с греческими, итальянскими и восточными рыбаками, борьбой с волнами, когда налетал северный ветер, или тем и другим вместе. Конечно, ему помогало его сильное сложение, счастье и здравый смысл.

12 января 1893 года он поступил матросом на трехмачтовую шхуну «Софи Сэзерлэнд», отправлявшуюся к японским берегам и в Берингово море за котиковыми шкурами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Плавание на „Софи Сэзерлэнд". Скитания

(1893 — 1894)

Когда Джэк вступал на палубу «Софи Сэзерлэнд», ему казалось, что он оставляет за собой не только твердую землю, но и свой душевный гнет. Ему казалось, что тяжесть, давящая его плечи, превращается в крылья.

Пребывание в среде устричных пиратов и на службе в рыбачьем патруле заставило Джэка произвести переоценку ценностей. Доллар, бывший в детстве и ранней юности целью, теперь превратился в средство. Смыслом его жизни стало уметь хорошо добывать серебро и золото и, хорошо добыв, тратить их на «игру», как он называл жизнь. С момента поступления на судно Джэк отбросил всякую мысль о своих финансах. Определенное жалованье растет для него с каждым днем, на судне, к счастью, нет ни капли спиртного,—следовательно, трезвость и экономия на несколько месяцев обеспечены.

На шхуне большинство экипажа состояло из шведов. Это были взрослые матросы, и Джэк очень скоро понял, что ему не легко будет установить с ними правильные отношения. Для них он был существом низшего порядка—мальчишкой, «пресноводным моряком». И они по традиции готовы были превратить его в мальчика для побегушек или во что-нибудь еще худшее. Ему надо было принять свои меры.

«Эти суровые скандинавские моряки прошли суровую школу. Мальчиками они прислуживали матросам: став матросами, они желали, чтобы им прислуживали мальчики. Я был мальчик... Я никогда не бывал в открытом море, несмотря на то, что был хорошим матросом и знал свое дело... Я подписал условие как равный и должен был держать

себя как равный или обречь себя на восемь месяцев адских мучений. На это равенство они и сердились. По какому праву я равен им? Я не заслужил этой высокой чести. Я не перенес тех мучений, которые перенесли они, когда были забитыми мальчиками, запуганными юнгами. Хуже того—я был пресноводный моряк, совершающий свое первое морское плаванье. И вот, по несправедливости судьбы, в корабельные регистры я вписан как равный...

Мой метод был продуман, прост и решителен. Прежде всего я решил, что, как бы сурова и опасна ни была моя работа, я буду исполнять ее так, чтобы ее не приходилось никому переделывать... Я выходил на вахту первым и уходил последним... Я делал больше, чем приходилось на мою долю».

Но больше всего помогли Джэку его явно выраженное отвращение к малейшему покровительству, любовь к независимости и готовность в любую минуту постоять за себя. «Я производил впечатление дикой кошки, всегда готовой к бою».

Биографы Лондона писали о том, что его плаванье на «Софи Сэзерлэнд» было сплошным адом. Это неверно. Джэку пришлось выдержать решительный бой с громадным рыжим шведом, не дававшим ему прохода. Бой кончился полной победой Джэка, и остальная часть плаванья протекла спокойно. С рыжим Джоном они стали приятелями. Вся команда привязалась к Джэку и даже прощала ему любовь к книгам, рассматривая его ночные чтения, как смешную, но невинную манию.

На каждой стоянке матросы заходили в первый попавшийся кабак выпить по рюмочке и застревали там до того момента, когда надо было возвращаться на судно.

Они побывали на Бонинских островах [1]), при чем стоянка ознаменовалась пьяным скандалом; затем отправились к северу и в течение двенадцати недель, почти не видя солнца, занимались охотой на котиков. Закончив охоту, «Софи Сэзерлэнд» направилась в Японию, где весь свой отпуск Джэк опять провел в беспрерывном пьянстве. Из Японии они отплыли домой. На обратном пути вся команда, в том числе и Джэк, клялась и божилась, что теперь уже никто не выпьет ни единой капли, что все до копейки будет доставлено домой. Но при расставании добрые намерения были забыты, и прямо с корабля вся команда устремилась в кабак праздновать возвращение.

Вспоминая о своем плавании на «Софи Сэзерлэнд», Джэк писал все в том же письме о «долге»:

---

[1]) Группа из 89 маленьких островов вулканического происхождения в Великом Океане, к юго-востоку от Японии.

«...но разве мне удалось совсем освободиться от долга? Не одна золотая монета пошла в семью, когда я вернулся из семимесячного плаванья. Что я сделал себе на свой заработок? Купил второсортную шляпу, несколько рубашек по сорок центов, две пары нижнего белья по пятьдесят да второсортный пиджак и жилет. Остальное ушло на долги отца и в семью».

Долг держал его крепко. Снова для Джэка настали тяжелые времена. Мать убедила его, что он достаточно поскитался по свету, пора мечтаний и безумств миновала, надо найти заработок и вести оседлый образ жизни. Джэк должен был приняться за работу, приняться немедленно, потому что родители нуждались. И вот оказалось, что Джэк, с его широкими плечами и стальными мускулами, развивавшимися в борьбе с морем, Джэк, сильный, выносливый Джэк, видевший свет,—не может найти ничего лучшего, как те же десять центов в час при тех же десяти часах работы в день.

Это было тяжелое открытие. Но делать было нечего, и Джэк, который мог бы, подобно киплинговскому бродяге, воскликнуть: «Я был тем, чем я был!»—Джэк сделался простым рабочим на джутовой фабрике. Он был хорошим рабочим. Он вложил всю свою гордость в то, чтобы быть хорошим рабочим. В то время он был, по его собственному признанию, «...опутан ортодоксальной буржуазной моралью, читал буржуазные газеты, слушал буржуазных проповедников, рукоплескал звонким пошлостям буржуазных политиков».

Он снова усиленно начал посещать публичные библиотеки. Но теперь у него уже не было прежнего мальчишеского энтузиазма. Ведь он сам участвовал в таких увлекательных и романических приключениях, сам мог бы многое порассказать.

Этот период в его жизни между возвращением из плаванья и следующим уходом из Оклэнда знаменателен главным образом первым опытом литературного творчества.

Мать Джэка первая обратила внимание на объявленную в газете премию за лучший очерк. Джэк, работавший по тринадцати часов в сутки, не сразу решился попытать счастья. «Когда писать? О чем писать?»—недоумевал он.—«Напиши о чем-нибудь, что ты видел в Японии или на море»,—посоветовала мать. Джэк улыбнулся, присел за кухонный стол и одним махом написал половину очерка—что-то около двух тысяч слов. На следующий вечер он написал еще две тысячи, а на третий сократил написанное вдвое, т.-е. втиснул его в размеры, обусловленные конкурсом. Это первое произведение Джэка, озаглавленное «Тайфун на берегах Японии», к великому удивлению автора, получило первый приз—двадцать пять долларов. Вторую и третью премию получили студенты Станфордского и Калифорнийского университетов.

Домашние были в восторге, а Джэк, вспомнив мечты тех дней, когда он зачитывался «Синьа», прельщенный легким заработком, решил снова приняться за увлекательную и доходную работу. Но следующие рукописи, посланные в редакцию, были возвращены, и Джэку пришлось пока-что удовлетвориться работой на фабрике. На полученную премию он купил себе костюм за десять долларов и выкупил часы. Но через два дня, когда не на что было купить табаку, часы снова отправились в заклад.

В это время он подружился с кузнечным подмастерьем, оклэндским серцеедом Луисом Шаттоком. Каждый вечер они вместе гуляли по улицам, где парочками разгуливали молодые девушки. И Джэк, похитивший когда-то королеву устричных пиратов, знавший в Японии не одну мадам Хризантем, с несвойственной ему робостью и завистью глядел, как ловко и грациозно Луис приподнимал свою шляпу, как свободно и развязно подходил к барышням и знакомился с ними. Правда, Луис, как хороший товарищ, уступал часть барышень Джэку, но это уже был, так сказать, второй сорт. Однажды, случайно попав на собрание Армии Спасения, Джэк влюбился в свою соседку, шестнадцатилетнюю шатенку со вздернутым носиком. Он мысленно окрестил ее Хеди, и так никогда и не узнал ее настоящего имени. Они познакомились при помощи Луиса, но встречались не больше двенадцати раз, и обменялись всего лишь несколькими робкими поцелуями. Все же это была настоящая горячая и чистая первая любовь. «Я верю, что она меня любила. Я знаю, что я любил ее. Я мечтал о ней целый год, и память о ней мне очень дорога»,—говорил Джэк, вспоминая о Хеди.

Но вот настала зима. Джэку и Луису, у которых не было пальто, пришлось отказаться от прогулок. Где встречаться? Джэк сделал было попытку примкнуть к Союзу Христианской Молодежи, но ему, «познавшему таинственные и жестокие вещи», пришедшему с «другой стороны жизни», молодые люди Союза казались необычайно убогими по своему духовному и физическому развитию. Он чувствовал себя чужим среди них и не умел к ним приспособляться. Оставались трактиры. И вот детям, обожавшим сладости, приходилось тратить последние гроши и с отвращением глотать спиртные напитки для того, чтобы иметь право посидеть в теплой комнате и поиграть в карты. Но даже и на это часто не хватало денег.

Заработок был скудный. Обещанной прибавки Джэку не дали, и он стал подумывать, чтобы изучить какое-нибудь ремесло. В конце концов он решил стать электротехником и с этой целью отправился на электрическую станцию оклэндского трамвая. Директор принял его очень ласково, выслушал его планы и предложил ему начать учение с самого начала, т.-е. поступить в кочегарку. Джэк, не подозревавший

о том, что в это самое утро два кочегара отказались от тяжелой и дурно оплачиваемой работы, согласился и стал один за тридцать долларов в месяц исполнять работу, от которой отказались двое взрослых мужчин, получавших по восьмидесяти долларов. Он возвращался домой настолько разбитый, что кондуктору и пассажирам в трамвае приходилось будить его и помогать ему сойти на остановке. Дома у него едва хватало сил поужинать. Он засыпал тут же за столом, и отец с матерью раздевали его и укладывали в постель. Когда Джэк узнал о том, что он лишил работы двух человек и сбивает цену на труд, он решил уйти. Но гордость не позволяла ему уйти, не убедившись, что он в состоянии справиться с работой. Только после этого он бросил кочегарку, вернулся домой и проспал без просыпу двадцать четыре часа.

Работа опротивела ему. Он не мог без отвращения думать о ней. Довольно! Пора подумать и о себе. Его не удерживала даже мысль о долге. Он чувствовал, что погибает.

Неизвестно, как повернулась бы жизнь Джэка, если бы в этот критический момент он случайно не узнал о том, что в городе формируется рабочая армия генерала Келли. Это было незадолго до пасхи 1894 года. Сначала Джэка отпугнуло было слово «рабочая», но убедившись, что армия составляется из оборванцев, безработных и непокорных, в роде него самого, он решил примкнуть к ней.

Когда он пустился в путь, с него снова, как при отплытии на «Софи Сэзерлэнд», спала давившая его тяжесть. Он снова мог завоевывать жизнь, беззаботно и радостно скитаться по земле.

Но ему пришлось многому научиться в новой среде. Его прежнее знакомство с пиратами и матросами помогло ему лишь отчасти. Бродяги были людьми иного склада. Это были существа, принадлежавшие—от рождения или вследствие жизненных злоключений—к низшим слоям человеческого общества. Это были люди, органически неприспособленные к работе, умевшие лишь воровать и просить милостыню. Джэку, с его врожденным чувством гордости и независимости, вначале трудно было просить у дверей, но он быстро сумел придать этому вид спорта и применить к этому свой артистический талант.

— Это была мена,—рассказывал Джэк о мягкосердечных женщинах, кормивших его на кухне и слушавших рассказы о его фантастических приключениях.—За их бесчисленные чашки кофе, бутерброды и яйца я платил полной ценой. Я развлекал их по-царски. То, что я сидел за их столом, было для них приключением, а приключение выше всякой цены.

Его талант помогал ему при столкновениях с ворчливыми кухарками, сердитыми полицейскими, грубыми железнодорожными служащими.

Впоследствии издатели и редакторы удивлялись, как могли они подписать тот или иной контракт, в который Джэк включил свои условия. Он отвечал: «Это спектакль. Выигрывает лучший актер».

Ему пришлось узнать и голод и холод, но это не огорчало его: ведь это входило в игру. Ни холодные утренники, ни боль в мускулах, ни пустой желудок и тяжелая голова после ночи, проведенной под вагоном, не могли помешать ему наслаждаться наступающим днем, потому что «каждый день—особый день», со своими особыми приключениями.

Джэк научился ездить и под вагонами, и на вагонах, соскакивать и вскакивать на ходу, спасаясь от кондукторов, научился даже засыпать, вися на тормозе или на буфере, с риском каждую минуту сорваться и попасть под колеса. Но и это входило в игру.

Армия Келли шла пешком. У Джэка развалились башмаки, ноги были покрыты пузырями. Они переходили из города в город, встречая самый различный прием. Но и это была игра.

В конце концов армия распалась, и Джэк стал бродяжничать один или со случайными попутчиками. В тот год он, по его подсчету, сделал около десяти тысяч миль. Он побывал в Сакраменто, в Квинси, в Сен-Луи, в Каиро, в Луисвилле и Вашингтоне, Балтиморе и Пенсильвании, в Нью-Йорке, Бостоне, Канаде, побывал на Ниагаре [1]).

Несколько лет тому назад, разбирая старые книги, Джэк наткнулся на маленькую записную книжку. Это были заметки, которые он вел за год скитаний. Тут были адреса друзей, имена разных барышень, всякие Лиззи, Долли, Бетти, рассуждения о деизме и теизме, размышления по поводу того, «что появилось раньше: курица или яйцо», переписанные стихи и романсы. Некоторые цитаты и наблюдения свидетельствуют о пробуждающемся интересе к политике и экономике. А затем имеется следующая запись, которую я привожу дословно:

«В Вашингтоне во вторник, 9 августа 1894 года, меня охватило великое, страстное желание отцовства. Желание детей—не чувственная потребность наслаждения, сопровождающего отцовство, но чисто духовное желание иметь на свете кого-нибудь, кто бы нуждался во мне, зависел от меня, доверял мне и был бы мне родным, как я своим родителям. Конечно, я понимаю, что это довольно глупые мысли для восемнадцатилетнего малого. Это пришло после того, как я поговорил с одним бродягой, глядя на его безнадежное одинокое положение, а также глядя на людей вообще. Я всегда говорил, что не женюсь рань-

---

[1]) Пенсильвания — штат С. А. на берегу Атлант. океана. Канада — Британская колония в Сев. Америке. Ниагара — водопад и город того же названия. Остальные — города (Каиро — город Сев. Ам. штата Иллинойс, при впадении Огайо в Миссисипи.)

ше двадцати шести—двадцати семи лет, и до сих пор думаю, что это правильно. Но за это время я буду наблюдать и постараюсь воспользоваться опытом других в лотерее брака».

Этот период бродяжничества подробно описан в книге Джэка Лондона «Дорога». Скитания закончились тюремным заключением [1]).

Джэк в обществе другого трампа, бывшего юриста, отправился посмотреть на Ниагару. Водопад произвел на него колоссальное впечатление. «Как только мои глаза наполнились зрелищем падающей воды, я был потерян». Он не мог оторваться от водопада и провел около него весь день и весь вечер. Только около полуночи вспомнил он, что пора поискать пристанище. Блуждая по опустевшим улицам города, он налетел на своего приятеля, которого вели в участок, и был захвачен вместе с ним. Оба были приговорены к тридцати дням тюремного заключения за бродяжничество.

Джэк, прошедший уже суровую школу жизни, все же был потрясен несправедливостью и жестокостью приговора. Ему было отказано в праве пригласить защитника, его даже не выслушали. Протесты ни к чему не привели. Пришлось смириться. Его здравый смысл, восприимчивый ум, наблюдательные глаза, схватывающие и запоминающие малейшие детали, помогли ему превратить этот месяц мучений в месяц могучего духовного роста. Выйдя из тюрьмы, осунувшийся, с обритой головой, он незаметно прокрался на вокзал и залез под вагон первого отходящего поезда.

Его железное здоровье скоро помогло ему оправиться, освободиться от неприятных воспоминаний и вернуться к радости жизни. Все же тюремное заключение оставило на нем неизгладимый след.

«Я бы не поверил тому, что видел в тюрьме, если бы не увидел этого сам. А ведь я не был неопытным мальчиком, я знал земные пути и ужасные бездны человеческого унижения».

Когда Джэк вернулся домой через Золотые Ворота запада, в его глазах было новое выражение—серьезности, решимости, силы. Он обдумал все раз и навсегда. До сих пор он гордился своими прекрасными мускулами, силой и гибкостью своего тела. Но что это дало ему? К чему это его привело? Каждая его попытка пробиться приводила к эксплоатации, нищенскому жалованью, переутомлению. Он чувствовал горячую любовь к жизни и испытывал ужас при мысли о том, что будет, когда он станет старше, потеряет гибкость, силу, «не сможет работать плечом к плечу с сильными». Благородство ручного труда, столь восхваляемое учителями, проповедниками и политиками, не-

---

[1]) Этот эпизод послужил темою для рассказов „Сцапали“ и „Исправилка“.

чезло для него. Он узнал закулисную сторону общественной жизни, узнал, что человек без ремесла беспомощен, а человек, знающий ремесло, непременно должен принадлежать к рабочему союзу, отстаивающему его права перед нанимателем. Отныне физическая работа не должна была больше существовать для него. Он будет работать, но не мускулами, а мозгом. Его опыт привел его к определенному и окончательному решению: впредь он будет продавать свой мозг и только мозг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Высшая школа. Университет

(1894 — 1897)

Здоровье Джона Лондона значительно улучшилось, заработка хватало на семью, и Джэк, вернувшись из своих скитаний, смог поступить в Высшую школу. Он с жадностью принялся за учение; по его собственному выражению, он стал «править несколькими конями зараз». Он занимался и учением, и своим литературным образованием, и социализмом, работал для заработка, и т. д., и т. д.

Несмотря на свои не совсем обычные взгляды на труд и капитал, он все же был убежден, что его успех должен быть основан на классическом образовании.

Нет такого человека, женщины или мужчины, который мог бы теперь, после смерти Джэка, выйти и сказать: «Это я уговорил Джэка поступить в школу, это я подал ему мысль, это я создал Джэка Лондона».. Джэк сам «себя создал». Всем, чего он ни достиг в жизни, он был обязан исключительно себе.

В течение долгих месяцев, постепенно, непрерывно, он отбрасывал одну условность за другой, и только «образование» продолжал считать необходимым. Прежде, чем совершать великие дела, надо закончить учение. Все учение—от начальной школы до университета.

Мать отвела ему большую комнату и по его просьбе поставила ему широкую, удобную кровать. «Я буду проводить в ней большую часть времени, чтобы мне было тепло во время занятий»,—решил Джэк. Хорошие постели были коньком Флоры Лондон. «У меня всегда хорошие кровати в доме, даже когда ничего другого нет»,—говорила она. Джэк получил желанную кровать. В остальном комната была обставлена очень просто, но удобно, и Джэк сам поддерживал в ней порядок. Когда на мать нападала «мания чистоты», Джэк, взбешенный, носился по дому и бушевал, что у него все перепутано.

В таких случаях мать дипломатически отвечала: «Это, наверно, Элиза», потому что Джэк никогда не осмеливался вступать в пререкания с Элизой. «Я не решался кричать на нее, потому что знал, что она наорет на меня вдвое»,—признавался он.

В этой комнате, синей от табачного дыма, он просиживал дни и ночи над книгами, готовясь к экзаменам. Курил он всегда очень много. Во время бродяжничества по большим дорогам он приобрел, кроме того, привычку жевать табак, возмущавшую Элизу. Джэк оправдывался тем, что он жует табак от зубной боли. И в доказательство показывал разрушенные передние зубы. В конце концов брат и сестра пришли к соглашению: жевательный табак был изгнан из употребления, и девятнадцатилетний Джэк приобрел свою первую зубную щетку и первые вставные зубы. Эти вставные зубы доставляли ему много неприятностей, так как обладали способностью выпадать в самый неподходящий момент.

В это время Джэк уже совершенно определенно начал заниматься пропагандой в пользу прежней Социалистической Рабочей Партии. Он совсем недавно обнаружил, что то, чем он стал, называется «социалист». И хотя он знал, что слово «социалист» неприятно ушам людей, любящих буржуазный уклад и порядок, он, прирожденный мятежник против всего, кроме справедливости, всецело подписался под лозунгом: «Удовлетворение существующим порядком вещей—проклятие». «Социализм—только новая экономическая и политическая система, при которой большое количество людей получает пищу. Коротко говоря, социализм—это усовершенствованное добывание пищи». Таковы были взгляды, к которым пришел Джэк. И эти взгляды он защищал везде и повсюду. Он был попрежнему застенчив. Ни в то время, ни впоследствии он не любил выступать публично, и выступал только когда этого требовало святое дело пропаганды. Его красноречие, энергия, любовь к опасности быстро привели его к аресту и к известности. Капиталистические газеты провозгласили его анархистом, красным, динамитчиком. Пусть! Все же он взмахнул священным, красным, как кровь, знаменем братства людей и готов был умереть за это знамя.

Многие молодые люди, члены литературного кружка, носившего название кружка Генри Клея, к которому принадлежал и Джэк, заинтересовались «мальчиком-социалистом» и сблизились с ним. Джэк стал бывать в культурных домах, познакомился с настоящими взрослыми «барышнями», которые не знакомились с молодыми людьми на улицах. Вся эта молодежь очень быстро подпала под обаяние его личности, его привлекательной внешности. Его прекрасная фигура и широкие плечи были видны, несмотря на уродовавшее его всегда изношенное и дурно сшитое платье. Впрочем, недавно я познако-

милась с одной дамой, которая знала Джэка в то время и запомнила его только благодаря его обтрепанному костюму.

Занят он был все время. Он состоял членом различных кружков, где толковали о поэзии, искусстве и «тонкостях грамматики», членом местного социалистического кружка, где изучали политическую экономию, философию и политику, занимался в школе, писал письма в оклэндские газеты.

Несмотря на то, что у него не оставалось почти ни одной свободной минуты, ему пришлось для заработка принять место привратника при школе. Кроме того, он подрабатывал случайно работой, вроде косьбы садовых лужаек или выбивания ковров.

Среди барышень, посещавших литературный кружок Генри Клея, была маленькая блондинка и голубыми глазами по имени Лили Мейд. Джэку она казалась воплощением хрупкости, утонченности, одухотворенности. Она, ее семья, окружавшая ее обстановка соответствовали его идеалу культурной, утонченной жизни. В их доме Джэк познакомился не только с элементарными правилами этикета, но познал высшее наслаждение искусством и поэзией и премудрость шахматной игры. В этот период его жизни алкоголь не существовал для него: не было ни времени, ни желания.

Но к концу года Джэк подвел итоги. До окончания высшей школы оставалось еще два года. Между тем он изнемогал под бременем непосильной работы. Надо было искать выхода. На помощь, как и всегда в затруднительных случаях, пришла сестра Элиза. Она дала Джэку возможность поступить в одну из школ, где в четыре месяца можно было подготовиться к поступлению в университет. Иными словами, Джэку предстояло в четыре месяца пройти двухлетний курс учения.

Он работал дни и ночи в продолжение пяти недель. А потом из ясного неба грянул гром. Рвение Джэка и его успехи вызвали недовольство. Если бы он прошел в двенадцать недель двухлетний курс, это могло бы произвести скандал. И так уже в университете недолюбливали учеников подготовительных школ. Все это было высказано директором в самой любезной форме. Джэк был совершенно убит. Но он был не из тех, кто отступает. Деньги были возвращены Элизе, и Джэк, запершись в своей берлоге, без помощи, без руководства засел за зубрежку. В продолжение двенадцати недель он работал по девятнадцати часов в сутки. Вспоминая эту бешеную зубрежку, Джэк признавался, что он «немного спятил». Ему стало казаться, что он нашел квадратуру круга. К счастью, он решил не опубликовывать своего открытия до окончания экзаменов. Когда экзамены были сданы, Джэк был до того переутомлен, что не мог выносить вида книг. «Я не мог думать... не мог видеть людей, спо-

собных думать». Он даже не дождался результатов экзаменов. Впервые за восемнадцать недель перед его усталым взором предстала мечта об «ослепительном приключении». Он сам прописал себе лечение: взял у знакомого парусную лодку, бросил в нее сверток с одеялами, подушку, запас провизии, поднял парус и вышел в море. Когда белый парус затрепетал под утренним ветром, Джэк сразу почувствовал облегчение. Он проплавал целую неделю, навестил своих старых товарищей по рыбному патрулю и вернулся освеженный, отдохнувший, готовый снова приняться за работу. Конечно, встреча с друзьями ознаменовалась грандиозной попойкой: по признанию Джэка, он впервые в жизни ощутил тогда потребность в алкоголе, желание найти забвение и отдых в вине.

В университете Джэк с жадностью накинулся на учение. Его мозг всасывал знания, как вечно сухая губка. Ничто не удовлетворяло его: он читал без устали, но новые книги только разжигали в нем жажду к другим книгам, к книгам без конца.

Один из друзей его детства, встретившийся с ним в университете, описывал его, как «странное сочетание скандинавского моряка и греческого бога... Он был полон гигантских планов, впрочем, когда бы в жизни я с ним ни встретился, он всегда был полон планов. Он желал слушать все лекции по английскому языку, все, никак не меньше. Он желал также слушать большинство лекций по естественным наукам, по истории, по философии...»

— Я учусь скорее, чем они успевают учить меня,—сказал он однажды устами одного из своих автобиографических персонажей. И я не раз слышала, как он серьезно утверждал, что методы и содержание университетской науки принесли ему мало пользы. Он твердо верил, что мог бы обойтись без этих месяцев университетского учения. Впоследствии он никогда не пытался убеждать других, но про себя держался того мнения, что преуспел «несмотря на это, а не благодаря этому». Превыше всего он всегда ставил опыт, этого учителя учителей.

— Как смеете вы надеяться написать что-нибудь живое, если вы знаете о жизни только немногое или вовсе ничего не знаете о ней?—говорил он молодым людям, приходившим к нему узнать, какой талисман помог ему достичь славы.—У вас в голове нет ничего, о чем вы могли бы писать. Ступайте, учитесь сами, как учился я. Хорошему слогу может научиться каждый, у кого есть воображение. Вам нужны настоящие живые вещи, которые вы могли бы изобразить. Правда, они не всегда приятны и красивы. Но что касается меня, я никогда не раздумывал, о чем бы мне написать.

Когда ему исполнилось двадцать два года и он перешел на второй курс, он снова пересмотрел свой духовный капитал, свои обязатель-

ства и подвел итоги. Университет не оправдал его ожиданий. Денег не было, как всегда. И Джэк решил уйти. Университет был оставлен, и Джэк засел за писанье. Он писал все: тяжеловесные статьи, социалистические и научные очерки, юмористические стихи.

В период этого лихорадочного писания он умер для внешних интересов. Он писал не менее пятнадцати часов в сутки, при чем днем писал карандашом и пером, а по ночам сражался с ужаснейшей пишущей машинкой, печатавшей только одними заглавными буквами. Бесчисленные рукописи отправлялись к издателям, но та поспешность, с которой редакторы пускали в ход марки, приложенные для ответа, несколько охладила Джэка. Ни одна строчка из всего написанного в эти дни не вызвала со стороны издателей ни одного одобрительного слова.

Единственным лучом света в этой беспросветной мгле была глубокая, непоколебимая вера отца в талант Джэка.

— Не огорчайся, мать,—утешал он жену.—Джэк пробьется, я тебе говорю. Он создан для успеха, и ничто не сможет помешать этому успеху, ничто на свете.

Джэк принялся за пересмотр всех отвергнутых писаний. Он рассматривал их и с точки зрения внешности—они были напечатаны одними заглавными буквами и выглядели ужасно—и критически, с точки зрения риторики и конструкции и, наконец, самое главное, с точки зрения мысли и выбора сюжета. Он вспомнил о двадцати пяти долларах, полученных за первый рассказ; но тогда он писал о том, что видел собственными глазами, а теперь пытался писать научные вещи, не имея достаточной подготовки. Джэк был скромен и честен; он не мог не почувствовать стыда за то, что осмелился предложить такой любительский материал искушенным и опытным людям, сидящим в редакциях журналов. Но, с другой стороны, ничто не могло поколебать его в вере в себя: он знал, что его произведения и его мысли имеют цену. Пусть успех откладывается на неопределенное время, он будет учиться, будет работать.

Между тем здоровье отца опять ухудшилось, мать все время прихварывала, и Джэку, несмотря на его решение не заниматься больше физическим трудом, пришлось поступить в паровую прачечную при военной школе, находившуюся за городом. Там он стирал, гладил, крахмалил—все за тридцать долларов в месяц. Работал упорно, надеясь накопить денег на ученье. Работа была трудная; а с наступлением лета она стала еще труднее, так как ученики школы стали носить белые костюмы. Но самое тяжелое была утюжка кружевного белья профессорских жен. Джэк получил навеки отвращение к утюгу. «Сохрани меня бог, чтобы я еще когда-нибудь в жизни, при каких бы то ни было обстоятельствах, дотронулся до утюга»,—говорил

он. Единственным утешением была месть. Джэк и его приятель, работавший в той же прачечной, мстили «существам, пользующимся незаслуженной роскошью», тем, что перекрахмаливали дамское белье до того, что оно не сгибалось. Самое комическое было то, что условная скромность профессорских дам мешала им жаловаться.

Времени для чтения не оставалось совершенно, и хотя Джэк привез с собой полную корзину книг, к вечеру он уставал так, что глаза его смыкались сами собой. Пришлось отказаться от более трудных предметов, вроде политической экономии, биологии и права, но скоро Джэк с грустью убедился, что он так же быстро засыпает и над самыми увлекательными романами приключений. Но он не унывал. Его время еще придет. Препятствия делали его еще более ярым социалистом. Теперь он решительно отказался даже от мечтаний о приключениях. Надо было заработать денег, чтобы снова приняться за писание и научиться писать так, чтобы завоевать издателей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Клондайк

(1897 — 1899)

В 1897 году началась общая тяга в Клондайк [1]) за золотом. Джэк Лондон, конечно, не мог устоять перед призывом Приключения. Но для поездки нужны были деньги. Снова на его пути преградою стала бедность. Он не решался обратиться за помощью к сестре. Она и так много помогала ему в последнее время. И все же помощь, как всегда, пришла именно от нее, хотя и в неожиданной для Джэка форме. Муж Элизы, капитан Шепард, неожиданно был охвачен общей золотой горячкой и заявил, что если Джэк желает вложить в дело свою молодость и опыт, то он даст остальное. Джэк отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. Перспектива тащить за собой слабого старого человека ему никак не улыбалась, но ведь это была единственная возможность попасть в Клондайк, и он согласился.

Капитан Шепард и Элиза собрали все свои сбережения, заложили дом и произвели необходимые закупки. Не то, чтобы Элиза поощряла

---

[1]) Золотые россыпи на берегу реки Клондайк были открыты в 1896 г. Тогда же, на правом берегу реки Юкона, был основан город Доусон-Сити. В 1898 г. Доусон имел уже 10.000 жителей, а к 1900 г., когда золотая горячка начала остывать, число жителей сократилось более, чем на половину. Р. Юкон, проходя через Аляску, в своем северном изгибе находится на широте полярного круга.

предприятие, но «раз уж они собираются разыгрывать идиотов, так пусть у них будет все для этого необходимое»,—заявила она. Деньги текли, как вода. Были куплены меховые куртки, меховые шапки, высокие сапоги, ярко красное фланелевое белье—это белье имело впоследствии бешеный успех у индейцев, особенно у индейских женщин. Кроме того, надо было взять с собой одеяла, палатки, материалы для постройки саней, собачью упряжь, орудия для промывки песка и копания, запас еды на год, клондайскую печурку, а также всю необходимую для жизни утварь. Снаряжение одного только Джэка весило около двух тысяч фунтов.

25 июля 1897 года Джэк Лондон и капитан Щепард отплыли на корабле «Уматилла». Джэк был бы совершенно счастлив, если бы не тревога за здоровье отца. Джон Лондон уже несколько недель не вставал с кровати. Им так и не пришлось свидеться. Джон Лондон скончался 15 октября того же года, но Джэк узнал об этом лишь весной 1898 года, когда на севере открылась навигация.

2 августа путешественники прибыли к индейской деревушке Дайэ. Отсюда им предстояло сделать переход через Чилькутский перевал. К тому времени они познакомились с тремя другими золотоискателями и вошли с ними в компанию. На берегу царил полный хаос. Здесь собрались толпы золотоискателей, которые искали носильщиков-индейцев для своего багажа. Пользуясь моментом, индейцы запрашивали бешеные деньги. У Джэка и его спутников денег на носильщиков не было. Джэку пришлось тащить весь багаж самому, так как капитан Щепард был скорее помехой, чем помощником. Нельзя было терять ни одной минуты, если они не хотели застрять здесь на всю зиму.

К великому счастью для Джэка, его шурин скоро отказался от непосильного для него путешествия. Они расстались друзьями, и капитан Шепард повернул обратно. Джэк утверждает, что этот день был одним из счастливейших дней его жизни. Несмотря на смертельную усталость, он не только не отставал от других, но даже опередил некоторых индейцев. Последний переход до озера Линдерман был в три мили. Джэк проходил эти три мили по четыре раза в день, при чем каждый раз переносил по полтораста фунтов багажа. Затем он и его компаньоны построили две лодки: «Красавицу из Юкона» и «Юконскую красавицу» и пустились вплавь. Чтобы сберечь время, они отваживались переплывать такие опасные места, как пороги Белой Лошади, через которые уже много лет никто не рисковал переправляться, так как самые крепкие и легкие лодки разбивались там в щепки. На этих порогах Джэк и его товарищи чуть не погибли. На берегу они были встречены восторженными приветствиями менее отважных золотоискателей.

9 октября путешествие было окончено. Так как наши смельчаки прибыли к цели одними из первых, им удалось захватить пустую хижину в восьмидесяти милях от Доусона, оставленную торговцами мехом с Берингова моря. 12 числа они отправились подать заявки.

Город Доусон, столица авантюристов всего мира, золотоискатели, жизнь среди снегов,—все это описано Джэком Лондоном не раз. И если путешествие в Клондайк не принесло ему золота в прямом смысле, все же оно явилось источником той золотой волны, которая хлынула к нему несколько лет спустя.

Скоро между Джэком и его компаньонами начались разногласия. Все дело было в чрезвычайно развитом у Джэка чувстве гостеприимства. Он не мог не пригласить к своему обеду, к своей раскаленной докрасна печке каждого случайного гостя. Почти никогда они не садились за стол без двух, трех посетителей. Товарищи с огорчением и злобой смотрели, как таяли драгоценные припасы. В конце концов произошла настоящая ссора, и Джэк перешел в хижину к доктору Гарвею, с которым дружно прожил до конца.

Кроме доктора, он сошелся еще с одним человеком, которого искренно полюбил и которым не переставал никогда восхищаться.

— Эмиль Дженсен,—говорил Джэк,—один из редких на свете людей, к которому может быть применено слово «Благородный».

Эмиль Дженсен изображен отчасти в одном из любимейших персонажей клондайских рассказов Джэка—в Мелмуде Киде. В Клондайке же Джэк познакомился с собакой Буком—прообразом собаки из «Зова предков». Кроме того, Джэк, обладавший даром создавать себе друзей, сблизился со многими золотоискателями—в большинстве своем безбородыми юнцами. Иллюстраторы почему-то любят изображать золотоискателей солидными людьми—«с такими бакенбардами, что волос в них хватило бы на добрый хомут», по выражению одного из клондайских ветеранов. Поэтому публика не представляет себе, что в Клондайке могло быть место только молодым людям. К тому же всякая растительность на лице, замерзающая при дыхании, представляла такое неудобство, что в багаже каждого золотоискателя непременно была бритва.

Неизвестно, как долго Джэк мог бы пробыть в Клондайке и сколько бы он добыл золота, если бы был снабжен свежей пищей. Но ни свежей пищи, ни овощей у него не было, и цынга до такой степени изнурила его, что он должен был уехать, как только тронулся лед.

В мае Джэк и доктор Гарвей разобрали хижину, построили из бревен плот и сплавили его по Юкону до Доусона. Там они за несколько сот долларов продали его на лесопильню и во все время пребывания в Доусоне зарабатывали по пятнадцати долларов в день

тем, что ловили бревна на Юконе и продавали их туда же. В то время сырая картошка или лимон были для них желаннее клондайской золотой пыли. Я помню, с каким чувством Джэк говорил о немедленном облегчении, которое доставляла ему половина сырой картофелины, что же касается лимона, то при воспоминании о нем у него не хватало слов. Но цынга не проходила, и Джэку становилось все хуже и хуже. В начале июля он простился с доктором Гарвеем и товарищами и без денег, больной отправился на лодке вниз по реке домой.

По возвращении Джэку снова пришлось подумать о заработке. Со смертью отца на его ответственности остались мать и маленький племянник, сын младшей сестры Иды, которая разошлась с мужем. После отца остались долги, бывшие для Джэка долгами чести. Сумма их в сущности была невелика, но ее надо было достать. Джэк должен был немедленно приняться за какую-нибудь работу. Но времена были тяжелые, и работу достать было нелегко. У Джэка были две специальности—морское дело и ремесло прачечника. О первом нечего было и думать: нельзя было оставить семью, а прачечные были переполнены.

Джэк записался в несколько контор по найму, поместил в газетах целый ряд объявлений, заложил велосипед, часы, резиновое пальто—единственное наследство отца. Работы все не было. Он пытался стать натурщиком—все места были заняты, грузчиком—но не состоял в рабочем союзе. Пришлось удовлетвориться случайными заработками. В это время он снова взялся за писание. Писал более кратко, более сжато. Он писал настоящие живые вещи, писал о том, что испытали его тело, его душа, его ум. Но сам он мало верил в драматическую силу своего пера—ведь то, что он писал, так мало походило на общепринятую манеру. Ему казалось, что он на ложном пути. Он не понимал, что в его произведениях чувствовалась свежесть, давно отсутствовавшая у писателей Европы. Он был художником Запада—свежим, далеким от повседневности. Он обладал чрезвычайно сильной наблюдательностью. Он умел видеть мир и умел показать виденное читателю. Но он был одинок. Даже Лили Мейд, не понимая всей своей жестокости, отказывала ему в поддержке в эти тяжелые дни. Видя его бледным, с провалившимися от недоедания и недосыпания глазами, видя его постоянные материальные неудачи, она старалась всеми силами повлиять на него, чтобы он взял какое-нибудь постоянное место, хотя бы место грузчика. Джэк смутно ощущал какое-то разочарование в ней, но хотя духовно он все дальше и дальше отходил от ее маленького, узенького мирка, все же у него еще была к ней какая-то нежность: эта девушка была такая хрупкая, красивая, у нее были голубые глаза,

длинные золотые волосы, как у лэди Годивы. Эти волосы закрывали ее как плащ, когда она распускала их по плечам.

В конце концов маленький, сам по себе ничтожный инцидент положил конец его восторженному преклонению.

Самолюбие Лили страдало от того, что партию в шахматы Джэк иногда предпочитал ее обществу. И вот однажды, когда Джэк и брат Лили погрузились в экстаз вычислений и Джэк всей душой был прикован к доске, белокурый, стройный ангел в припадке злобы смахнул своими ручками все фигуры на пол.

— Что же ты сделал?—спросила я, когда Джэк много лет спустя рассказывал мне эту историю.

— Ничего. Что можно было сделать? Я почувствовал, как вся моя кровь отхлынула от лица. Судя по выражению лица ее брата, мое лицо, должно-быть, было ужасно. Это было непростительно, понимаешь? Для меня это было грубым, безумным оскорблением благопристойности честной человеческой игры. Это было преступление против святого духа. Грешно было уничтожать полуразрушенную проблему из мелкой ревности к неодушевленному сопернику.

Вот несколько писем, написанные Джэком к Лили.

«27 ноября 1898 года.

...Простите, что я не писал. Я чувствую себя очень несчастным, полубольным. Я так нервничаю, что сегодня утром едва мог побриться...

Все идет не так, как надо; я не получил и двадцати долларов за свои статьи...

Вы как-будто не понимаете. Мне казалось, я ясно объяснил, что эти сатирические стихи только развлечение и опыт. А вы пишете—«все та же тема». Тема здесь не причем. Это только опыты построения и стихосложения. Правда, они отняли у меня много времени, но я все-таки выучил урок и никому ничем не обязан. Когда-то я делал героические усилия. Вспоминая о них, я смеюсь, но временами мне хочется плакать... а теперь я разучиваюсь и учусь заново... не буду пытаться взлететь, пока моя летательная машина не будет в порядке... теперь я стремлюсь к усовершенствованиям. Я подчиню мысль технике, пока не достигну техники, а потом—наоборот...»

Три дня спустя в очень тяжелом настроении он написал ей второе письмо о «долге», из которого я уже приводила несколько выдержек. Теперь привожу остальное.

«Дорогая! Я ценю ваш интерес к моим делам, но у нас нет общей почвы. В общем, в очень туманном общем вы знаете мои стремления, но о настоящем Джэке, об его мыслях, чувствах и т. п. вы

совершенно ничего не знаете. Впрочем, как бы мало вы ни знали обо мне, вы знаете все же больше, чем кто-либо другой. Я сражался и продолжаю сражаться в одиночестве.

Вы говорите, чтобы я пошел к... Я знаю, как она меня любит. А вы знаете, как и за что? Я провел годы в Оклэнде, и мы не видались друг с другом. Смотрели друг другу в лицо не более, чем раз в год. Если бы я следовал ее советам, если бы я послушал ее, я был бы теперь клерком, получающим сорок долларов в месяц, железнодорожным служащим или чем-нибудь в этом роде. У меня была бы зимняя одежда, я ходил бы в театр, имел приятный кружок знакомых, принадлежал к какому-нибудь отвратительному обществу, говорил, как они, думал, как они, поступал, как они, коротко сказать—у меня был бы полный желудок, тело в тепле, никаких угрызений совести, никакой горечи в сердце, никаких мучений самолюбия, никакой цели, кроме покупки обстановки в рассрочку, да женитьбы. Я жил бы, как марионетка, и умер бы, как марионетка. Да. Но она и вполовину не любила бы меня, как любит теперь за то, что я чувствовал, что могу быть больше, чем рабочий, за то, что я показал, что мой мозг несколько лучше, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание мои данные или отсутствие данных, за то, что я отличался от других молодых людей в моем положении,—за все это она полюбила меня...

Если бы весь мир завтра оказался у моих ног, никто не радовался бы этому больше, чем она. И она сказала бы, что никогда не сомневалась в наступлении этого момента. Но до тех пор она будет уговаривать меня не думать, погрузиться на десятки лет в забвение, набивать себе живот, ничем не огорчаться и умереть так, как я жил бы,—скотом. Стоит ли учиться, чтобы извлекать радость из прочитанной поэмы? Она этого не делает, и не испытывает лишения: Том, Дик, Гарри тоже не делают этого и тоже веселы. Зачем я развиваю свой ум? Это вовсе не нужно для счастья. Болтовня, маленькие скандальчики, разные пустяки могут удовлетворить меня. Удовлетворяют же они Тома, Дика, и Гарри, и они счастливы.

Пока мать жива, я, конечно, ничего не сделаю. Но если бы она умерла завтра, и я бы знал, что моя жизнь будет именно такова: что я обречен жить в Оклэнде, работать в Оклэнде на каком-нибудь постоянном месте и умереть в Оклэнде,—тогда я завтра же перерезал бы себе горло и покончил бы с этим проклятым делом. Вы можете называть это сумасбродством, брожением юношеского самолюбия, считать, что все это в свое время смягчится, но я пережил и смягчение».

Дальше следует та часть письма о долге, которая была уже приведена, а также инцидент с кражей мяса в школе.

«...Вы говорите: «Это ваш долг, если вы хотите сохранять уважение тех, чьим одобрением и чьей дружбой вы дорожите». Если бы я следовал этому, разве я познакомился бы с вами? Если бы я следовал этому, кто знает, чьей дружбой я дорожил бы теперь? Если бы я следовал этому с детства, с кем бы я мог быть дружен?

Я не могу обнажить свое сердце, не могу положить его на бумагу, я только отличаю несколько конкретных фактов из моей жизни. Это может дать вам представление о моих чувствах. Если вы не будете знать инструмента, на котором они разыгрывают, вы не поймете музыки. Меня и того, как я чувствовал и мыслил в этой борьбе, как я чувствую и мыслю сейчас,—вы не знаете. Я голоден, голоден, голоден! С того времени, когда я украл кусочек мяса и не знал другого влечения, кроме влечения желудка, и по сейчас, когда мои требования более высоки,—все время был голод, голод, голод!.. Ничего, кроме голода.

Вы не можете понять этого, да и не захотите никогда!

И никто никогда не понимал. Я все перенес один. Долг говорил мне: «Не уходи! Становись за работу». Так говорили и окружающие, хоть и не прямо в лицо. Все глядели косо. И даже если они молчали, я знал, что они думают. Ни слова одобрения, но зато как много порицаний! Если бы только кто-нибудь сказал: я понимаю!

Со времени моего голодного детства на меня глядели холодные глаза, они меня вопрошали, насмехались надо мной, презирали меня. Больнее всего было то, что иногда эти глаза принадлежали моим друзьям, может-быть, и скрытым, но настоящим друзьям. Я закалил себя и принимал удары, как будто они не были ударами, но о том, как мне было больно, знает только моя душа и я.

Пусть будет так! Конец еще не настал. Если я умру, я умру сражаясь до конца, и в аду не будет более подходящего жителя, чем я. Но худо ли, хорошо ли, будет так, как было: я буду один. А вы запомните следующее: прошло время, когда Джон Галлифакс и вся джентльменская этика могли бы быть приняты мною. Если все, что я имею в настоящем, будет отнято у меня,—мне все равно. Я создам себе новое будущее. И если бы завтра я остался голодным и нагим, я, прежде чем сдаться, продолжал бы бороться и голодным и нагим!

...Франк (Франк Альтертов—старый приятель) играл на скрипке, а Джонни шумел в комнате, пока я писал это, так что вы простите несвязность.

Ваш Джэк».

В следующем письме он пишет о сомнительном успехе рукописи, озаглавленной «Человеку на пути», посланной в «Оверлэндский Ежемесячник». Я уже говорила в предисловии, что мой дядя заведывал в

то время делами этого журнала. Я помню, что именно тогда он начал рассказывать дома о замечательных рассказах «этого мальчика— Джэка Лондона».

«Франк наконец ушел, и я могу немного пописать. Почему вы не прислали мне того, что написали? Вы боялись оскорбить меня? Но ваша прежняя откровенность в течение целого ряда лет исключает подобную возможность...

С этой почтой послал «послов» за статьями, отосланными еще в сентябре и которые пропали окончательно. Получил письмо от «Оверлэндского Ежемесячника». Вот его содержание: «Мы прочли вашу рукопись: она нам настолько понравилась, что, несмотря на то, что у нас имеется громадное количество принятого и оплаченного материала, мы готовы сейчас же напечатать ее в январском номере, если... если вы удовлетворитесь пятью долларами».

В рукописи от трех до четырех тысяч слов. Она стоит много больше пяти долларов по обычной репортерской ставке по столько-то за столбец. Что вы скажете о подобном предложении со стороны такого первоклассного журнала, как «Оверлэнд»?..»

Рождество 1898 года было для Джэка особенно суровым. Ему пришлось отказаться от взятой напрокат пишущей машинки. Усталый, разочарованный, он с бессознательной жестокостью написал любившей его девушке письмо, в котором высказывал таившуюся в нем потребность в семье.

«Это, пожалуй, самое одинокое Рождество в моей жизни... Никого, с кем бы поговорить, ни друга, к которому бы я мог пойти... Впрочем, если бы и были друзья, я бы не смог. Отныне не знаю сколько времени придется вам мириться с моим ужасным почерком. По всей вероятности, это последнее письмо, написанное на машинке... Возвращаю машинку 31 декабря... а затем Новый Год и полная перемена фронта...

Я много преуспел, многому научился за последние три месяца. Как велик успех—это я не могу взвесить даже приблизительно; я только чувствую всю цену его и значение, но все это слишком неосязаемо, чтобы я мог изложить о нем черным по белому. Я учился, изучал, читал и думал, и мне кажется, что я наконец начинаю овладевать положением—общим положением, моим положением и соотношением между ними. Я скромен. Как я сказал—я только начинаю овладевать. Я понимаю, что при всем том, чему я научился, я понимаю меньше, чем мне казалось два года тому назад.

Сознаете ли вы парадокс, создаваемый прогрессом? Он и радует и огорчает меня. Нельзя не огорчаться, глядя на проделанную ра-

боту и убеждаясь в слабых местах, и все же нельзя не радоваться тому, что умеешь видеть это и умеешь делать лучше. Я научился за три месяца большему, чем за все пребывание в Высшей школе и в колледже, хотя, конечно, последнее было необходимо с точки зрения подготовки.

Сегодня Рождество. В такие дни мои бродяжнические инстинкты уступают место открытому тяготению к семейной жизни. Довольно с меня разных закоулков нашего белого света. Я глух к призывам Востока, Запада, Юга и Севера—передо мной картина, в роде тех, что рисует Фред Джекобс: уютный маленький коттедж, избранный круг друзей и прежде всего и надо всем—милая маленькая жена и парочка наших уменьшенных слепков. Чулки, повешенные с вечера, радостные сюрпризы поутру, обмен веселыми рождественскими поздравлениями, большой огонь в камине, дети, прикурнувшие на полу перед тем, как итти спать, какая-то дремотная связь между огнем, женой и мною, обеспеченное, спокойное, монотонное будущее в перспективе, удовлетворение от разных мелких удобств цивилизованной жизни, к которой я принадлежу и буду принадлежать, радостное оптимистическое созерцание...

Испытывали вы что-нибудь подобное? Фред мечтал об этом, но никогда не переживал. Мне кажется, моя судьба такая же... Да будет так!.. Все это азартная игра, и выиграет тот, кто меньше всего понимает игру. Самые несчастные игроки те, которые имеют систему или думают, что имеют систему: эти всегда бывают сломлены...

Я отказываюсь от своих старых догматов и в будущем буду поклоняться истинному богу: «Нет бога, кроме Случая, и Счастье пророк его». Тот, кто раздумывает, кто создает системы,—погиб. Как и в религиях—вера здесь искупает все. Я принесу многочисленные гекатомбы и множество жирных первенцов,—вы увидите дым (простите, я хотел сказать—курения).

Начал писать письмо и дошел до бессмыслицы. Простите. Иду обедать к сестре. Желаю всем счастливого Нового Года».

В январе 1899 года в Оверлэнде вышел рассказ «Человеку на пути». В это время Джэк успел притти к выводу, что вдохновения не существует.

«Я пришел к выводу: такой вещи, как вдохновение,—не существует. Я когда-то думал иначе и соответственно этому изображал собою осла. Упорство—вот тайна литературы, как и всего остального. Пожалуй, кроме того, чтобы родиться в рубашке или отправиться в Клондайк. Единственное вдохновение—это то, которое осеняет оратора, когда он обращается к большой, симпатизирующей ему толпе.

Бедное дитя! Вы строите четыре предположения относительно судьбы моего велосипеда и не делаете единственного верного—что он гостит у моего еврейского дядюшки, как и многие другие вещи, слишком многочисленные, чтобы их перечислить. Страшно весело работать при таких условиях. Ваше счастье, что вы получили эту книжку «Оверлэнда». Это единственная, которая у меня есть, и мне пришлось занять десять центов, чтобы купить ее.

Журнал «Черный Кот» пишет мне относительно посланной им рукописи. Они желают получить разные сведения, так как я неизвестен. Они желают знать, написал ли я это сам, и моя ли это идея, было ли это когда-либо напечатано и по частям или целиком, показывал ли я эту вещь кому-нибудь и не желает ли кто-нибудь перепечатать ее... Не могу себе представить, сколько они собираются заплатить»...

Вот выдержка из письма, написанного 13 января 1899 г., которая свидетельствует об одиночестве и тревоге Джэка.

«Сомневаюсь, чтобы вы могли понять, как я огорчен—уже тринадцать дней, как я не писал вам ни звука. Наконец, подумал: «Может-быть, она помнит о дне моего рождения и ждет, чтобы письмо пришло в этот день»? Вчера утром я был уверен, что оно придет. Когда оно не пришло, то вся моя незыблемая уверенность была перенесена на вечер. Увы! Почтальон принес лишь напоминание о долге!

Да, вчера был день моего рождения. Я не ожидал пожеланий «много раз весело встретить этот день», да и не получил их. Только сестра пожелала мне что-то в этом роде. Решил прервать скуку бесконечного писания прозы и позволить себе маленький праздник... Итак, я прочел утренние газеты, ответил на два—три спешных письма, уломал мясника и булочника, чтобы получить возможность удовлетворить бессмысленные жизненные потребности, призвал Музу и уселся писать стихи. Самое занятное во всем этом то, что я делал это из чувства долга».

Январь 1899 года.

...Забыл сообщить вам в последнем своем письме, что я оказался первым в списке кандидатов в грузчики. Мой процент оказался 85.38 (Джэк держал экзамены при городском управлении на должность грузчика, но, выдержав, узнал, что вакансии нет...), но может пройти целый год, прежде чем я получу место...»

28 февраля 1899 года.

«Дорогая! Вы знаете, мы перебиваемся со дня на день, не имея никаких доходов, кроме моего заработка, особенно сейчас. Все вещи в закладе, а счета все поступают. Между тем мне хочется сделать

что-нибудь хорошее в будущем месяце: я рассчитываю получить приглашение по почте в апреле или даже раньше.

По поводу хорошей работы сейчас объясню: издатель «Ежемесячника» Джемс Говард Бридж вернулся, наконец, и сейчас же послал за мной... Вот суть нашего разговора: несмотря на то, что он советует большинству кандидатов в сотрудники журнала искать другой работы, со мной он поступает иначе. У меня настоящая хватка, надо развить. Несколько человек справлялись обо мне в воскресном издании «Экзаминера», и т. д. Он купил февральский номер «Ежемесячника» в поезде, и его захватило мое «Белое Безмолвие». Он говорил, что это самая сильная вещь, появившаяся в журналах за весь год. Но он боится, что это случайность, что я не сумею удержаться на этом уровне, и т. п. Вот его предложение: «Оверлэндский Ежемесячник» печатает сорок страниц рекламы по тридцати долларов за страницу, в то время, как Мак Клюр печатает сто страниц по триста долларов за страницу. Между тем печать, гравюры, бумага, почта и т. д. стоят ему столько же, сколько и «Ежемесячнику». И единственное, на чем «Ежемесячник» может экономить—это на писателях, что он и делает. Но хотя он и не может оплачивать меня хорошо, он предлагает мне очень выгодные условия. Если я осуществлю то, что обещаю, он отведет мне достаточно места на страницах журнала и позаботится о том, чтобы газеты и другие журналы объявили обо мне, устроили бум, чтобы предложить мое имя публике. Вы понимаете, конечно, как это ценно...

...Из всего изложенного вы можете видеть, что мои перспективы расширяются, правда, пока только в возможности. Я могу не оправдать ожиданий, не удержаться, мне может понадобиться дальнейшее развитие, прежде чем я смогу итти дальше: но если даже и не так, все-таки успех требует долгого ожидания. Прилагаю письмо от Клаудеслея Джонса. Возвратите мне его и напишите, что вы о нем думаете. Не думайте, что у меня голова пошла кругом. У меня сердце дрожало, когда я увидел «Белое Безмолвие» напечатанным, а теперь я уже ничего в нем не вижу».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Переписка с Клаудеслеем Джонсом

«Клаудеслей Джонс был первым человеком, написавшим мне о моей работе»,—всегда помнил Джэк. Мистер Джонс прочел «Человеку на пути» и «Белое Безмолвие» в январском и февральском номерах «Оверлэндского Ежемесячника», и восторгу его не было границ. На одном из писем Джэка он написал следующую фразу:

«Предсказываю, что будет великим. Сказал ему, чтобы он не разочаровал меня. Он не разочарует.

Клаудеслей Джонс».

Ответ Джэка на первое письмо Джонса датирован 10 февраля 1899 года.

«Дорогой сэр! Как подбодрила меня ваша короткая записка! По ней я вижу, что вы можете оценить скитания ощупью, в темноте, по необычным путям. Это первое слово поощрения, полученное мною, поощрения гораздо более сильного, чем издательские чеки.

Если крутой подбородок и сознание—может-быть, обманчивое—растущей силы могут помочь исполнению вашего предсказания, то оно до известной степени может осуществиться... Да, мое имя Джэк Лондон—не очень-то американская фамилия, но унаследованная от предков-янки, относящихся ко времени еще до французской и индейской войны.

Благодарю вас за ваше внимание.

Искренно преданный вам Джэк Лондон».

Во втором письме Джэк писал Джонсу:

«Что касается моей фотографии, то вы—в числе друзей, которые ждут ее, и ждут тщетно. На последней карточке я снят матросом, с японской девочкой из Иокогамы, и она у меня только одна. Но вот что я могу сделать: рассказать вам все о себе. В январе мне минуло двадцать три года. Мой рост без каблуков—пять футов семь или восемь дюймов; меня укоротила служба в матросах (его полный рост был пять футов девять дюймов). В настоящее время мой вес—168 фунтов, но, живя на свежем воздухе и привыкнув к нему, я быстро достигаю 180. Я брит; когда не бреюсь, появляются светлые усы и черная борода, но они плохо растут. Гладкое лицо делает мой возраст загадочным; самые компетентные судьи дают мне обычно от двадцати до тридцати лет. Зеленовато-серые глаза, сросшиеся брови, каштановые волосы были черными, когда я родился... лицо бронзовое от долгих встреч с солнцем, хотя сейчас сидячая жизнь победила его, и оно стало абсолютно желтым. Несколько шрамов. Отсутствие восьми верхних передних зубов, обычно скрываемое фальшивыми. Вот я целиком...»

27 февраля 1899 года.

«Дорогой сэр!..

Я ценю высокую похвалу, заключающуюся в сравнении меня с Тургеневым. Но, сознавая его высокое место в литературе, я все же знаю, что мы чужды друг другу.

Мой любимый способ работы—написать от пятидесяти до трехсот слов, а затем переписать их набело. Все исправления, какие бы ни делались, вставляются во время перепечатывания или вписываются в рукопись чернилами... В последнее время я научился сочинять все до самого конца, не прикасаясь к перу и бумаге. Я нахожу, что так лучше работаешь.

Как вы насчет юмора? Я очень ценю его, но даже ради спасения жизни не смог бы развить в себе творческой способности к нему.»

30 марта 1899 года.

«Мой дорогой друг! Три или четыре месяца на краю пустыни—как я вам завидую! И все же благодарю небо, что я не на вашем месте! Но какое прекрасное место для писания! Вот одна из оборотных сторон моего жилища: каждый приходит, когда ему угодно, а я не решаюсь отказать. Время от времени является какой-нибудь матрос. У всех без исключения одна и та же история: вернулся из путешествия; какой чудесный малый этот Джэк Лондон; какой хороший товарищ; никогда в жизни никого так не любил; оставил на судне кучу редкостей; принесет на-днях; скоро заплатят; рассчитывает получить деньги завтра. «Скажи, Джэк, старый дружище, не можешь ли одолжить до завтра пару долларов?» Они всегда кончают этим. Тут я сбавляю наполовину, вручаю деньги, и он уходит. О некоторых я больше не слышу, другие приходят по три, по четыре раза.

У меня фатальная способность—приобретать друзей, не прилагая к тому никаких усилий. И они меня никогда не забывают. Мои друзья-женщины говорят про меня: «Ведь это только Джэк». Этого достаточно. При каждом затруднении или путанице они меня зовут на выручку. В воскресенье с самого утра я все свое время потратил на одну из них и сделал то, чего она и ее друзья не могли сделать за пять лет. Сегодня вечером окончательно кончаю все дело к ее полному удовлетворению, но представьте себе, сколько я потратил времени! Конечно, о вознаграждении не может быть и речи, но ведь это настолько привяжет ее ко мне, что она снова позовет меня, когда в следующий раз попадет в беду. Так вот и уходит—время, время, время! Как драгоценны часы!

Но не надо быть несправедливым. На-днях я встретил в вагоне старого приятеля: он в восторге от этой встречи, я непременно должен вернуться в «общество». В конце концов я обещал притти на следующий вечер. Он распространил эту новость среди друзей, которые не видели меня целых два года. Правда, я никогда не думал, что они, и вообще кто бы то ни было, так дорожили мною; я чуть не заплакал от радости, увидев их искреннее удовольствие... Удрать не

мог. Провел с ними всю ночь; заказали ужин, пригласили еще забытых друзей, и т. д., и т. д.

Мне странно вот что: я считаю благословением иметь таких хороших друзей, но, признаюсь, я никогда не делал ничего, чтобы приобрести или удержать их. Представьте себе, что все эти люди, о которых я пишу, никогда не видали от меня какой бы то ни было услуги, они не связаны со мной ни общественными, ни родственными, ни даже интеллектуальными связями.

Но я так много времени был в одиночестве, что не могу больше надолго оставаться оторванным от городской жизни. Поэтому-то главным образом я и доволен, что не нахожусь в вашем положении. Хотя вы можете поддержать связь с миром при помощи проходящих поездов.

...Упорная воля может сделать все. Я думаю, вы обладаете ею. Почему вам не выработать привычку к усидчивости? Такой вещи, как вдохновение, не существует вовсе, а талант—это очень мало. Усидчивость, расцветающая при благоприятных обстоятельствах, дает то, что мы принимаем за вдохновение, и, конечно, она делает возможным развитие того первоначального зародыша таланта, который, может-быть, и имеется. Упорство—чудеснейшая вещь; оно может сдвинуть такие горы, о которых вера не смеет и мечтать. Действительно, упорство должно быть законным отцом всякой уверенности в себе.

...Изучение человеческой природы—моя большая слабость. Не зная бога, я сотворил себе религию из человека; конечно, я успел узнать, как низко он может пасть. Но это только укрепляет мой взгляд, потому что придает большую цену тем высотам, на которые он способен подняться. Как он мал и как он велик! Но эта слабость, это желание притти в соприкосновение с каждой необычайной личностью, которую я встречаю, доставляет мне много забот.

Может-быть, в 1900 году я поеду в Париж. Но прежде должно случиться много великих событий. Мне понравился рассказ, который вы мне прислали. Не сентиментальные излияния, не истерика, но подлинный пафос... Наши журналы так добродетельны, что я удивляюсь, как они напечатали такую рискованную, такую хорошую вещь. Эта ненужная тревога о том, как бы не заставить покраснеть девственные щеки американских барышень, отвратительна. А теперь им разрешено читать газеты! Читали ли вы сравнение американской и французской молодой женщины, которое сделал Поль Бурже?

...Я признаю справедливость вашей критики по поводу изменений Мелмуда Кида... Но вы заметили, что в «Сыне Волка» он появляется очень бегло? Ваше проницательное предостережение, что я сам могу слишком полюбить его, удивило меня. Боюсь, что я очень привязан

к нему—не к тому, который в печати, а к тому, который в моем мозгу. Я сомневаюсь, чтобы мне когда-нибудь удалось сдать его в печать».

22 апреля 1899 года.

«...Ага, вы просите комфорта взамен условностей, так? Правильно. Завтра я должен надеть белую рубашку, и, конечно, я надену ее с протестом. Обычно я ношу свитер и делаю визиты в велосипедном костюме. Мои друзья уже изжили период, когда они были шокированы, и теперь, что бы я ни сделал, они говорят: «Это только Джэк». Однажды я ехал верхом из Фрезно до Йосмитской долины [1]), одетый главным образом в тропическое дезабилье, с бальным веером и шелковым зонтиком. Занятно было смотреть на жителей, выбегавших смотреть на меня. Некоторые из нашей компании, шедшие сзади, слышали догадки о том, мужчина я или женщина. Женщины, бывшие с нами, были тонкого воспитания, и я до сих пор не знаю, пришли ли они в себя и находятся ли сейчас в нормальном состоянии. Фактически мне не удалось смутить только одного человека— старого повара-китайца...»

30 апреля 1899 года.

«Дорогой друг!.. Значит, вы тоже социалист? Как мы растем! Я вспоминаю то время, когда всех социалистов в Оклэнде можно было по пальцам пересчитать... Я только не согласен с вами в том, что с переменой системы будет нанесен смертельный удар индивидуальности. Вожди всегда будут, и ни один человек не может быть вождем, не борясь за свое положение,—ни один вождь в какой бы то ни было отрасли. Вижу, что мы по крайней мере сходимся во взгляде на храбрость. Для меня мужчина, лишенный храбрости, самая отвратительная вещь на свете, насмешка над всей системой мироздания.

...Моя мать тоже стоит за крематорий. Я думаю, что это самое чистое, самое здоровое и лучшее. Но я не особенно беспокоюсь о том, что будет с моим скелетом, когда я с ним покончу. Что же касается того, чтобы быть погребенным заживо, то счастлив тот, кто может умереть дважды: как бы ни была мучительна агония, ведь это только мгновение. Я уверен, что страдание смерти не сильнее, чем страдание в тот момент, когда накладываются щипцы на больной зуб. Если же это больнее, то ощущение должно быть потрясающе... Вы должны

---

[1]) Йосмитская долина находится в Калифорнии, в 350 км. от С.-Франциско, между вост. и зап. подошвами Сиерры-Невады. За свою необычайную красоту она прозвана чудом вселенной. Долина эта уступлена Конгрессом штату Калифорнии под условием сохранения ее на вечные времена неприкосновенным общественным парком.

простить меня за это письмо. Дух мой мертв в настоящее время... Я немного зачитался. Для примера приведу список того, над чем я работаю,—это не считая трех газет и шатких попыток на современную литературу: Сент-Арман—«Революция 1848 года»: Брюстер—«Этюды построения и стиля»; Жордан—«Примечания к Эволюции»; Тиррель—«Субарктика»; Бем-Баверк—«Капитал и проценты». Последняя книга—опровержение теории Карла Маркса о ценностях, определяемых или измеряемых трудом».

18 мая 1899 года.

«...Как и вы, я пришел к социализму эволюционным путем, хотя и довольно давно. Вы говорите: «Чтобы удержать за собой предводительство, надо иметь или приобрести все те качества, которые общество и политика требуют от своих фаворитов: лицемерие, неискренность, лукавство и т. д. Роберт Луи Стивенсон был человеком, которого некоторые, довольно широкие, слои в некоторых, довольно тонких, областях считали своим вождем, но я убежден, что он не обладал этими качествами. Это относится ко всякому искусству, науке, профессии или спорту и т. п. Я понимаю, что ваше мнение относится главным образом к политике, но представляете ли вы себе, как много раболепства и низкой лжи зависит от политики партий? А при удалении партии и всей грабительской системы с поля действия разве вы не допускаете, что может выдвинуться лучший класс людей, политических лидеров, людей, чьи безупречные качества в настоящее время не позволяют им пресмыкаться в грязи для того, чтобы получить пост вождя?»

28 мая 1899 года.

«...Верьте, я не ожидаю перерождения человечества в один день. Я также не думаю, чтобы надо было родиться вторично, прежде чем социализм будет осуществлен. Главный движущий принцип этого движения—себялюбие, чистое, прямое себялюбие, возвышение, как простое ультимативное и императивное следствие лучшего окружения».

12 июня 1899 года.

«...Да, я согласен с вами. «В далекой стране» должно было быть лучшим рассказом в сборнике, но не было им. Что касается неуклюжести построения, то вы, конечно, заметили это. Не знаю, сумею ли я когда-нибудь исправить... вы видите, я иду ощупью и ощупью ищу свой собственный стиль, который должен стать моим, но которого пока еще не нашел.

...По поводу плагиата: вы просто сверхчувствительны в этом вопросе. Знайте, что «В далекой стране» было написано много времени спустя после того, как я прочел вашего «Нортон Дрэк и К°». Но я не

заметил совпадения, пока вы мне на него не указали. Боже мой, ни вы, ни я не были первыми, использовавшими сломанную спину; что же мы, значит, не можем пользоваться этим? О скольких разбитых спинах, ногах и сердцах писалось и писалось!.. Возьмите «Белое Безмолвие». Сколько раз было использовано падающее дерево?..»

23 июня 1899 года.

«...Не забывайте, что есть логика выше, чем нравственная и формальная. Нравственная и формальная логика совершенно основательно доказывают, что женщина должна пользоваться избирательным правом. Но высшая логика говорит: нет. Почему? Потому что она женщина, потому что она заключает в себе то, что помешает, что не допустит ее экономической и избирательной независимости так же, как не допустит ее избежать того, чтобы до конца принести себя в жертву мужчине. Я говорю о женщинах вообще. То же и с расовой проблемой. Разные семейства людей должны покориться закону, неумолимому, слепому, нерассуждающему закону, не знающему ни добра, ни зла, ни справедливого и несправедливого, закону, не делающему предпочтения, закону, не дающему преимуществ ни атому в молекуле воды, ни какой-либо единице в звездной системе, закону бессознательному, абстрактному, как время, пространство, материя, движение, в котором невозможно найти ни начала, ни конца. Это высший закон, высшая логика, пред которой должны склониться люди-черви, хотят они этого или нет.

Социализм—не идеальная система, изобретенная людьми для счастья всей жизни или счастья всех людей. Она изобретена для счастья избранных рас. Она изобретена для того, чтобы придать большую мощь этим избранным расам, чтобы они могли существовать и унаследовать землю после вырождения низших, слабейших рас. Настоящие приверженцы социализма будут говорить вам о братстве людей, и, я знаю, они искренни. Но это не меняет закона, они лишь орудия, слепо работающие над улучшением некоторых избранных рас и над разрушением низших рас, которые они называют братьями. Это закон: они может-быть, и не знают этого, но это не мешает логике событий».

29 июля 1899 года.

«Дорогой друг!.. Наконец уехали гости! Я слишком утомлен гостями, чтобы приняться за работу. А меня ожидает разнообразная работа. Приходилось ли вам когда-нибудь писать рассказ, скажем, в двадцать тысяч слов, при чем каждое слово необходимо, как воздух, а потом получить от кого-нибудь предложение выпустить три тысячи

слов? Сейчас мне сделал такое предложение «Атлантик». Не знаю, согласиться или нет. Это все равно, что вырезать фунт «мяса» (дело шло о «Северной Одиссее», появившейся в «Атлантике» в январе следующего года *Ч. Л.*).

...Несколько лет тому назад, три года во всяком случае, я написал очерк «Дорога», в котором описывал трампов, их образ жизни и т. п. Очерк побывал всюду, и все синдикаты, все крупные воскресные издания отказывались от него, как от описательной статьи. Но я все посылал и посылал его. И вот на-днях пришло извещение о том, что он принят «Ареной»... Скажите, если какой-нибудь третьеразрядный журнал печатает вас, и вы ждете уплаты в течение тридцати дней по напечатании, а затем начинаете требовать денег, и они даже не отвечают на ваши письма, что вы тогда делаете? Есть ли какой-нибудь способ взыскать с них? Или надо молча терпеть? Скажите, скажите мне, и я покажу тогда мошенникам!

...Как вы говорите, я тверд. Иногда по пустякам я могу показаться нетерпеливым и т. п. Но каждый, кому приходилось иметь со мной дело, мог заметить следующее: дела идут по-моему, даже если для этого нужны годы. Ничто не может пересилить меня, конечно, не считая отдельных мелочей данного момента. Я не упрям, но я упорно иду к своей цели, как игла к полюсу: отсрочка, уклонение, прямая или тайная оппозиция—не важно: будет по-моему!»

10 августа 1899 года.

«...Да, я сократил рассказ для «Атлантика». Там было двенадцать тысяч двести пятьдесят слов, и, хотя они и просили меня сократить до трех тысяч, я едва смог свести к десяти. Послал также Хоутону, Меффлину и К° серию рассказов (сборник «Сын Волка»).

...Но ведь я серьезно смотрю на себя. Мое самоуважение возникло в трезвые минуты. Я очень рано сознал, что во мне две природы. Это доставило мне много затруднений, пока я не выработал жизненной философии и не пришел к компромиссу между плотью и духом. Сильное преобладание одного над другим было бы ненормальным, а так как нормальное—мой идол, то я в конце концов успешно уравновесил обе природы. Обычно они в равновесии, но иногда то одна, то другая начинает брать верх. А я питаю мало уважения и к абсолютному скоту и к абсолютному святому.

Мне кажется, наиболее разумным в мире способом поступит тот человек, который, учтя элемент случайности, изберет конечное счастье предпочтительно перед счастьем ближайшим. Тот, кто выбирает ближайшее счастье,—скотина, тот, кто выбирает бессмертное счастье,—осел, но тот, кто выбирает конечное счастье,—знает, что делает.

...Я сомневаюсь, чтобы даже вы откровенно признали роман настоящей литературой. Если так, то оставим фикцию и воздадим должное газетам, фиксирующим или меняющим общественное мнение, особенно в более мелких вопросах. Но уже одни «Основные начала» Спенсера, не касаясь остальных его трудов, сделали для человечества больше и в веках сделают больше, чем тысячи книг, в роде «Николая Никкльби» или «Хижины дяди Тома». Подумайте о том громадном значении, которое имели для человеческого блага «Происхождение видов» или «Происхождение человека» Дарвина, или творения Рескина, Милля, Гексли, Карлейля...»

26 сентября 1899 года.

«...Как я завидую, что вам не приходится писать для печатания. Конечно, у вас больше шансов достигнуть намеченной цели, чем у меня, находящегося в вечной погоне за долларами, долларами и долларами! И я даже не знаю, как быть иначе, потому что надо же человеку жить? И потом от меня зависят и другие... Начал понемногу отдаляться от друзей... но от иных нельзя отделаться иначе, как удрав. Только вместо пустыни я думаю уйти в море. Многие, кто меня знает, спрашивают, почему я не напишу какого-нибудь морского романа. Но, видите ли, я так давно не был в море, что утратил связь с ним. Надо сначала вернуться, насытиться той атмосферой. Тогда, быть может, я сумею сделать что-нибудь хорошее».

30 сентября 1899 года.

«...Пишу теперь по тысяче слов в день и шесть дней в неделю. На прошлой неделе я сделал на тысячу сто слов больше, чем назначил себе. Я взял за правило догонять на следующий день то, что не успел сделать в данный день, а то, что сделал сверх положенного, того я не считаю. Я уверен, что так можно в течение определенного периода выработать больше, чем работая урывками и скачками. Как летит время! Скоро Рождество и приближается Пасха. Ах! Улыбнутся ли боги так, чтобы я мог поехать?»

24 октября 1899 года.

«Дорогой Клаудеслей! Полное смятение, гости еще здесь! Итак, вы шахматный игрок? И это единственная приемлемая для вас форма развлечения? Что касается меня, я держусь другого мнения, но о вас делаю вывод, что вы хороший игрок. Я никогда не встречался с хорошими игроками—тратил время на обучение начинающих, а для шахматов нет ничего более вредного. Кроме того, у меня никогда не было времени.

...Вы думаете, что могли бы сделаться отшельником? Для меня это было бы труднее, чем стать самоубийцей... Отшельничество—это ад!»

31 октября 1899 года.

«...Вы говорите, что мир—синоним ада, как я говорю это про отшельничество. Не могу согласиться. Есть некоторые искупающие мир вещи. Пока существует хоть одна хорошая женщина, этого не может быть.

Помню, однажды я несколько недель под ряд глубоко обсуждал вопрос об избавлении. Казалось, тучи никогда не рассеются. Но потом они рассеялись, и, я думаю, вы никак не угадаете, что смягчило мое настроение. Ко мне вернулось воспоминание о дне, о часе, нет, о нескольких жалких минутах, о временах, затерянных в глубоком прошлом. Я вспомнил... что? Женскую ногу. Мы были на море. Нам пришлось итти вброд, и мы зарыли ноги в горячий песок, чтобы высушить их. И вот эти минуты вернулись ко мне каплями «нежности и света». Ад? Нет, пока на земле есть хоть одна женская нога! Не думайте, пожалуйста, что я влюблен. Просто сентиментальность. Не так часто со мной бывает».

21 ноября 1899 года.

«Если деньги придут вместе со славой—пусть придет слава. Если деньги придут без славы—пусть придут деньги».

12 декабря 1899 года.

«...Дорогой Клаудеслей!.. Вы ошибаетесь. Я не верю в мировое братство людей. Кажется, я уже говорил об этом. Я верю, что моя раса—соль земли. Я научный социалист, а не утопист, я—человек практики в противоположность человеку воображения. Последнее, впрочем, становится анахронизмом.

Нет, нет, банкротство вовсе не идеальное состояние, по крайней мере для меня. Это слишком ужасно. Дайте мне миллионы, и я приму ответственность».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Знакомство с Анной Струнской. Переписка. Женитьба на Бесси Мадерн

Анна Струнская была русской еврейкой, студенткой Станфордского университета. Это была пылкая семнадцатилетняя девушка, интеллигентная, обладающая даром речи, яркая и горячая, как цветок мака, освещенный апрельским солнцем. Она резко отличалась от дру-

гих женщин, с которыми Джэк до сих пор встречался,—такая приветливая, откровенная, с широким сердцем, с глубокой, прямой честностью. Все любили Анну—и мужчины, и женщины. Ее дружба с Джэком сложилась просто и естественно, их духовная и нравственная близость длилась многие годы. Джэк был очарован не только Анной, но всей ее приветливой, гостеприимной, интеллигентной семьей. «Это прекрасные, тонкие люди, личности, а не масса. Они стоят за все высокое. Хорошо знать таких людей»,—характеризовал Джэк эту семью в одном письме.

В 1919 году Анна Струнская сообщила мне подробности их первой встречи и свое первое впечатление о Джэке.

«...Мы встретились с Джэком на лекции Аустина Леви в конце 1899 года. Мы оба устремились к трибуне приветствовать оратора. В это время кто-то из знакомых спросил: «Хотите познакомиться? Это Джэк Лондон, товарищ, который говорит на улицах Оклэнда. Он был в Клондайке и теперь пишет рассказы для заработка». Мы пожали друг другу руки и стали разговаривать. Я чувствовала необычайную радость, как-будто встретила Лассаля, Карла Маркса или Байрона в молодости, так отчетливо я чувствовала, что имею дело с исторической личностью. Почему? Я не могла бы сказать. Может-быть, потому, что это действительно было так, что он действительно принадлежал к немногим бессмертным. Это было субъективное впечатление.

Объективно же—передо мной был молодой человек лет двадцати двух, с бледным лицом, освещенным большими синими глазами, с прекрасным ртом, обнаруживавшим при улыбке отсутствие передних зубов. Это придавало ему несколько мальчишеский вид. Лоб, нос, контур щек были эллинские. Фигура производила впечатление грации и атлетической силы, хотя он и был несколько ниже обычного для американца, вернее, калифорнийца, роста. Он был в сером костюме. На нем была мягкая белая рубашка и воротник, которые он уже тогда избрал, как свою обычную одежду раз навсегда.

...Тогда началась наша дружба...»

Вот первое письмо, написанное Джэком к Анне Струнской:

19 декабря 1899 года.

«Дорогая мисс Струнская!

Вы сказали мне на прощание, что вы тоже кандидат в литераторы. Может-быть, я мог бы помочь вам, не в области высшей критики, но в более прозаичной, хотя и не менее важной области,—в деле представления рукописей. После долгих трудов я познал нравы «молчаливых и угрюмых людей, управляющих журналами», цены, значение, приемлемость и т. п. Если вы нуждаетесь в чем-нибудь подобном (в практическом человеке), верьте, я искренно к вашим услугам.

29 декабря.

«Дорогая мисс Струнская!.. Во всяком случае знайте, что я без оговорок соглашаюсь с вашим диагнозом того, в чем и как я ошибся. Если память мне не изменяет, это был мой первый и последний опыт психологического анализа. Я хочу сказать, что мне надо многого добиться, прежде чем я снова примусь за такую работу. Я знал, я чувствовал, что многое нехорошо, что конец не подходит и т. д., и т. д., но и только. Вы же дали мне более ясное представление. У меня было неопределенное ощущение, что что-то не так; вы указали, что именно... И что важнее всего, вы указали на недостаток одухотворенности, идеализированной одухотворенности—не знаю, правильно ли я выражаюсь. Вы понимаете? Я пришел к вам из пустыни, как душа, алчущая и жаждущая неизвестно чего. Все лучшее и высшее вытоптано во мне. Вы знаете мою жизнь... Я гонялся за тенью, насмехался, не верил, зачастую обманывал собственное сердце, сомневался в том, во что меня заставляло верить мое сомнение... Но прежде всего я жаждал... Пожалуйста, не подумайте, что я истеричен... Я надеюсь, мы будем друзьями».

22 января 1900 года Джэк писал Клаудеслею:

«...Заложил велосипед, купил почтовых марок, привел в некоторый порядок дела... Надо засесть за работу: повысил норму до полуторы тысяч слов в день, пока не выберусь из ямы... Иногда догоняю до двух тысяч. Каково? И в то же время не отказываюсь ни от каких обязательств, продолжаю заниматься и исправлять от 16 до 48 страниц корректуры в день. Иногда не выхожу по сорок восемь часов и вижу только соседний подъезд, когда покупаю вечернюю газету... Я откровенно и грубо связан деньгами».

10 февраля.

«Дорогой Клаудеслей!

Я имел успех у Мак Клюра. Помните рассказ о священнике, который отрекся, и грешнике, который не отрекся? Мак Клюр принял его при условии, что я соглашусь отбросить начало и выкинуть несколько богохульств. Конечно, я согласился. Ведь там шесть тысяч слов. Через два дня я получил извещение, что они приняли «Вопрос о максимуме»—социалистическую статью, которую я вам читал... Они хотели бы еще рассказов, просят прислать, если у меня есть, длинную повесть и сборник коротеньких рассказов для просмотра и издания. Закончил корректуру «Сына Волка»—251 печатная страница.

...Я говорил вам, что считаю абсолютный пауперизм столь же нежелательным, как и богатство. Скажите, вы действительно так думаете? Конечно, вы непоследовательны. Конечно, вы жертвовали (не-

риодически) вашим именем и вашим искусством, изменяя рассказы. Далее, вы делали это для денег. Вы не можете защищаться, вы знаете, что не можете. Почему же не быть откровенно грубым, как я? Вы делаете то же самое, когда пишите как попало. Печать, журналы, рассказы на премию для «Черного Кота»—все это деньги. Будьте последовательны, даже если вы будете так же гнусны, как я, в вопросе о долларах и центах...

...Дорогой друг, если бы я не был «животным с логической природой», я не был бы здесь сейчас. Только поэтому я не погиб и не застрял в пути. Меня называли грубым, холодным, жестоким, упорным и т. д. А почему? Потому что я не пожелал остановиться на их станции и оставаться на ней до конца моих дней. Деньги? Деньги дадут мне вещи, или по крайней мере больше вещей, чем я мог бы получить иначе. Они могут даже перенести меня на ту сторону света, чтобы я встретил родственную душу; между тем без них я мог бы дома жениться неудачно и прозябать, пока не кончится игра.

Получил извещение от «Товарища Молодежи», что они примут вещь, если я удлиню вступление... Помните «Волну»? Вчера я послал им короткую записку и вложил в конверт полдюжины ломбардных квитанций и двухпенсовую марку. Интересно, что они сделают?»

17 февраля 1900 года.

«Дорогой Клаудеслей... Итак, когда вы работаете лучше всего, вы делаете не больше четырехсот-пятисот слов в день? Хорошо. Очень хорошо. Я настаиваю на том, что нельзя писать хорошо, если пишешь по три-четыре тысячи слов в день».

1 марта 1900 года.

«Я деятельно работаю: должен кончить рассказ для Мак Клюра, рассказ для «Атлантика» и речь для Оклэндской секции к одиннадцатому. А затем непременно надо написать рассказ для «Черного Кота». До сих пор не придумал еще завязку или даже идею. Хотел послать им «Человека со шрамом», но его принял Мак Клюр...

Мак Клюр платит хорошо. За два рассказа и одну статью, принятые ими, всего в пятнадцать тысяч слов, они прислали мне триста долларов, по двадцати долларов за тысячу. Это лучшая плата, какую я до сих пор получал. Если они захотят купить меня—и тело, и душу—пусть приходят: только пусть дадут подходящую цену. Я пишу за деньги. Если я добьюсь славы, это будет значит б о л ь ш е д е н е г. Б о л ь ш е д е н е г для меня означает б о л ь ш е ж и з н и. Я всегда буду ненавидеть добывание денег. Я всегда сажусь писать с крайним отвращением. Я предпочел бы блуждать по разным старым местам. Поэтому добывание денег никогда не превратится у меня

в порок. Но трата денег... о, боже! Я всегда буду жертвой этого. Получил эти триста долларов в понедельник. Сейчас у меня в кармане около четырех долларов».

15 марта 1900 года он послал Анне свои ранние произведения со следующим письмом:

«Дорогая Анна... Когда будете просматривать... пожалуйста, помните, что я показался вам во всей своей наготе... все эти тщетные усилия и страстные стремления—мои слабые стороны, которые я показываю вам. Грамматика всюду слаба, а местами ужасающа. С художественной стороны вся шкатулка отвратительна... Посылая вам эти вещи, я совершаю самый храбрый поступок во всей моей жизни.

Знаете ли вы, что я становлюсь нервным и чувствительным, как женщина? Мне надо уйти, надо расправить крылья, или я превращусь в ненужный обломок. Я становлюсь застенчив, слышите, застенчив! Это надо прекратить.

Думаю о переезде. В теперешней квартире становится слишком тесно... Но какое беспокойство, смятение, какая трата времени!..

...Относительно коробки: пожалуйста, сберегите содержимое! И, пожалуйста, не спутайте! Целые месяцы не писал стихов. То, что вы видите,—только эксперименты... они неудачны, но все же я не сдаюсь. Когда-нибудь, когда я буду материально обеспечен, я снова примусь за стихи, если только не опроституирую себя так, что уж не будет искупления.

Сейчас переучиваюсь писать. Когда вы обнаружите столько же ошибок и все-таки ничего не достигнете, тогда придет время сказать что вы не можете писать. Сейчас вы не имеете права сказать это. Если же говорите это,—значит, вы трус. Лучше не начинайте, если боитесь, работы, работы, работы и рано и поздно, беспрестанно, всегда...»

3 апреля 1900 года.

«Дорогой Клаудеслей!

Сейчас насмешу вас до смерти. Вы заметите, что я переехал. Хорошо! В следующую субботу я женюсь. Еще лучше? А? Извещение о похоронах пришлю позже.

Джэк Лондон».

Мистер Джонс известил о получении этого письма крайне лаконично. Ответ состоял из двух слов с инициалами посредине и восклицательного знака в конце. С той же почтой было послано и то письмо к моей тете, о котором я упоминала в предисловии.

Все произошло, повидимому, оттого, что на старой квартире было слишком тесно. Джэк решил переехать с матерью и племянником в

хорошенький двухъэтажный коттедж с садом. Елизавета Мадерн пришла помочь Элизе в уборке. Джэк лежал на полу и читал книгу, в то время как сестра и ее подруга расставляли на полке его маленькую библиотеку. Элиза случайно заметила, что Джэк, приподнявшись на локте, пристально следит за движениями мисс Мадерн. Она с болью в сердце угадала, что должно произойти, но решила молчать. В тот же вечер Джэк убедил девушку в разумности их брака и получил ее согласие. На следующее утро он ворвался к сестре и без всяких подготовлений сообщил о своей женитьбе. Элиза ни словом, ни жестом не выдала своих чувств. Она поздравила брата и согласилась предупредить мать. Флора Лондон, радовавшаяся тому, что наконец-то будет хозяйкой хорошенького домика, отнеслась к новости о появлении заместительницы без всякого энтузиазма. Вообще весь план, выработанный Джэком, сошел не так гладко, как он ожидал. Через три месяца после возвращения молодых из свадебного путешествия той же Элизе пришлось помогать при переезде Флоры Лондон на другую квартиру. Между братом и сестрой не произошло никаких объяснений. Элиза взглянула на его осунувшееся лицо, на сжатый рот и пришла на помощь осторожно, без лишних слов, стараясь не обострять враждебности.

Клаудеслей, по получении печатного извещения, прислал Джэку следующее письмо:

«Дорогой Джэк! Могу я отложить свои поздравления вам и вашей супруге на десять лет? Надеюсь, что тогда я смогу принести их вам. В четверг 7 апреля 1910 года—не забудьте: постарайтесь дождаться их».

В это же время Джэк и Анна решили начать совместную работу и в форме писем высказать свои противоположные взгляды на любовь [1]).

4 февраля 1901 года.

«Дорогой Клаудеслей! Не умер, но в спешке, как всегда... Я так страстно и так долго мечтал об отцовстве, что казалось, это счастье мне недоступно. Но оно есть. И какой чудесный и здоровый ребенок! Весил девять с половиной фунтов. Говорят, что для девочки это очень хорошо. До сих пор обнаружил хороший желудок и отсутствие каких бы то ни было болезней. Только и делает, что спит. Иногда лежит целый час, не спит и не пищит. Хочу назвать ее Джоан. Напишите, как это вам нравится и какие вызывает ассоциации?»

---

[1]) Книга была названа „Письма Кемптона Уэсса“.

1 апреля 1901 года.

«Дорогой Клаудеслей! Роман, наконец, закончен, и я очень рад... Я послал четыре триолета (единственные четыре, написанные мною) в «Тоун Топик». Приняли один, три вернули. Позднее я опять послал один триолет. Они приняли. Еще позднее я послал еще один. Приняли. Но от четвертого отказались... Во всяком случае... поезжайте куда-нибудь и живите в центре явлений. В наши дни нельзя делать что бы то ни было, будучи изолированным. Изберите какой-нибудь большой город, погрузитесь в него, живите, встречайтесь с людьми, с явлениями. Если вы верите, что человек—создание среды, вы не можете оставаться за пределами событий».

3 апреля 1901 года.

«Дорогая Анна! Разве я сказал, что людей можно разделить на категории? Хорошо. Если я это сказал, то разрешите добавить—не всех людей. Вы ускользаете от меня. Я не могу классифицировать вас, не могу уловить вас. Я могу похвалиться этим в девяти случаях из десяти, я могу предсказать действия девяти из десяти по их словам и поступкам, я могу почувствовать, как бьется их сердце. Но с десятым я отказываюсь. Вы десятая.

Были ли когда две души, более нелепо связанные? Мы можем одинаково чувствовать, и это бывает с нами даже очень часто, а если не чувствуем одинаково, то понимаем друг друга—и все же у нас нет общего языка. Мы не находим слов. Мы непонятны друг для друга. Бог, наверное, смеется над этой комедией.

Разве вы понимаете меня сейчас? Не знаю. Мне кажется, нет. Я не могу найти общего языка.

Большой темперамент, вот что роднит нас... Я улыбаюсь, когда вы приходите в энтузиазм. Это улыбка снисхождения, нет, почти зависти. Я прожил под гнетом двадцать пять лет. Я учился не быть энтузиастом. Такой урок трудно забыть. Я начинаю забывать, но понемногу. В лучшем случае, я забуду, может, перед смертью, но не все, и даже не очень много. Теперь, когда я учусь, я могу ликовать по поводу мелочей, но по поводу своего тайного не могу, не могу!.. Понятен ли я? Слышите ли вы мой голос? Боюсь, что нет. Ведь есть же позеры. И я самый удачливый из них».

Письмо не датировано.

«Дорогая Анна! Ваше письмо прекрасное, тонкое и прекрасное дополнение к нашей книге. («Письма Кемптона Уэсса» *Ч. Л.*). Очень хотелось бы видеть его в печати... Ваше письмо призвало меня к работе и вызвало попытку написать заново первое письмо. Я провел

над ними два дня в упорной работе... Я никогда не подозревал, до чего плохи мои первые письма; теперь я это знаю...»

Письмо не датировано.

«...Нашел письмо № 2 и взываю к пощаде, взываю к тому чувству, которое владело вами, когда вы писали мне. Не знаю, что делать с ним. Чувствую, что все не так, что я не строю характера как надо и даже не пишу письма так, как надо писать. Но я думаю, что это придет со временем. Во всяком случае это хороший способ составить себе ясное представление о собственных возможностях... И прошу вас—критикуйте беспощадно, особенно ошибки вкуса».

В статье, написанной после смерти Джэка Лондона, Анна Струнская, вспоминая об этом периоде совместной работы, говорит:

«Он утверждал, что любовь—западня, поставленная природой для отдельной личности. Надо жениться не по любви, а по особым качествам, определяемым разумом. Он защищает эту мысль в «Письмах Кемптона Уэсса», защищает блестяще и страстно, так страстно, что заставляет сомневаться, был ли он так уверен в своей позиции, как хотел казаться».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поездка в Европу

(1902 — 1903)

Весной 1902 года я возобновила знакомство с Лондонами и стала бывать у них. В то время они жили в Пьемонте, в старом бунгало на высоком холме, поросшем соснами и эвкалиптами, с громадным полем оранжевых маков, тянущимся на запад, к синей бухте и еще более синему морю. Этот дом ближе всего подходил к идеальному дому, как его представлял себе Джэк. Тут же, в отдельном маленьком коттедже, жила и Флора Лондон с маленьким Джонни.

Раз в неделю к обеду и на вечер собирались друзья. В остальные дни Джэка не разрешалось отрывать от работы. Все—и дело, и развлечение—было подчинено строгой дисциплине. «Я апостол правильной работы,—говорил Джэк,—я никогда не жду вдохновения. По темпераменту я небрежен, неточен, даже меланхоличен. Но я поборол это. Морская дисциплина оказала на меня свое действие. Может-быть, правильность и краткость моего сна также следует приписать прежним дням на море. Пять с половиной часов—вот средняя норма, и никакие обстоятельства жизни не могут удержать меня в бодром состоянии, когда пришло время спать».

Что касается домашнего устройства, то он неизменно повторял одно и то же: «Если мало прислуги, возьмите еще. Наши дела хороши. Тяжелые дни миновали. Делайте все, что нужно, но чтобы в мои четверги у нас был хороший, гостеприимный стол».

Эти четверги навсегда останутся в памяти у тех счастливцев, которым довелось побывать на них. Они были наполнены играми, музыкой, чтением, спортом, и никто не мог превзойти Джэка в веселье и жизнерадостности. То он учил всех боксировать, то читал веселые рассказы и катался по полу от смеха, то сражался с молодежью и бомбардировал барышень помидорами, а потом удирал от разъяренной стаи, то катал нас на своей шлюпке «Спрей».

Однако, несмотря на то, что он достиг, хоть и не совсем того, о чем мечтал, но все же желательного ему устройства жизни, несмотря на то, что он женился по своему выбору и удовлетворил свою потребность в детях, он не был счастлив. Правда, об этом могли догадаться лишь самые близкие друзья; он не выдавал себя ни единым словом и только в письмах к Анне и Клаудеслею иногда приоткрывал душу.

5 января он писал Анне Струнской:

«Вы оглядываетесь на истекший год волнений и банкротства. Я тоже. И для меня Новый Год начался неприятностями, заботами и разочарованиями. А для вас?»

14 марта.

«...Сейчас приступил к чтению «Фомы Гордеева». Вы читали? Я приберегу, чтобы вы прочли прежде всех, если еще не читали. Это замечательная книга. Я хотел бы разрешить себе отдых на целый день, чтобы не приступать к ней таким, как сейчас—усталым, измученным».

3 июля.

«...Я, как всегда, поглощен писаньем. За три месяца я немного отстал в работе и поклялся страшной клятвой наверстать. Вчера работал восемнадцать часов и сделал довольно много. То же самое позавчера, и т. д., и т. д.».

В то лето, по выражению Анны, работал напряженно: «до жалости, до трагизма». Приблизительно в середине июля пришло предложение от Американского Союза Печати отправиться в Южную Африку для того, чтобы написать серию статей о бурской войне и политическом и промышленном состоянии британских колоний. Джэк принял предложение с восторгом и только перспектива разлуки с Джоан омрачала его радость. По получении телеграммы он сейчас же отправился в Нью-Йорк, но там узнал, что бурские генералы отплыли в Англию.

Это несколько изменило его планы, и он решил последовать за ними, чтобы повидать и проинтервьюировать их.

31 июля. Пароход Мажестик.

«Дорогая Анна... Вчера в полночь отплыл из Нью-Йорка. Через неделю буду в Лондоне. Там посвящу два дня хлопотам, а затем исчезну из вида...

25 августа. Анне.

«В субботу провел всю ночь с бездомными, ходил по улицам под проливным дождем, промок до костей, ожидая, когда же наконец наступит рассвет. Воскресенье провел с бездомными, в дикой погоне за чем-нибудь съестным. Вернулся в свою комнату после тридцати шести часов беспрерывной работы и одной короткой ночи сна. Целый день составлял, писал и пересматривал четыре тысячи слов. Только что кончил. Сейчас час. Я истрепан, измучен, мои нервы притуплены всем, что я видел, и теми страданьями, которых мне это стоило. Я болен от этого человеческого ада, именуемого Вест-Эндом».

К концу сентября, приблизительно в течение семи недель он пережил свою книгу, написал ее, снял фотографии для иллюстраций, ознакомился с работой некоторых английских издательств и приготовился к поездке на континент.

Джэк погрузился целиком в описание лондонского Вест-Энда, вложил в него все свое сердце, посвятил ему все свое драгоценное время, как бы отрицая свою постоянную мысль о долларах. Он писал с полной уверенностью, что не получит за это денег, что ни один буржуазный журнал, имеющий возможность дать настоящую цену за этот человеческий документ, не захочет рисковать своей репутацией, опубликовывая такую неприятную правду. «Люди Бездны» появились сначала в одном социалистическом ежемесячнике, где, конечно, много платить не могли.

Окончив книгу, Джэк отправился на континент, побывал в Париже, в Италии. Он пробыл бы там и дольше, если бы не получил телеграммы, извещавшей его о рождении второго ребенка, дочери Бесс, что и заставило его немедленно пуститься в обратный путь.

Осенью 1902 года вышли три его книги в трех разных изданиях: «Дети Мороза»—изд. Макмиллан; «Плаванье на «Ослепительном»—изд. Сенчюри; «Дочь Снегов»—изд. Липпинкот. В общем у него было уже пять книг, и, кроме того, материала на столько же.

По возвращении из Европы Джэк решил посвятить себя воспитанию детей, убеждая себя, что все у него обстоит благополучно. Об этом свидетельствует письмо, написанное Клаудеслею 27 января 1903 года.

«Я думаю, пришла пора для ваших столь долго откладываемых поздравлений по поводу моей женитьбы. Итак, валяйте. Или приезжайте взглянуть на нас и на ребят, тогда и поздравите».

Четверги были возобновлены, люди приходили и уходили, журналисты ездили за тысячи миль интервьюировать восходящее светило, но молодой супруг и отец не был счастлив и вел постоянно проигрываемую борьбу, чтобы не отказаться от принятых решений. В это время он начал писать книгу, которой суждено было впоследствии быть принятой в университетах, как классическое произведение английской литературы: это «Зов Предков». Тогда же Джэк начал собирать материалы для большого романа «Морской Волк». Так как денег не было, а жить надо было, Джэк, не колеблясь, продал «Зов Предков» Макмиллану со всеми авторскими правами за две тысячи долларов. Эта книга принесла большие деньги всем, кроме автора. Но Джэк всегда утверждал, что он только выиграл от этой сделки, так как Макмилланы устроили ему громадную рекламу, стоившую больших денег.

Между тем близкие друзья вскоре почувствовали что-то неладное в Лондонском бунгало. Они были бы еще больше поражены, если бы узнали, что Джэк с некоторых пор избегал спать в одной комнате со своим старым ружьем, боясь, чтобы оно не попалось ему под руку в минуту пробуждения от тяжелого сна. Конечно, такой энергичный, сильный человек, как Джэк, не мог долго мучиться в подобном состоянии. И странное совпадение: его окончательное отступление совпало с выходом в свет «Писем Кемптона Уэсса», как бы указывавших на обманчивость его столь хваленой когда-то программы.

Джэк принял непоколебимое решение: как только он сможет обеспечить семье приличное существование, он будет жить отдельно и навещать детей. Нелегко далось ему это решение. Он глубоко любил детей и тяжело расплачивался за ошибку, совершенную в молодости. Временами он сомневался, сможет ли выполнить то, что взял на себя. Но жажда свободы пересилила все.

Джэк перебрался в хорошенькую квартирку из пяти комнат в Оклэнде и поселил там мать и Джонни. Жена и дети поселились неподалеку.

О том, как тяжело дался Джэку разрыв с женой, видно из следующего письма:

«Дорогой Клаудеслей! Отложил работу по договору и работаю для наличных, чтобы уплатить часть долгов. Не знаю, как управлюсь с работой в целый год. Мне смешно вспомнить, каким я был лицемером, когда писал вам из бунгало, торопя вас с отложенными поздравлениями по поводу женитьбы... Может-быть, мужчина и может иногда жениться, как философ, но это дьявольски тяжело для женщины».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Русско-Японская война. Весна 1904 г.

В январе 1904 года возникли первые разговоры о возможности войны между Россией и Японией. Джэк Лондон, заканчивавший морской роман и, как всегда, нуждавшийся в деньгах, принял предложение «Экзаминера» отправиться корреспондентом в Японию. Он спешно закончил книгу, устроил свои денежные дела, так, чтобы жена и дети получали твердое месячное содержание, и 7 января отплыл в Иокогаму на пароходе «Сибериа» в обществе нескольких американских и английских корреспондентов.

Отправляясь в Японию, он взял с собой маленький кодак, которому и принадлежала честь первому снабдить американскую публику военными снимками. Этот аппарат причинил Джэку много хлопот.

Вот его письма ко мне:

«Сибериа». 13 января 1904 года.

«...Несколько слаб и подавлен, но креплюсь. Явился сюда с великолепнейшим гриппом. Конечно, в постель не ложился, а просидел в пароходном кресле, при чем первый день—в полубессознательном состоянии. Ах, как ноют мои кости еще и теперь! И какие ужасные сны!

«Сибериа». 15 января 1904 года.

«Итак, мы отплыли вчера из Гонолулу... [1]) Все еще мучаюсь гриппом, но поправляюсь. Во время прилива плавал в Уайкики. Был в концерте в «Гавайском Отеле» и вообще развлекался.

Нашел себе забаву: играл в карты с китайцами—кочегарами «Сиберии», в двадцать пять минут три раза сорвал банк и выиграл 14 долларов 85 центов. Видите, я нашел себе новую карьеру!

Военные корреспонденты—«ястребы»—приятный народ. Мы все собираемся вокруг капитанского стола, потому что список пассажиров сильно уменьшился, целая куча народа сошла в Гонолулу. Да, до Гонолулу с нами плыли три пары молодоженов, которые сидели на верхнем конце стола. Это смешное письмо. Корреспонденты критикуют меня и только-что высмеяли меня окончательно».

«Сибериа». 20 января 1904 года.

«Давно не писал вам. Вы, наверно, удивляетесь, почему. Так знайте же—я счастливейший из всех несчастных людей. В тот день, как мы вышли в Гонолулу, вечером я повредил левую лодыжку. Я про-

---

[1]) Главный город и порт на Гавайских островах, в Тихом океане.

лежал на спине шестьдесят пять приятных часов. Вчера выехал на палубу на спине одного английского корреспондента. Сегодня меня опять вынесли на палубу. Поврежденная лодыжка—это несчастье; счастье же... это—куча друзей, которых я, повидимому, приобрел. С шести утра и до одиннадцати ночи в моей каюте непрерывно находилось не менее одного посетителя. Большею частью же были три, четыре и иногда вдвое больше. Когда произошло несчастье, я подумал, что теперь-то у меня будет достаточно времени для чтения, но меня не оставляли одного, и я не мог прочесть ни строчки.

С интересом ожидаю шестого дня, когда—если только хирург не изменит своего мнения—я смогу поставить ногу на палубу и попытаться ходить на костылях.

Вы, конечно, захотите знать, в чем состоит повреждение. Я прыгал с вышины трех с половиной футов. И так как я прыгнул с правой ноги, то наступил на левую. Но левая нога не попала на палубу. Она попала на круглый брусок и пошла вдоль бруска. Брусок диаметром в ручку от щетки. Конечно, нога последовала за ступней. Лодыжка вывихнута с одной стороны и вытянута с другой. То-есть связки с внутренней стороны натянулись и порвались, кости с внешней стороны были сдавлены и ущемили нервы—в результате невыносимая комбинация.

Теперь у меня две больных лодыжки. Боюсь, что я начинаю стареть. Оба колена были разбиты раньше, а теперь и обе лодыжки. Конечно, могло быть хуже. Меня огорчает сейчас то, что я не знаю, насколько плохо обстоит дело с этой лодыжкой. Лечение состоит в абсолютном покое и несменяемой повязке, так что и сам хирург ничего не будет знать, пока я не попытаюсь встать...

Не огорчайтесь, что я выдал огорчение в этом письме. Во всяком случае я смогу еще раз написать вам позднее, до приезда в Йокогаму, и дам вам знать. Надеюсь, что известия будут хорошие».

«Сибериа». 21 января 1904 года.

«Если бы вы меня сегодня видели! Ковыляю на костылях, как калека. Пока еще не могу стоять на больной ноге, но надеюсь, что к приезду в Йокогаму [1]) смогу ходить. Сегодня четверг, а мы рассчитываем приехать в понедельник утром. Надеюсь, что войну не объявят раньше, чем через месяц по приезде моем в Японию, чтобы моя лодыжка имела возможность окрепнуть.

Все очень добры ко мне, и я бы сказал, что почти утомлен,—так за мной ухаживают...»

---

[1]) Йокогама — порт на берегу бухты Токио на острове Нипон, в Японии.

Четверг, 28 января 1904 года.

«Сможете ли вы прочесть это? Поезд качает, а температура в вагоне 40. Я сейчас в экспрессе, идущем в Кобе [1]), где 31 января—если не раньше—рассчитываю попасть на пароход, отправляющийся в Корею. Я еду в столицу Сеул. Был очень занят в Йокогаме и Токио».

29 января 1904 года.

«Посмотрели бы вы, как я сегодня выбирался из Кобе со своим багажом на трех рикшах, с подталкивающими и подпихивающими мальчишками и всем остальным, и как я гнал, чтобы попасть на экспресс, идущий в Нагасаки. Из Кобе не будет парохода до 3 февраля, и я отправлюсь попытать счастье в Нагасаки. Двадцать два часа езды, и нет спальных вагонов. Погода здесь теплее. В Йокогаме было страшно холодно.

Если я не пишу о войне, то знайте, что существует цензура: и телеграммы, и тому подобное задерживаются...»

Шимоносеки. 3 февраля 1904 года.

«Все еще пытаюсь отплыть в Шемулпо [2]). Совершил обратное однодневное путешествие из Нагасаки в Моджи, чтобы застать пароход 1 февраля (понедельник), купил билет, вышел на улицу и сфотографировал три уличных сценки. Но Моджи на военном положении. Японская полиция—«очень жаль», но все же она арестовала меня. Конечно, я упустил пароход. «Очень жаль», но они отвезли меня в понедельник ночью в город Кокуру. Снова допрашивали. Держали под арестом. Во вторник судили. Оправдали. Конфисковали найденные пять иен и фотографический аппарат. Телеграфировал американскому послу в Токио. Теперь он старается вернуть аппарат.

Вчера вечером принимал депутацию от японских газетных корреспондентов этой области. Предлагали свои услуги. И опять «очень жаль». Они—мои собратья по ремеслу. Сегодня они будут ходатайствовать перед судьями (трое судей в черных колпаках) о том, чтобы сняли запрет с аппарата. Тогда они поднесут мне его со своими поздравлениями. Правда, они сами сказали, что это «маловероятно».

Надеюсь отправиться в Шемулпо 6-го или 7-го».

В джонке. На корейском побережье. 9 февраля 1904 года.

«Самое невероятное и замечательное предприятие. Если бы вы видели меня сейчас: я капитан джонки, с экипажем, состоящим из трех корейцев, которые не говорят ни по-английски, ни по-японски,

---

[1]) Кобе — город, лежащий на южном берегу о. Нипон. Нагасаки — портовый город в западной части о. Киу-Шиу.

[2]) Шемулпо (Чемульпо). — порт на западном берегу Кореи, в Желтом море.

и пять японцев (отставших пассажиров), которые не говорят ни по-английски, ни по-корейски. Только один знает дюжины две английских слов. И с этими-то полиглотами мне придется проплыть много сотен миль вдоль Корейского побережья. до Шемулпо.

Как это произошло? Я должен был отплыть в Шемулпо в понедельник, 8 февраля, на «Киего Мару». В субботу, 6-го вернувшись вечером из Кокуры (где мне вернули аппарат) в Шимоносеки, я узнал, что «Киего Мару» задержан японским правительством. Узнал также, что многие японские военные суда прошли через пролив, что солдаты были вызваны среди ночи и направлены по полкам.

...Я попал на маленький пароходик, отправлявшийся в Фузан. Пришлось ехать в третьем классе. Это туземный пароход, и пищи для белых людей нет даже в буфете первого класса. А спать пришлось на палубе. Пробираясь на пароход на баркасе, выронил за борт один из чемоданов, но спас его. Промок сам и промочил свой багаж, переезжая Японское море. В Фузане пересел на маленький стодвадцатитонный пароход, полный корейцев и японцев, с палубой, нагруженной до самого неба, отправлявшийся в Шемулпо. Но сегодня утром и пассажиры и груз были удалены на берег, так как пароход понадобился японскому правительству. Прошлую ночь мы плыли в сопровождении двух торпедных лодок.

Утром, когда нас выкинули, я нанял эту джонку, взял с собой пять пассажиров-японцев и очутился здесь, на пути в Шемулпо. Это самая трудная работа, за которую я когда-либо брался. Уже несколько дней не имею никаких новостей, не знаю, объявлена ли война, и не узнаю об этом, пока не попаду в Шемулпо, или, может быть, в Кун-Сан, где оставлю своих пассажиров. Господи, как бы я хотел досыта наговориться с белым человеком! Не очень-то приятно работать, имея в распоряжении двадцать четыре слова и жесты».

Четверг, 11 февраля 1904 года.

«Я на другой джонке. Еще более необычайно. Вчера добрались до подветренного берега. Ветер ревет над Желтым морем. День и ночь плыли в Кун-Сан. Если бы вы видели, как мы лавировали: один человек у румпеля, по одному у каждого паруса, четыре перепуганных японца, и пятый, настолько больной морской болезнью, что не в силах даже бояться. К счастью, мы справились, иначе вы не прочли бы этих строк...

«Добрались до Кун-Сана к ночи, после того, как потеряли мачту и сломали руль. Прибыли под проливным дождем, режущим, как нож. А затем поглядели бы вы, как комфортабельно я устроился на ночь, при чем пять японских девушек помогали мне раздеться, выкупаться и лечь в постель. Я в это время принимал посетителей (моих посети-

телей)»—и мужчин, и женщин. А девушки делали замечания по поводу моей белой кожи и т. п. Сегодня утром—то же самое. Майор Кун-Сан, начальник полиции, и важные граждане посещали меня в спальне, в то время как я брился, умывался, одевался и ел.

И все самые важные граждане города пришли взглянуть на меня и приветствовать меня и без конца кричали «Сайонара».

Новая джонка, управляемая пятью японцами, из которых ни один не знает ни одного английского слова, плывет по воле ветра вдоль корейского побережья. Уже много времени ничего не знаю о белых. Слышал, как туземцы говорили о морских сражениях, о проходе войск, но ничего такого, что можно бы принять без сомнений. Когда я попаду в Шемулпо, я буду знать, чего мне держаться.

Может быть, вы думаете, что в этой джонке не холодно? Земля покрыта снегом, и местами снег спускается к воде. И нет печей, чтобы согреться, только грелки для древесного угля, и в них несколько маленьких угольков. И посмеяться-то не над чем! Рядом со мной стоит такая грелка, я купил ее за $12^1/_2$ центов у корейца в деревне, где мы останавливались».

Суббота, 13 февраля 1904 года.

«Еще более невероятно, но нельзя сказать, чтобы замечательно, если не считать замечательными ландшафты и морские виды, которые виднеются сквозь падающий снег... Я никогда не думал, что сампан (закрытая ветхая лодка) может проделать то, что мы проделали. Буря и снег—можете себе представить, до чего холодно! Но я рад, что со мной матросы-японцы. Они смелее, хладнокровнее и отважнее корейцев... Я почти ослеп от головной боли, которая началась у меня еще в Кун-Сане и все усиливается; так что я не особенно обращаю внимание на окружающее. Все же я понимаю, что когда мы дрейфовали, я снял пальто и расшнуровал башмаки. Ни на минуту не сомневался, что придется спасать аппарат.

Мы проделали это наполовину в воде, но проделали! Может быть, ветер выл и не всю ночь. Так холодно, что замерзла даже соленая вода.

Все бы это ничего, если бы не лодыжка. Обычно я берег правую ногу и опирался на левую, но теперь, когда левая изувечена еще хуже, чем правая,—представляете себе, как мне приходится быть осторожным там, где невозможно быть осторожным—в такой ветхой лодчонке и при такой суровой погоде. Но пока я избежал опасных вывихов.

Джонки совсем старые—лохмотья, рвань, гниль. Как они плавают на них? Это просто чудо».

Понедельник, 15 февраля.

«Мы ждали в течение четырех часов. Через четыре часа пришел ветер с севера. Всю ночь было ужасное волнение. Я чуть не сошел с ума от головной боли.

В четыре часа утра под падающим снегом переменили якорную стоянку. Рассвет был суровый. В 8 утра поставили паруса и отправились искать убежища. Мои матросы привыкли к суровой жизни, но мы пристали возле рыбацкой деревушки, где жизнь еще более сурова. Здесь мы провели воскресенье, при чем ночью мои пять матросов, я и около двадцати мужчин, женщин и детей спали все в одной комнате, в лачуге, где пол был величиной с двухспальную кровать.

Мое заграничное питание пришло к концу, и я вынужден был приняться за туземную еду. Надеюсь, мой желудок простит мне, что я понадеялся на него. Мерзость и грязь неописуемые, и самое ужасное то, что я при каждом глотке не могу не думать об этой грязи и мерзости. В некоторых деревнях здесь я первый белый человек,— редкостное явление. В полночь я показал одному старику свои фальшивые зубы. Он разбудил весь дом. Должно быть, я испортил ему сон, потому что в три часа утра он подполз ко мне, разбудил меня и попросил показать еще разок.

Сегодня утром пустились в путь—в Шемулпо. Надеюсь, что не упаду мертвым по прибытии. Земля вся покрыта снегом. Какой суровый, дикий берег!»

В Шемулпо Джэк встретил двух корреспондентов, которые опередили его. Один из них, встречавший Джэка и раньше, теперь не узнал его—до того он изменился. Он был обветренный, больной, осунувшийся, скрюченный. В Шемулпо Джэк впервые узнал, что война объявлена пять дней назад.

21 февраля, Сеул. «Гранд Отель».

«Через пять минут отбываю на север. Чуть не сошел с ума от хлопот со снаряжением и выходом в путь:

3 вьючных пони, 2 верховых лошади, 1 переводчик (японец), 1 повар (кореец) и 2 мапуа (корейские грумы)».

Джэк был последним корреспондентом, попавшим в Сеул, но первым на фронте. Так как в Сеуле, повидимому, относительно него не было никаких распоряжений, Джэк, не теряя ни минуты, направился на север. Но когда он добрался до Сунана, то-есть почти к месту военных действий, его отправили обратно в Сеул.

Пинг-Йанг. 4 марта 1904 года.

«Сделал сто восемьдесят миль верхом. Теперь смогу ездить с вами, когда вернусь, потому что мне еще предстоят целые месяцы верхо-

вой езды. У меня одна из лучших лошадей в Корее,—принадлежала русскому послу в Сеуле до его отъезда».

Пораль-Колли. 8 марта 1904 года.

«Как образчик моих дней, привожу сегодняшний. Генерал Сасаки запретил мне выезжать из Пинг-Йанга. Убеждал его через переводчика. Досада на промедление сводит меня с ума. Я должен был уехать в 7 утра. Только начал нагружать вьючных лошадей, как был вызван к японскому консулу. Опять переводчик, смятение, потом удачный маневр,—и к концу дня мне удалось выехать.

Приехал, в эту затерянную деревню. Население перепугано до смерти. Здесь уже побывали и русские и японские солдаты. Мы только добавили последний штрих. Они клялись, что у них нет для нас ни помещения, ни топлива, ни угля, ни корма для лошадей, ни конюшен; мы штурмовали деревню, силой заняли конюшню и нашли ячмень, спрятанный в штанах».

9 марта 1904 года.

«И вот мы здесь. Нас остановили и задержали. А телеграф между нами, Пинг-Йангом и Сеулом работает во всю. Я говорю задержаны, задержаны японскими солдатами, которые не желают пропускать нас на север, в Анджу...

В то время, как я пишу, тысячи солдат проходят через деревню мимо моих дверей. Мои люди усердно тащат у армии пропитание для себя и для лошадей. Пони, саперы, вьючные лошади Красного Креста, нагруженные припасами и продовольствием, проходят мимо. Капитаны заходят, оставляют карточку, пожимают руку, потом уходят...

Чрезвычайно важно!!! Новая неприятность!!!

Только что поймал пять вшей на сорочке. То-есть я заметил их, Маниунги (кореец—повар и переводчик) поймал их в то время, как переводил мне приглашение одного корейского дворянина, предлагавшего мне перейти на лучшую квартиру. Вши чуть не свели меня с ума. Я все время чешусь...

Перерыв. Лошади, помещающиеся в десяти футах от меня, подняли страшный переполох. Лягают, кусают, топчут мою Беллу и трех других лошадей. А между тем сейчас сломанные ноги вовсе не кстати. Я думаю застраховать свою жизнь.

А войска все проходят, лошади дерутся, конюхи, переводчик и повар перебраниваются в четырех футах от меня. Холодно. Пора закрывать двери и зажигать свечи.

Только что прошла семья корейских беженцев. Несут весь свой скарб на собственных спинах...

«Японское консульство мистеру Джэку Лондону.

Сэр! Имею честь известить вас, что вы должны оставаться здесь, пока войска генерал-майора Сасаки не пройдут на север.

Подписано: С. Чинджо. Японский консул».

Это один из многочисленных, полученных мною, приказов. Он был написан вчера в Пинг-Йанге, а сейчас я уже нахожусь дальше на севере, впереди генерала Сасаки. Если бы я послушался первого приказа, я сидел бы сейчас в Токио, где сидят пятьдесят других корреспондентов. Конечно, я готов к тому, что меня могут каждое мгновение задержать и отправить назад в Пинг-Йанг. Но это входит в игру. Я — единственный корреспондент, ушедший так далеко.... В Пинг-Йанге есть еще два корреспондента—и, кроме нас, в Корее корреспондентов нет».

Сеул. 29 марта 1904 года.

«Я снова в Сеуле. Ни один корреспондент не допускается на фронт. Всех задерживают японцы. В этом смысле с нами обращаются ужасно... Я решил, что пробуду в отсутствии не больше года. Как только пройдет десять месяцев со дня моего отъезда из Сан-Франциско, я буду телеграфировать Херсту, чтобы он прислал кого-нибудь другого на мое место на фронт, если только я попаду на фронт к тому времени... Военной корреспонденции вообще не существует, японцы не позволяют нам увидеть войну».

Сеул. 5 апреля.

«Я учусь, я учусь! У меня никогда не было времени научиться играть на биллиарде: теперь я учусь. У меня никогда не было времени на танцы, но если эта война продолжится, я научусь и танцовать. Здесь не танцуют только миссионеры и кресанги (корейские танцовщицы), потому что мать императора умерла, и двор в трауре. Завтра вечером я буду читать «Зов Предков» перед иностранными жителями; буду читать в вечернем костюме. Это обычай страны, и мне пришлось подчиниться. В Японии необходимо иметь сюртук и цилиндр... Если Япония победит, японцы так заважничают, что белым нельзя будет жить в Японии...».

Штаб 1-й японской армии. Фенг-Ванг-Ченг. Манчжурия, 22 мая.

«Мое сердце не склонно к писанию эти дни. Оно может только рыдать, потому что мне омерзело все мое пребывание здесь. Война? Вздор. Давайте лучше я опишу вам мою ежедневную жизнь.

Я живу среди великолепных сосен на великолепном склоне холма. Рядом храм. Чудесная летняя погода. Рано утром я просыпаюсь под пение птиц. Кричат кукушки. В 6. 30 я бреюсь. Маниунги, мой ко-

рейский слуга, готовит завтрак и поджидает меня. Сакаи, мой переводчик, чистит мне сапоги и ждет инструкций. Йеп-Хи-Ки, китаец, тоже что-нибудь делает. Сеидский мапу помогает готовить завтрак и убирать. Мой Пинг-Йангский мапу кормит лошадей. В 7 я завтракаю. Затем пытаюсь выжать что-нибудь для «Экзаминера». Иногда выхожу, делаю снимки, которые не могу послать, так как цензор не пропускает непроявленных снимков, а у меня нет ничего необходимого для проявления. Я свободен и могу ехать верхом в штаб в Фенг-Ванг-Ченге,—меньше чем в миле отсюда. Затем я могу ездить вокруг города по радиусу немногим больше мили. Никогда, ни на одной войне с корреспондентами не обращались так, как сейчас. Это смешно, абсурдно, это ребячество, комедия. Днем мы (корреспонденты) отправляемся плавать в прекрасном озере—прозрачная вода глубиной выше головы. Вечером у костра проклинаем бога, судьбу и разные народы, и разные вещи, о которых не буду упоминать ради цензора. И день окончен.

Омерзение, полное омерзение!»

Пребывание Джэка Лондона в Японии закончилось эпизодом, который, как бы ни был незначителен сам по себе, чуть было не привел к печальным результатам. Его японский слуга поссорился с каким-то японским мапу, воровавшим у них продукты. Джэк вмешался и, выведенный из себя, ударил вора. «Боже мой, боже мой,—рассказывал Джэк,—я даже не ударил его, я только остановил его кулаком. Он сразу наткнулся на мой кулак и с воем упал на землю. И потом две недели хныкал и расхаживал в бинтах». Дело приняло плохой оборот. Джэка вызвали к начальнику штаба, генералу Фуджи, и, если бы остальные шесть корреспондентов не вступились, твердо решив или спасти Джэка или разделить его участь,—неизвестно, чем бы все это окончилось. Но Джэка удалось отстоять, и он благополучно отплыл домой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Возвращение. Развод

30 июня Джэк, возвращавшийся из Йокогамы на пароходе «Корея», получил бумаги, уведомлявшие его о том, что против него возбуждено дело о раздельном сожительстве и о взыскании средств на существование, и что истец наложил запрещение на его личное имущество и на его книги. Запрещение распространялось также на деньги, которые ему причитались от издательств, и на гонорар от «Экзаминера» за военные статьи. Но это было еще не самое худшее. В жалобе указывалось, как на основание развода, на его дорогого и преданного друга

Анну Струнскую, и, конечно, как это всегда бывает в таких случаях, дело получило нежелательную огласку. Лицемерная капиталистическая пресса подняла крик и вой, как будто Джэк Лондон был первым, ошибшимся в браке.

В конце-концов первоначальная жалоба—длиннейшая, с самыми нелепыми обвинениями—была взята обратно, и в суде разбиралось только дело о полном разводе, а не о раздельном сожительстве. Соглашение по материальным вопросам было достигнуто без суда.

По окончании дела Джэк засел за работу. Он сократил свой и без того краткий сон и работал ночи напролет, время от времени ударяя себя кулаком по голове, чтобы не заснуть. Ведь надо было подумать о доме для девочек. А тут еще умер муж мамми Дженни, и ему, помимо всего прочего, пришлось устраивать ее денежные дела.

Душевное состояние Джэка было ужасно. Он впал в глубокое отчаяние. Его любовь к детям и тоска были так велики, что он,—хотя и с ужасом,—начал думать о том, чтобы вернуться, восстановить семью...

Весной появилась девятая книга Джэка Лондона—новый сборник клондайских рассказов «Вера в человека», а осенью вышел роман «Морской волк».

Критики шумно приветствовали «Морского Волка», но почему-то большинство из них нашло, что это «мужская книга, книга, которую женщины не станут читать». Однако, большой дамский журнал приобрел несколько тысяч экземпляров «Морского Волка», как премию для подписчиц.

В этом же году была написана статья «Желтая опасность» (вошедшая в сборник «Революция») и небольшая повесть «Игра».

«Тку свою «Игру» понемногу,—писал мне Джэк,—вы не подумали бы, как это трудно, если бы прочли ее. Я смотрю на нее, как на неудачу, но какое это прекрасное упражнение для меня! Я все больше начинаю узнавать свои силы. Когда-нибудь я смогу управлять своими инструментами».

Джэк любил эту повесть, потому что вообще любил честную борьбу между мужчинами. Он любовно, строчка за строчкой, создавал образ Женевьевы.

«Вы ни за что не угадаете, где я нашел оригинал для нее. Это продавщица в маленькой кондитерской в Лондоне. Никогда я не видел такой кожи—словно обрызганной светом, как розы Дюшес у вас на окне. Я обычно выпивал целые галлоны сладких напитков, чтобы иметь предлог сидеть в мрачном углу и робко смотреть ей в лицо, как глупый мальчишка. Мне никогда не хотелось дотронуться до нее. И в ее желтой головке не было ничего, о чем можно было бы погово-

рить. Это было просто увлечение красотой и хрупкостью английского цветка».

«Игра» была напечатана в нескольких номерах журнала «Метрополитэн Магазин». Джэк оказался прав: это, действительно, была неудача, поскольку дело шло об американской публике. Читатели прислушивались к мнению критиков, а критики не поняли повести, упустили из виду основной ее мотив, ничего не зная и не желая знать о самой «Игре». Как иллюстрацию, приведу письмо Джэка, написанное 18 августа 1905 года издателю «Нью-Йоркского Таймса»:

«Так как я заинтересован в жизненной игре и в умственных процессах моих собратьев-людей, я был несколько поражен одной особенностью в отзывах о моей боксерской повести «Игра». Эта особенность заключается в нападках на реалистическую сторону повести, в заподозревании тех жизненных фактов, которые выведены в этой повести. Тяжело приходится бедняге писателю, описавшему то, что он видел собственными глазами или пережил на собственном опыте, когда его обвиняют в том, что все виденное и пережитое—нереально и невозможно.

Правда, в конце концов для меня это не ново. Я помню, как какой-то критик с Атлантического побережья, повидимому, хорошо знакомый с морем, написал рецензию о моем романе «Морской Волк». Этот критик высмеивал меня за то, что я послал одно из действующих лиц наверх поднять гафель-стеньги. Критик заявил, что никто не поднимается для того, чтобы поднять гафеля, и что он-то знает о чем говорит, потому что много раз видел, как их поднимали с палубы. А я совершил семимесячное плаванье и сам сотни раз поднимался и собственными руками натягивал шкоты и галсы у гафель-стеньги.

Но вернемся к «Игре». В рецензии, помещенной в «Нью-Йорк Сатэрдей Таймсе», так же критиковали мой реализм. Между тем я сомневаюсь, чтобы у критика был такой опыт в этих делах, как у меня. Я сомневаюсь в том, что он знает, что значит нокаутировать когонибудь или самому быть нокаутированным. Я приобрел этот опыт, и на основании этого опыта, а также на основании глубокого знания бокса вообще написал «Игру».

Цитирую критика из «Сатэрдей Таймса»:

«Еще больше приходится сомневаться в том, что удар, нанесенный Понтом в подбородок Флемингу, мог отбросить последнего на обтянутый брезентом пол ринга с такой силой, чтобы размозжить ему череп, как это описывает мистер Лондон».

Все, что я могу ответить, это то, что в клубе, описанном в моей повести, один молодой боксер действительно разбил себе голову

именно этим способом. Этот молодой боксер работал в парусной мастерской и содержал братьев и сестер.

В заключение еще только одно слово. Я только что получил письмо от Джимми Бритта—чемпиона легкого веса. Он пишет, что особенно восхищается «Игрой» вследствие ее жизненной правдивости.

Искренно преданный Дж. Лондон».

Не успели просохнуть чернила на рукописи «Игры», как Джэк уже принялся за материалы для следующего задуманного им романа—«Белый клык».

В то время я вернулась из путешествия на Восток и вместе с тетей жила в Вэк Робин Лодже. Я предложила Джэку свои услуги по переписке его произведений. Он с радостью согласился. Таким образом я еще ближе познакомилась с его работой и замыслами. Он был, как всегда, страшно занят. Вечно спешил.

Теперь ко всем его прежним занятиям прибавилось еще публичное чтение. Он выступал в различных клубах и союзах, читал отрывки из своих произведений.

Среди писем, относящихся к этой эпохе, я нашла маленькую записку, в которой Джэк излагает свою социалистическую позицию:

«Я социалист прежде всего потому, что рожден пролетарием и очень быстро открыл, что социализм—единственный выход для пролетариата. Во-вторых, перестав быть пролетарием и превратившись в паразита (художника-паразита, если вы ничего не имеете против такого выражения), я открыл, что социализм—единственный выход для искусства и для художника».

В январе 1905 года Джэк получил приглашение от президента Калифорнийского университета прочесть лекцию студентам Гармоновской гимназии. Выбор темы предоставлялся Джэку. Надо думать, что если бы президент мог угадать, какую тему изберет Джэк, и как он будет читать, и какой шум это вызовет в газетах,—он ни за что не пригласил бы Джэка Лондона.

Джэк начал свою лекцию следующими словами:

«Недавно я получил письмо. Оно было от одного человека из Аризоны. Оно начиналось словами: «Дорогой товарищ» и кончалось: «Ваш во имя революции». Я ответил на это письмо, и мое письмо тоже начиналось словами: «Дорогой товарищ» и кончалось словами: «Во имя революции».

Дальше шло самое пламенное обвинение существующего строя. Лекция заканчивалась словами: «Революция пришла. Останови ее, кто может!».

Эти слова были встречены взрывом аплодисментов. Но лекция заслужила ему славу отчаянного анархиста. Буржуазные газеты обру-

шились на Джэка и на президента, пригласившего в университет такого яростного социалиста. На это президент ответил следующим образом:

«Нам нужен человек, а не тема. Я считаю, что для студентов крайне ценно видеть и слышать людей, доблестно работающих в самых разных областях. Я представляю их студентам, но никогда не назначаю темы. Джэк Лондон—бывший студент университета, человек, стяжавший заслуженную славу на литературном поприще. Разве лучше было бы вывесить список тем, являющихся «табу»? Есть только один способ обращения с кипящим чайником. Это—поднять крышку».

Против Джэка поднялась настоящая травля: его называли опасным социалистом, третьесортным писателем для «воскресных приложений», описывающим подонки общества, человеком, не признающим святости домашнего очага, анархистом, выступающим в ярко-красных фланелевых рубашках. Замечу кстати, что Джэк неизменно при всех своих выступлениях был одет в черный пиджак и мягкую белую рубашку с мягким же свободным галстуком. Но почему-то насчет его костюма всегда циркулировали самые нелепые слухи, и даже социалисты Лос-Анжелоса, где Джэк читал лекцию на тему «Революция», помещая его фотографию, сочли нужным пририсовать к ней крахмальную сорочку и воротник.

Во время чтения в университете произошел забавный инцидент. Джэк в своей пламенной обвинительной речи нападал на устарелые методы преподавания. Когда он кончил, к нему подошел один из профессоров и поздравил Джэка с его литературным успехом. Между ними завязался разговор, во время которого Джэк снова высказал свое мнение о недостатках в существующих методах преподавания:

— Разрешите мне заметить, что английский язык преподается не так, как следовало бы. Вы даете студентам таких устарелых авторов, как Макколей, Эмерсон и другие той же школы. Вам необходимо ввести в свой курс побольше литературы современного типа.

Профессор перебил его, улыбаясь:

— Повидимому, вы не знаете, мистер Лондон, что в нашем университете в качестве руководства по английскому языку принята ваша книга «Зов Предков»?

После ряда выступлений Джэк отправился со своим другом Джонсом Клаудеслеем на яхте «Спрей» в плаванье вверх по реке Сакраменто [1]). В пути он узнал, что я заболела, оставил яхту на попечение Клаудеслея и Манпунги (слуги-корейца, которого Джэк привез из Манчжурии и всюду возил с собой) и отправился пешком на

---

[1]) Самая большая река штата Калифорнии. Впадает в залив С.-Франциско.

ближайшую железнодорожную станцию. Он приехал к нам в Вэк Робин Лодж ночью и провел у моей постели два дня, развлекая меня, ухаживая за мной, как самая опытная сиделка. У меня был нарыв в ухе, вызванный, повидимому, купаниями в Оклэнде в холодную погоду и особенно прыжком с двадцатифутовой вышины, которому меня научил Джэк. Когда мне стало немного лучше, он вернулся на яхту.

11 февраля я получила от него письмо из Рио-Весты.

«Мы здесь уже два дня, но я еще не был на берегу, хотя город и интересуется моим существованием. Получил три приглашения на обед и т. п. Через пять минут ожидается прибытие баркаса с поклонниками. Кроме того, Броун вернулся с букетиком фиалок за ошейником, посланных, по утверждению Клаудеслея, самой красивой девушкой Калифорнии.

Думаю, что приму приглашение на обед вечером».

Броун был аляcский волкодав, коричневый, с белыми пятнами, мохнатой шерстью и острыми ушами. Он был необычайно привязан к Джэку. Помню, однажды я заметила Джэку: «Как вы думаете, что сделал бы Броун, если бы неожиданно появился его прежний хозяин?»—«Постойте... одну минуту!»—закричал вдруг Джэк, кидаясь, как безумный, к своей записной книжке.

Рассказ о собаке Броуне и о встрече с прежним хозяином вошел в сборник «Любовь к жизни».

В середине февраля Джэк снова приехал в Вэк Робин Лодж. Но на этот раз он был какой-то усталый, раздраженный. В нем чувствовалось болезненное нервное напряжение. Он много говорил, суетился, как бы боясь молчания. Он ни на минуту не мог остаться в покое.

— Джэк, дорогой мой, отчего бы вам не уехать на время из города? Захватите с собой работу, возьмите Маниунги, чтобы смотреть за вами, снимите маленький коттеджик и работайте вдали от людей и волнений,—сказала ему моя тетя.

Джэк взглянул на нее, и углы его губ дрогнули, как у ребенка, готового заплакать.

— Спасибо... вы очень добры... Но... но я боюсь, что покой-то и сведет меня с ума...

Он пробыл у нас дней пять, и каждый день мы совершали с ним длинные прогулки. Но Джэк, казалось, не замечал окружавшего нас великолепия, он, который так любил природу! Как-то вечером, на закате мы остановились на зеленом, залитом солнцем холме. Я указала ему на долину, тянувшуюся к востоку, покрытую багряной тенью, падавшей от горы, на которой мы стояли. Я спросила его, неужели

ему больше ничего не говорит прелесть окружающего нас мира. Он помолчал немного, потом мрачно ответил:

— Мне кажется,—больше ничего не говорит... Я болен, моя дорогая. Боюсь, что у меня «Долгая Болезнь» Ницше. Все это не то, что мне нужно. Я сам не знаю, что мне нужно. О, как мне грустно, грустно, грустно! Мне больно, что я огорчаю вас. Я не знаю, чем все это кончится.

В последний вечер, перед отъездом, я повторила ему предложение тети, я повторила ему о прелести весны и лета здесь, под красными деревьями, говорила о том, что можно было бы предпринять... Но он умоляюще повторял:

— Нет... нет... я не могу... Я не могу вынести покоя... я вам говорю... Я не могу. Это свело бы меня с ума.

— Хорошо,—ответила я как могла спокойно.—Вы должны поступать так, как вам кажется лучше. Не будем больше говорить об этом.

Он остановился, взглянул на меня и, схватив меня за руку, сказал тем изменившимся голосом, звук которого так много для меня значил:

— Вы... вы единственная женщина из миллиона...

В эту ночь он проспал восемь часов под ряд,—для него это было невероятно много. Последнее время он работал целыми ночами, уделяя сну не более трех-четырех часов.

На утро я предложила проводить его по другой дороге, через Пуннский кантон—восточный выход Сономской долины. Джэк выглядел гораздо бодрее. Сон помог ему. Он казался веселым. Мне было очень тяжело. Я чувствовала, что Джэк ускользает от самого себя, что его тело и мозг не смогут долго выносить такого напряжения.

Но, казалось, в этот день на него действовало какое-то таинственное очарование—может-быть, очарование сияющего калифорнийского утра, насыщенного запахом диких цветов и пением птиц, очарование яркого солнца и безоблачного синего неба. Я не верила своим ушам. Джэк, как будто продолжая прерванный разговор, начал обсуждать вопрос о коттедже, о переезде, об обстановке, он говорил о том, что мы будем читать вместе, спрашивал, не могу ли я купить ему верховую лошадь на триста пятьдесят долларов, полученные за рассказ от «Черного Кота», и т. д. Я была поражена, но ни словом, ни жестом не обнаружила своего удивления. Чудо совершилось. Кризис миновал, и Джэк вернулся из долины мрака.

Мы спускались по склону холма. Вдруг Джэк остановился и положил руку на мое плечо. Это была величайшая минута моей жизни. Я взглянула в его глаза и увидела в них нечто большее, чем благодарность.

— Это вы сделали, друг-женщина! Вы вытащили меня. Вы успокоили меня. Вы были правы. Мне нужен именно покой. Со мной произошло что-то чудесное. Теперь все в порядке. Дорогой мой друг-женщина, теперь вам нечего больше за меня бояться.

Мое лицо ответило за меня, и я не произнесла ни слова. Мы торжественно обменялись рукопожатием и торжественно и радостно поцеловали друг друга на прощанье. В глазах Джэка было что-то такое, что наполнило мои глаза слезами. Но эти слезы были как радостный дождь, предвещавший новые дни—для него и для меня. И радостная боль защемила мое сердце.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Характер Джэка. „Омерзительный реализм". „Страна любимой отрады". План будущего

Внезапный и окончательный отъезд Джэка из города возбудил оживленные толки в газетах. Конечно, было примешано и мое имя. Но даже «Экзаминеру» не удалось добиться от нас подтверждения своих матримониальных предположений. Джэк только заявил им, что навсегда покидает город, и отныне и зиму и лето будет проводить в Глэн-Эллене. В утешение он обещал «Экзаминеру», что сообщит ему первому о переменах в своем семейном положении.

Эти шесть месяцев до свадьбы были месяцами безоблачного счастья. Мы вместе работали, вместе веселились и открывали друг в друге поразительную общность вкусов и интересов.

Помню, однажды обнаружилось, что некоторые друзья Джэка обвиняют меня в нечестности и лживости. Джэк, уверенный в моей правоте, все же приложил все усилия, чтобы выяснить дело, доказать мою невиновность и смутить врагов. И только после того, как ему удалось побить их бесспорными, точными доказательствами—тем, что он называл «своей проклятой арифметикой», он заявил им раз навсегда:

— Я люблю Чармиан. Люблю не за то, что она делала или могла бы делать, но за то, что я нашел в ней. За то, что она для меня значит. Я прекрасно знаю людей,—моя жизнь построена на понимании людей,—и я настолько хорошо знаю Чармиан, что не поверю никакой клевете. Но дело в том, что если бы даже Чармиан убила своих родителей, если бы она питалась исключительно жареными сиротками,—для меня было бы важно то, что она представляет собой сейчас, то, какой я ее знаю.

Этот инцидент сблизил нас еще больше.

«Если бы ты знала,—писал мне Джэк,—что для меня значит иметь кого-то, кто бьется со мной вместе плечом к плечу, кто сражается за мое дело и моим оружием...»

Джэк никогда не мог найти оправдания чувству ревности и всегда считал ревность скотским чувством. «Если бы ты предпочла другого мужчину, если бы я не мог сделать тебя счастливой, я подал бы тебе этого человека на серебряном подносе и сказал бы: «Благословляю вас, дети мои...» Но... но не думаю, чтобы я мог послать тебя к нему на серебряном подносе».

Здесь, пожалуй, будет уместно сказать несколько слов об отношении Джэка к женщинам вообще. Женщины любили Джэка Лондона, умирали из-за любви к нему. Для него же любовь была естественной, горячей страстью, делающей жизнь полнее, но не наполняющей ее. Он очаровывал женщин всех классов, но сам он не терял головы. Женщины не могли помешать ни его работе, ни его приключениям. Он восхищался ими, но не мог простить им их узости и неустойчивости. Он не переносил глупых женщин, пустой женской болтовни.

— Я ненавижу болтающих женщин,—сердился он,—они говорят обо всем сразу... Для меня это безумие и ужас... Когда ты сходишься с женщинами и принимаешь участие в их болтовне, я начинаю меньше любить тебя. Это ведь совершенно уничтожает способность слушать...

Я вспоминаю первое время нашей совместной жизни, когда я еще не привыкла к его особенностям. Мы проводили долгие жаркие дни в саду под деревьями, и в течение целых часов я писала под его диктовку. От жары и усталости мы оба начинали нервничать. Иногда я имела неосторожность вступать с ним в спор. Но он неизменно поражал меня своей неумолимой логикой, а я, чисто по-женски и сама себя за это презирая, начинала плакать. И вот тут-то Джэк, с его обычной откровенностью, предупредил меня:

— То, что я сейчас скажу, я скажу для твоего же блага, для нашего общего счастья. Я не думаю, чтобы ты была истеричкой. Ты думаешь, что я жесток. Может быть. Но в первые годы окружающее заставило меня почувствовать глубокое отвращение к истерике и ко всей низости потери контроля над собой, со всеми проистекающими из этого последствиями. Когда я вырос, я видел и слезы, и истерики, и ложные обмороки, все некрасивые штучки этого сорта, которые в моих глазах превращают женщину меньше, чем в ничто. Прошу тебя, если ты любишь меня, не будь истеричкой. Предупреждаю— я буду холоден, суров, может быть, даже буду смотреть с любопытством. Я понимаю, что ты, с своей точки зрения, будешь чувствовать себя оскорбленной. Но пойми, что это равнодушие не зависит

от меня. Оно стало моей второй натурой, моей основой. Я не могу не отстраняться от «дурных настроений», как от незабытых еще ударов... Однажды, когда мне было года три (и это запечатлено у меня в памяти, как каленым железом), когда я пришел с цветком в руке для подарка, я был оттолкнут, отброшен пинком злобной, освирепевшей женщины. Что же? Я был ошеломлен и поражен до глубины души, хотя и не понимал в чем дело. А ведь эта женщина, по моему твердому убеждению, была самой замечательной женщиной в мире, ведь она мне это сама внушила... Вот эта и подобные истерические сцены ожесточили меня. Я ничего не могу поделать.

Всегда, везде и повсюду Джэк проповедывал широту взглядов, боролся против мелочных, удобных и спокойных точек зрения. В такие минуты в его глазах сверкали искры, свежий молодой голос звучал, как боевой клич. А когда ему удавалось победить собеседника, побить его по всем пунктам, он говорил смущенно: «Не думайте, что я груб. Я всегда повышаю голос и говорю руками, ничего не могу поделать. Но разве вы не понимаете меня? Скажите, прав я или нет? Прошу вас, докажите, докажите мне, что я неправ!»

Отмечу мимоходом, что, несмотря на свою отчаянную жестикуляцию, Джэк никогда ничего не разбивал. Помню, однажды в пылу разговора он смахнул со стола лампу. Но тотчас же подхватил ее на лету. «Я ни разу ничего не разбил»,—говорил он. И правда, за всю нашу жизнь я не припомню ни одной разбитой им вещи.

Он продолжал писать тысячу слов в день. Он писал в маленькой мастерской своего коттеджа, состоящего из двух комнат, писал спокойно, без лихорадки, свойственной стольким писателям.

В эту эпоху Джек, впервые в жизни, погрузился в атмосферу беззаботности, веселья и дружбы. Он интересовался тысячью вещей: учился седлать лошадей, вешал гамаки, играл с Броуном, разводил на особых грядах грибы. В это лето вся молодежь, под руководством Джэка, училась плавать, нырять, прыгать в воду, отыскивать брошенные в воду предметы, оставаться под водой, грести, боксировать, и т. п., и т. п. Мы занимались всеми видами спорта, кроме ходьбы пешком и охоты. Джэк не выносил ходьбу и прибегал к ней только в случаях крайней необходимости. Что же касается охоты, то недаром он заслужил звание «Лучшего друга кроликов». Однажды он был приглашен на медвежью охоту. По возвращении на Ранчо он рассказал нам о своих похождениях.

— Эти люди не знают теперь, что со мной делать. Мне предложили то, за что всякий охотник отдал бы год жизни: возможность заполучить медведя. Но случилось так, что мы не встретили медведя. У просеки стоял олень с великолепнейшими рогами, какие только можно себе представить. Он стоял на маленьком горном хребте, и

его силуэт резко вырисовывался на фоне заката. Мне стали шептать, что момент настал. Они дрожали от страха, что я могу упустить такой прекрасный случай. А я даже не поднял ружья. Я не в силах был выстрелить в этого громадного, прекрасного дикого зверя, беззащитного перед моим длинным ружьем.

Однажды, когда Джэк читал нам вслух «Путешествие на «Спрей» Слокума, он отложил книгу в сторону и сказал:

— Если Слокум проделал все это в тридцатипятифутовой шхуне со старыми оловянными часами вместо хронометра, почему бы и нам не сделать того же на судне футов на десять длиннее, с лучшим оборудованием и в большей компании?

Вопрос вызвал усиленные обсуждения. Джэк обернулся ко мне:

— А ты, Чармиан, что скажешь на это? Лет так через пять, когда мы выстроим себе где-нибудь дом, мы сможем отправиться в кругосветное путешествие на сорокапятифутовой яхте. Мне понадобится много времени, чтобы построить ее, и, кроме того, нам ведь придется переделать кучу вещей.

— Я буду с тобой на всем пути,—ответила я,—но к чему ждать пять лет? Почему бы не начать строить яхту весной, а с домом не подождать? Какой смысл строить дом только для того, чтобы сейчас же уехать и оставить его? Я люблю суда. Ты любишь суда. Давай называть судно нашим домом, пока мы не решим остановиться на каком-нибудь определенном месте. Никогда уже не будем мы моложе и никогда не будем стремиться в путь смелее, чем сейчас. Ведь ты же сам постоянно напоминаешь мне, что мы каждую минуту нашей жизни умираем клетка за клеткой.

— Я побит собственным оружием,—заметил Джэк, довольный моей решимостью. Так впервые возникла мысль о путешествии на «Снарке».

В сентябре Джэк, по поручению «Экзаминера», отправился на состязание в боксе между Бриттом и Нельсоном. Это состязание привело ему на ум один образ, который впоследствии вошел в обиход, по примеру «Зова Предков», «Белого Безмолвия», «Игры»; это—«Первобытный Зверь».

— Под первобытным зверем,—объяснял Джэк,—я подразумеваю жизненную основу, более глубокую, чем мозг и интеллект. Разум покоится на ней. И когда разум уходит, она остается. Жизнь первобытного зверя—это то, что заставляет сердце выпотрошенной акулы биться в чьих-нибудь руках, то, что заставляет клюв уже убитой койвы сжаться и прикусить палец человека, это жизненная сила, заставляющая борца биться даже тогда, когда он перестает получать указания от рассудка.

Джэку так понравилось это выражение, что восемь лет спустя он озаглавил так свою повесть о боксере.

В эти месяцы кипучей, напряженной деятельности в груди Джэка всходили семена, зароненные два года тому назад, когда он впервые увидел и полюбил Сономскую долину, «Лунную Долину», как он назвал ее, узнав, что Сонома по-индийски значит луна. Его мечтой было купить в этой долине участок земли, построить дом и поселиться в нем вместе со мной, когда мы поженимся. Во время наших блужданий по старой, уединенной дороге нас особенно пленял один уголок: три холма, поросших пихтой, красным деревом и цветущими каштанами—три островка, покрытые лесом и поднимающиеся из глубокого, волнующегося лесного моря. Неожиданно обнаружилось, что этот участок продается, и Джэк не успел опомниться, как оказался обладателем ста двадцати девяти акров прекраснейшей земли, прославленной впоследствии в его романе «День пламенеет».

Для всех эта местность называлась попросту Ранчо, но мы с Джэком называли ее «Страной любимой Отрады».

7 июня 1905 года Джэк, полный детского энтузиазма, писал своему другу Клаудеслею:

«7 июня. Глэн-Эллен. Сонома. Калифорния.

Дорогой Клаудеслей! Планы, действительно, великолепные. Я разогнался на сто двадцать девять акров земли. Не буду даже пытаться описывать. Это выше меня. Купил несколько лошадей, жеребенка, корову, теленка, плуг, борону, фуру, кабриолет и т. д. Эта последняя часть расходов была непредвиденной и совершенно разорила меня... Я забрал у Макмиллана что мог, чтобы заплатить за землю, и теперь мне не на что выстроить сарай, не то что дом.

Еще не приступил к «Белому Быку». Пишу короткие рассказы, чтобы получить немного наличных денег.

Волк».

«Волк» было прозвище Джэка, данное ему его близким другом Георгом Стерлингом. Обычно Стерлинг называл Джэка «лютым волком» или «косматым волком».

— Я вечно в долгах,—заявил Джэк интервьюеру, присланному «Экзаминером».—Посмотрите на мою руку. Видите, как свет проходит сквозь пальцы? Значит, в руке течь. Это мне объяснил мой корейский слуга, с которым мы ездили по Манчжурии. Все, чего бы я хотел, это—заработать столько денег, чтобы целый год ничего не делать. Это моя мечта.

— И тогда вы купите несколько крахмальных сорочек и вечерний костюм?—лукаво заметил интервьюер.

— О, это у меня есть. Я заработал их! Но я не желаю надевать их, если можно обойтись без этого. Я ненавижу такие вещи, но на крайний случай у меня имеются. Подчеркиваю: я заработал их!

Я купил ферму на Глэн-Эллене, собираюсь построить дом и кучу вещей. Мне понадобится года два, чтобы сделать все изменения и устроиться. Тогда я выстрою сорокафутовую морскую яхту, возьму с собой двух, трех человек и отправлюсь вокруг света. Мы сами будем и матросами, и поварами; первая остановка будет в двух тысячах миль от Сан-Франциско, в Гонолулу. А потом все дальше и дальше. Может быть, в этом плаваньи я осуществлю свою мечту о покое.

По поводу этого путешествия Джэк писал Анне Струнской:

«...Помните «Спрей», на котором вы однажды плавали со мной? Так вот новое судно будет на шесть или семь футов длиннее, и я собираюсь плыть на нем вокруг света и писать. Надеюсь пробыть в путешествии от четырех до пяти лет; обойти вокруг мыса Горн, мыса Доброй Надежды, вокруг Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Австралии, и вообще всего».

Мечты Джэка «о покое» не раз ассоциировались с мыслями о смерти. Он, который так любил и прославлял жизнь, всегда с удовольствием говорил о вечном покое. Помню, в самом начале нашего знакомства я слышала от него следующее замечание:

— Мне приятна мысль о смерти. Подумайте только—лечь и уйти во мрак, уйти от всей борьбы и горя жизни, спать в покое, в вечном покое. О, я еще не собираюсь умирать—я буду сражаться за жизнь, как дьявол... Но когда мне придется умирать, обещаю вам: я буду улыбаться смерти.

В начале нашей совместной жизни я как-то сказала ему:

— Не надо, не надо строить так много больших планов, чтобы всегда трудиться над их осуществлением. Добывай деньги, а потом некоторое время ничего не делай.

Но за все годы нашей жизни день покоя все откладывался и откладывался.

Да, Джэк всегда был в долгах. Но никогда он не зарывался так, чтобы не был в состоянии выкарабкаться. Он всегда отдавал себе ясный отчет в своих делах и обижался, когда его не признавали деловым человеком.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Конец 1905 года. 1906 год. Письма. Второй брак

Издатели не раз уговаривали меня опубликовать письма, написанные мне Джэком Лондоном. Сначала я отказывалась, но потом меня поколебал один довод: эти письма могут дать полное и всестороннее

представление о глубокой и любящей природе Джэка. Между тем эта сторона его характера малоизвестна. Обычно его не понимают, или, что еще хуже, понимают неправильно. Поэтому я решилась опубликовать некоторые из бесчисленных имеющихся у меня писем:

«Дорогая, дорогая женщина! Так или иначе вы очень занимали мою мысль в последние дни. И каким-то неизъяснимым путем вы стали мне еще дороже. Я не буду говорить о духовных и душевных качествах, потому что вы какими-то путями, лежащими вне моих слов и моей мысли, внезапно колоссально возвысились над остальными женщинами.

О, верьте мне, последние несколько дней я думал, я сравнивал и понял, что я не только больше и больше горжусь вами, но восхищаюсь вами. Дорогая, дорогая женщина! В четверг вечером, когда мы были среди друзей, как я восхищался вами! Конечно, мне нравился ваш вид, но помимо этого я был восхищен, и не столько тем, что вы говорили или делали, как тем, что вы не говорили и не делали. Вами, именно вами, вашей силой, уверенностью и властью, которой вы держите меня около себя, тем миром и покоем, которые вы мне всегда даете. Сейчас я еще более твердо, чем год назад, уверен, что мы будем счастливы вместе. Я разумно уверен в этом.

Господи! И вы отважны! Люблю вас за это. Вы мой товарищ. Я говорю об отважности души. Но вы обладаете и другой, второстепенной отвагой. Я вспоминаю, как вы плаваете, прыгаете, ныряете, и мои руки протягиваются к дорогому, чувственному, отважному телу, и моя душа тянется к отважной душе, заключенной в этом теле.

Моя первая мысль по утрам и последняя вечером—о вас. Мои руки обнимают вас, моя душа целует вас».

«Благословенный друг! Я не думаю о том, что расстался с вами, настолько мое сердце, моя душа полна вами. Сравнения ничто, рассуждения ничто, мне не надо рассуждать о вас. Разве только просто о том, что вы для меня—все, что вы для меня больше, чем какая-либо другая женщина, которую я знал.

Ваш Волк».

«Мое детство было одиноким. Я нигде не находил отклика. Я научился молчанию. Я рано пустился в свет и попадал в различные общественные слои. И, конечно, будучи, новичком в каком-нибудь слое, я скрывал свое подлинное «Я», которое в этом слове не было бы понятным, и в то же время внешне бывал крайне разговорчив для того, чтобы сделать свое принятие в этот новый класс наиболее успешным и полным. Так и шло: из слоя в слой, от клики к клике. Никакой интимности, все нарастающее ожесточение. Такая

любезная поверхностная разговорчивость и такая внутренняя замкнутость, что первую всегда принимали за реальность, а о второй и не догадывались.

Спросите тех, кто меня знает сейчас—что я такое? Они скажут, что я грубый, дикий, любящий бокс и все жестокое, имеющий ловкое перо и шарлатански-поверхностно владеющий искусством, обладающий всеми неизбежными недостатками невоспитанного, неутонченного, пробившегося человека, которые он не без успеха скрывает за грубой и необычной манерой. Стоит ли пытаться переубеждать их? Гораздо проще оставить их при их убеждении».

Еще до своего переезда из города в Глэн-Эллен Джэк условился прочесть ряд лекций в восточных и средне-западных штатах. Это должно было быть его первое и последнее турнэ. Он никогда не любил выступать публично и не поехал бы и теперь, если бы здесь не представлялась возможность пропаганды в пользу дела. С Лекционным Бюро было обусловлено, что Джэку предоставляется полная свобода говорить о социализме где бы то ни было и когда бы то ни было, если это не совпадает с его регулярными лекциями.

Наше индейское лето склонялось к концу, и Джэк все больше и больше сердился на то, что ему приходится распроститься с лагерем, где он так хорошо проводил время.

На третьей неделе октября Маниунги приступил к укладке, и скоро Джэк уехал, захватив с собой мой подарок—золотые часы с моим портретом на внутренней стороне крышки и превосходную миниатюру своих двух маленьких дочек. Вскоре после его отъезда и я приступила к укладке своего немудреного приданого и отправились гостить к друзьям в Ньютон. 18 ноября я получила телеграмму, в которой Джэк просил меня приехать на следующий день в Чикаго, где он будет проездом в Висконсин. Я прибыла в Чикаго на следующий же вечер с опозданием на три часа и встретила на платформе усталого, но терпеливого жениха, имевшего в своем кармане разрешение на венчание. В моем кармане лежало обручальное кольцо моей матери. На углу ждали два кэба. В одном из них сидел сильно заинтересованный Маниунги, никогда еще не присутствовавший на американской свадьбе.

Мы расписались у нотариуса и отправились в старый отель «Виктория», где Джэк вписал имя миссис Лондон между своим именем и Маниунги, записанными накануне. В это время я незаметно, другим ходом проскользнула в нашу комнату.

Никто, близко стоящий к «самому знаменитому писателю Америки», не мог избежать большей или меньшей известности. Не успел Джэк взять ключ от комнаты, как на него уже напали три репортера.

Они еще ничего не знали о его женитьбе и пока-что интересовались только деталями турнэ. Но четвертый заметил мое имя, вписанное в книгу. Чернила еще не успели просохнуть. Он присоединился к остальным. Джэку под каким-то предлогом удалось удрать и запереться в номере. Но не прошло и трех минут, как все четыре оказались у наших дверей, умоляя об интервью. К ним постепенно начало прибывать подкрепление, и в те немногие часы, что мы провели в гостинице, нас беспрерывно осаждали телефонными звонками, телеграммами, подсовываемыми под двери.

Но Джэк, решивший свято сдержать обещание, данное «Экзаминеру»,—сообщить им первым о всех изменениях в своем семейном положении,—был глух ко всем мольбам. И только один призыв чуть было не поколебал его решимости. Этот призыв был подсунут под дверь в виде записочки и сообщен умоляющим шопотом в замочную скважину: «Выходите же с вашими новостями, старина! Будьте милосердны! Нам надо добыть их. Ведь вы сами журналист! Вы понимаете. Выходите и выручите нас».

Но репортеры отомстили. Во вторник утром, возвращаясь из Висконсина в Чикаго, мы к ужасу своему увидели, что по всему вагону расклеены фотографии—Джэка и моя—с широковещательными надписями о том, что наш брак недействителен.

Некоторые газеты действительно пытались затеять путаницу с законами о разводе и о женитьбе в Висконсине и Калифорнии. Газета «Чикаго Американ» на следующий же день поместила опровержение этих злостных сплетен, но все же мы в течение месяца не могли прочесть ни одной газеты, не натолкнувшись на какую-нибудь заметку о «знаменитом писателе» и «его женитьбе».

На все нападки Джэк в разговорах с журналистами отвечал одно и то же: «Если моя женитьба незаконна, я женюсь на собственной жене в каждом штате Союза».

Однажды Джэк прибежал ко мне, размахивая газетой: «Теперь попалась, друг-женщина!—кричал он.—После этого ты никогда уже не посмеешь взглянуть мне в глаза». И он прочел мне статейку, в которой говорилось, что «Джэк Лондон женился на безобразной девушке из Калифорнии, настолько безобразной, что дети на улицах Ньютона при виде ее с воплями бегут к матерям. По слухам, эта пара собирается отправиться в дальнее плаванье на долгие годы на маленькой яхте. Пожалуй, будет лучше для всех, если они утонут и никогда больше не вернутся».

— Ты думаешь, что я это выдумал? Да?—догадался Джэк по выражению моего лица.—Взгляни-ка сюда! Ах, злобный старикашка, скверная старая вонючка! Интересно, что он съел за завтраком?

Но мне скоро удалось отомстить Джэку. Я первая нашла заметку о том, что «у Джэка Лондона двухсторонняя асимметрия лица».

Джэк был возмущен:

— Но я вовсе не двухсторонне асимметричен! Я даже не знаю, что такое двухсторонняя асимметрия. Взгляни на меня,—тут он хватался за зеркало,—у меня абсолютно прямые черты!..

Мы продолжали путешествовать с 26 ноября по 7 декабря.

Каждый раз, как мы переезжали с места на место, Джэк клялся, что в последний раз ездит по железной дороге. Но каждый раз он забывал свою клятву. Мы скрашивали скуку долгих вагонных часов, читая друг другу вслух, играя в крибедж или казино, отвечая на письма. Мы с самого же начала привыкли уважать нашу взаимную свободу, независимость и потребность в уединении.

К концу нашего турнэ Джэк стал чувствовать крайнее утомление. Помимо усталости от путешествия и чтения лекций, он вообще чувствовал себя подавленным и больным, когда попадал в большие города. Он не мог себе представить жизни в столице. 27 ноября на пароходе «Адмирал Феррагут» мы отплыли па Ямайку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1906 год. Путешествие. Нью-Йорк

«Адмирала Феррагута» отчаянно качало, и я в первый раз в жизни заболела морской болезнью. Для меня, жены моряка, это было ужасным унижением, тем более, что Джэк удивленно и неодобрительно поглядывал на меня, мрачно размышляя о предстоящих нам путешествиях. Но на третий день, войдя ко мне в каюту, он радостно заявил:

— Я узнал кое-что новое о себе самом и о тебе. Я никогда бы не подумал, что могу испытывать жалость и нежность к женщине, больной морской болезнью. И все-таки я люблю тебя как-будто сильнее, чем раньше,—не знаю, почему. Может-быть, потому, что в каждой новой обстановке, какова бы она ни была, ты становишься мне все дороже.

Впрочем, через месяц, когда мы плыли из Ямайки на Кубу на грязном испанском пароходике, Джэк, к нашему великому обоюдному удивлению, тоже испытал приступ морской болезни.

«Адмирал Феррагут» остановился на Ямайке в Порт-Антонио на утро Нового 1906 года. Когда я проснулась, мы стояли в теплой тропической воде, опоясанной кораллами. Весь день мы купались, ныряли и упражнялись в спасании утопающих. Мы провели на Ямайке три дня, осматривали город, ананасные плантации, романтическую крепость Мортоун, расположенную на холмах, в которой и поныне

живут мароны—потомки испанских рабов. На третий день мы уехали в Кингстон, где целый день отдали покупкам. Джэк, всегда проявлявший большой интерес к моим нарядам и обращавший внимание на малейшие детали, купил мне в Кингстоне мягкий серебряный пояс, усыпанный камнями, браслеты в виде змей и несколько вееров. Для того, чтобы передать все, что мы видели и перечувствовали в Гаванне, потребовалась бы целая книга. В моем карманном дневничке имеются следующие записи: о Кубе—«Невыразимо прекрасно»—и о Гаванне—«С ненавистью встретили мы срок отъезда из Гаванны, но перед нами весь мир».

Следующая остановка была в Миами. Джэк, знавший, кажется, все на свете, непременно желал заняться ужением в Миами и мечтал поймать несколько образчиков из тех шестисот с чем-то разновидностей рыб, которыми славятся эти воды.

— Ты только представь себе, друг,—говорил он,—на этом берегу водится одна пятая всей фауны американского материка к северу от Панамы.

Пребывание в Миами было заполнено катаньем на лодках, ужением рыбы, покупкой редкостей и змеиных кож, исследованием тропической реки Томоки.

Перед отъездом Джэк вдруг почувствовал себя нездоровым, и мне пришлось посылать в Нью-Йорк телеграммы, чтобы отложили лекции. Джэку становилось все хуже, но он не соглашался позвать врача.

— Я не могу откладывать лекции,—твердил он,—это просто грипп. Я знаю симптомы, и знаю все способы поправиться, которые находятся в моем распоряжении, лучше всякого доктора.

В конце концов я уступила и уселась у его изголовья, изредка взглядывая в окно на мелькавшие экипажи. Когда я поглядела на Джэка, я увидела, что по его горячим от жара щекам текут крупные слезы.

— И подумать только, что я приехал в это проклятое место только для того, чтобы глядеть на эти экипажи,—стонал он.

Я была очень напугана и тщетно старалась его утешить. А ночью сама подверглась такому же приступу болезни, сопровождавшемуся той же чрезмерной чувствительностью, и мы с Джэком всю ночь проплакали в объятиях друг друга.

Впоследствии мы не могли без смеха вспомнить об этом припадке лихорадки «бу-ху».

Джэк прибыл в Нью-Йорк измученным, еще плохо оправившимся от лихорадки, имея в своем распоряжении вдвое меньше времени на чтение лекций, чем было предположено. С первых же дней на нем, как обычно, тяжело отозвалась жизнь в большом городе.

— Здесь сплошное сумасшествие,—говорил он.—«К чему кому бы то ни было что-нибудь делать?»—вот моя постоянная мысль в Нью-Йорке. Когда меня бреют, я смотрю в лицо человека, держащего бритву, и удивляюсь, почему он не перережет мне горло. Я с удивлением смотрю на мальчика у подъемной машины в гостинице: почему он не пошлет все к чорту и не даст машине разбиться вдребезги, просто так, для забавы.

Мы побывали в опере, ужинали в Революционном клубе, проводили время с знакомыми, но Джэк все время был молчалив, сосредоточен и подавлен, как-будто в нем совершенно угасла его обычная веселость.

— Чего можно ожидать от Нью-Йорка?—повторял он.—В Нью-Йорке невозможна никакая человеческая оценка всего естественного и человеческого.

25 декабря Джэк отправился в Нью-Хавен читать в Иэльском университете лекцию на тему «Наступающий кризис».

К моему глубокому сожалению, я была нездорова и не могла сопровождать его. По поводу предполагаемой лекции было много толков и споров на факультете, но в конце концов профессора пришли к убеждению, что Иэль—«университет, а не монастырь», а Джэк Лондон—«один из самых замечательных людей в мире». Больше того—поклонникам Джэка удалось добиться разрешения на устройство лекции в Вульсей-Холле—громадном бело-мраморном зале. Социалисты моментально приступили к самой широкой пропаганде. На все фабрики и заводы, во все магазины разосланы были извещения о лекции. На каждом дереве висело объявление: «Джэк Лондон в Вульсей-Холле». Особенно замечателен был один плакат: Джэк в ярко-красном свитере на фоне огромного зарева.

Вечером огромный зал был переполнен. Тут были представлены все социальные слои Нью-Хавена и его окрестностей: присутствовали профессора, студенты, многие сотни рабочих, сотни обывателей, сотни социалистов. Лекция длилась два часа. Вначале были сделаны две-три попытки прервать или осмеять оратора, но они не встретили никакой поддержки. Джэку сразу удалось захватить аудиторию и приковать к себе всеобщее внимание. По окончании чтения он до полуночи отвечал на предлагаемые ему вопросы. Профессора открыто признали, что лекция Джэка Лондона была «самым поразительным явлением в Иэле за долгие годы».

Но капиталистическая пресса, еще не простившая Джэку прежних его выступлений, снова обрушилась на него. «Блестящий молодой писатель» превратился в «патологический тип неврастеника». Публику призывали к бойкоту его произведений. Некоторые крупные издательства отказались от продажи и издания его книг. Пожалуй, не стоит говорить о том, что эта газетная травля, тяжело отразившаяся на

материальных делах Джэка, была бессильна повлиять на его взгляды или удержать его от пропаганды дела всегда и везде, где только представлялась возможность.

Мы пробыли в Нью-Йорке девять дней, а затем отправились в Чикаго, где Джэк повторил свою лекцию «Социальная революция» в Чикагском университете. Из Чикаго мы направились в Сен-Поль и Северную Дакоту, где в феврале Джэк прочел студентам две последние лекции.

В эту эпоху оба мы были очень заняты. Помимо своей обычной литературной работы, Джэк следил за постройкой дома, за посадкой всевозможных фруктовых деревьев, за устройством виноградника и т. д. Кроме того, мы совершали бесконечные прогулки верхом.

Лето 1906 года мы провели на «Благословенном Ранчо», как его называл Джэк. Мы жили в маленьком коттедже. Когда к нам наезжало особенно много гостей, мы переходили в большой гостеприимный дом тети. Главным нашим занятием продолжали быть прогулки верхом. Мы никогда не уставали изучать и восхищаться красотой нашего «Благословенного Ранчо». Свободное время было заполнено чтением бесчисленных книг самого различного содержания. Джэк читал нам вслух Уэллса, Мопассана, Зудермана, Гертруду Аттертон, Фильпоттса, Селеби, Спенсера, Шоу, Ибсена и многих других, так как он хотел быть «внутри того, что делают другие».

18 апреля 1906 года произошло «великое жизненное сотрясение», иначе говоря, знаменитое землетрясение в Сан-Франциско, почти совершенно разрушившее этот прекрасный город. Мы все проснулись в шесть часов утра от толчка, длившегося около полминуты—самой длинной полминуты в моей жизни. Не прошло и получаса, как мы с Джэком уже мчались верхом по направлению к Ранчо, откуда с вершины холма были видны два громадных столба дыма: один—над Сан-Франциско, другой—над Санта-Розой. В полдень, с первым попавшимся поездом мы отправились в Санта-Розу и всю ночь проблуждали по холмам города. Мы были полны странных, не поддающихся описанию чувств: нам казалось, что мы присутствуем при конце мира, что земля на наших глазах возвращается к первоначальному хаосу.

— Я никогда, ни для кого не напишу об этом,—сказал Джэк.— Нет, я не напишу ни слова. Не стоит и пытаться. Тут ничего нельзя сделать, как только подобрать несколько звучных слов и беситься над их беспомощностью.

Мы стояли на холме в более или менее безопасном месте, смотрели, как разрастается пожар, слушали, как со страшным грохотом один за другим рушились стальные дворцы. В ту ночь мы сделали не менее сорока миль. И когда на следующий день мы вернулись в Оклэнд, нас приняли по внешности за беженцев, пострадавших от землетрясения.

Вернувшись домой, мы застали телеграмму от «Коллиеровского Еженедельника», предлагавшего Джэку написать двадцать пять тысяч слов о землетрясении по двадцать пять центов за слово. Денег, конечно, не было. Землетрясение разрушило начатые на Ранчо постройки, и Джэк, нарушив данное себе обещание, написал статью, о которой сам был очень невысокого мнения.

— Это лучшая попытка сделать невозможное,—отзывался он об этом очерке.

Через две недели после землетрясения мы с Джэком устроили себе каникулы и верхом отправились исследовать последствия землетрясения в селах Калифорнии. Мы не работали, не думали, мы только наслаждались далекими, неизвестными туристам уголками Калифорнии. Мы пропутешествовали всего пятнадцать дней, но по возвращении нас ожидала уйма работы. Джэк снова начал регулярно передавать мне для переписки на машинке десять рукописных страниц в день.

Обычно я клала ему на письменный стол перепечатанную работу к девяти часам утра. Он любил перечитывать со мной свою дневную работу. Даже если я случайно проходила мимо него, когда он работал, он отрывался от дела и прочитывал мне то, что успел написать. Но мы все же успевали купаться, ездить в Ранчо, боксировать, устраивать пикники и костры при лунном свете. Запись в моем дневнике гласит: «Счастливы, как ангелы». В то время у нас были в моде два развлечения: пускание мыльных пузерей и распаковывание посылок, выписанных Джэком. У него была слабость выписывать разные вещи по объявлениям. А так как мы готовились к нашему большому плаванию, то каждая утренняя почта приносила нам принадлежности для рыбной ловли, бесчисленные связки бус всех цветов, размеров и форм, пестрые платки, ситцы и ленты, предназначенные услаждать сердца туземцев южных морей.

В лето 1906 года Джэк приступил к большому роману «Железная Пята».

Закончив «Железную Пяту», Джэк приступил к серии эпизодов из своей бродяжнической жизни. Они выходили периодически под заглавием «Моя жизнь на дне», а затем вышли отдельной книгой—«Дорога».

Великое землетрясение причинило Джэку много убытков. Прежде всего постройка яхты, которая должна была обойтись в семь тысяч долларов, поднялась до тридцати тысяч и задержалась на полгода. За это время мы получили бесконечное множество писем от самых разнообразных людей, желавших принять участие в нашем путешествии на каких угодно условиях. Некоторые предлагали даже заплатить за проезд. Здесь были и доктора, и юристы, и нищие, и воры, и архимиллионеры, и моряки, и поэты, и историки, и геологи, и художники,

и священники—одним словом, все, без различия пола, возраста, профессии и цвета кожи. Но Джэк твердо решил, что у всех, кто поедет на «Снарке», будут определенные обязанности и определенное жалованье.

Когда приготовления к отъезду стали приближаться к концу, Джэк предложил одному журналу свои будущие путевые заметки. Я привожу это письмо, так как в нем Джэк излагает свои планы:

«18 февраля 1906 года.

Дорогой... Киль уже готов. Судно будет в сорок пять футов длиной. Оно должно было быть немного короче, но мне нужно было как-нибудь втиснуть ванную. Я отплываю в октябре. Первая остановка будет на Гавайских островах. Оттуда мы отправимся скитаться по южным морям, к Самоа, Тасмании, Новой Зеландии, к Австралии, Новой Гвинее и мимо Филиппинских островов к Японии. А затем Корея, Китай и вниз к Индии, по Красному морю, Средиземному, Черному, Балтийскому, через океан к Нью-Йорку, и вокруг мыса Горн в Сан-Франциско... Я непременно проведу зиму в Петербурге, и есть много шансов за то, что я поднимусь по Дунаю от Черного моря до Вены. Не будет такой европейской страны, в которой я не проведу от одного до нескольких месяцев. Так, не спеша, будет протекать все путешествие. Я не желаю торопиться. Я высчитал, что на такое путешествие понадобится семь (7) лет.

Судном будем управлять я и мой друг. Матросов не будет. Моя жена сопровождает меня. Конечно, я возьму с собой повара и слугу. Но они не будут принимать участия в управлении судном. (Впоследствии этот план был несколько изменен). По оснастке это судно будет чем-то средним между яхтой и шхуной. Оно будет вроде английских рыбачьих судов на Доггерских отмелях.

Все же у нас будет маленький мотор на случай крайней необходимости,—в плохую погоду у рифов и в мелководье,—когда внезапное затишье при быстром течении делает парусное судно беспомощным. Кроме того, мотор будет иметь еще одно назначение: доплыв до какой-нибудь страны, скажем, до Египта или до Франции, я смогу подняться по реке Нилу или Сенегалу, сняв мачты, при помощи одного только мотора. Я рассчитываю проникать таким способом в глубь многих стран, оставаясь на своем судне. Нет препятствий, которые могли бы помешать мне попасть таким образом в Париж и ошвартоваться в Латинском квартале—кормой к моргу, а носом к Собору Парижской Богоматери».

Издатель выразил согласие, и 3 апреля 1906 года Джэк подписал соглашение о том, что он «снабжает» журнал серией статей с описанием путешествия на парусном судне, каковое путешествие по

возможности будет кругосветным. Джэк взялся также поставлять и фотографии.

В это же время он получил предложение от одного женского журнала написать ряд статей о домашнем быте разных туземных народов.

Постройка судна все затягивалась, и отъезд был перенесен на 1 ноября. Тогда же мы окончательно остановились на названии «Снарк», заимствованном нами у Луиса Кэрроля—«Охота на «Снарке».

Когда в рождественском номере журнала появился первый очерк, Джэк в ярости издал «долгий волчий вой»: в статье без его согласия были произведены значительные изменения.

«В нашем договоре,—заявил взбешенный Джэк,—я признал ваше право отвергать статьи целиком или выкидывать некоторые спорные фразы. Против этого я не возражаю. Но когда вы вырезываете всю сердцевину, как в моей морской статье, это совсем другое дело. Вы придали моему описанию тридцатицентный вид.

И я предупреждаю вас: я на это не согласен. Скорее порву соглашение, чем соглашусь на это. Если вы посмеете так же поступить и со следующей статьей... я больше не пошлю вам ни единой строчки».

Последовал обмен еще двумя или тремя письмами, и в результате Джэк действительно передал статьи в другой журнал, но гораздо более высокой оплате.

Нас ожидала еще неприятность: потеря Маниунги. В течение целых недель он с чисто восточной хитростью пытался нас заставить уволить его. Повидимому, единственным мотивом его ухода было нежелание участвовать в плавании по семи морям на таком маленьком судне, как «Снарк». В его груди не было сердца моряка. И вот он старался как можно хуже вести себя и как можно хуже выполнять свои обязанности. Однажды вечером дело разрешилось самым забавным образом: Маниунги нарочно целый день обращался к Джэку с самыми разнообразными названиями вместо обычного мастер или мистер Лондон. Названия становились все необычайнее и необычайнее, но ему никак не удавалось вывести Джэка из себя. Тот только молча поглядывал на Маниунги. Ему жаль было терять Маниунги и притом таким недостойным способом. Наконец Маниунги превзошел самого себя. Он подошел к Джэку и нарочито наглым тоном спросил:

— Не желает ли божество выпить пива?

— Я больше ничего не желаю от вас, Маниунги,—спокойно ответил Джэк, и этим все кончилось. Маниунги был заменен маленьким японцем Точиги, впоследствии ушедшим в священники. Точиги отличался артистической жилкой: он каждый день украшал наш стол цветами, при чем ни разу не повторил одного и того же убранства.

В начале декабря Джэк закончил роман «Железная Пята», начатый в августе, и принялся за «Дорогу». Одновременно он писал и короткие рассказы, вошедшие в сборники: «Революция», «Потерянный Лик» и «Сила Сильных».

Мой дневник за 1906 год кончается следующими словами: «Вот кончился самый счастливый год моей жизни. И перед нами—Великое Приключение».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1907, 1908 и 1909 годы

«Наши друзья никак не могут понять, почему мы пускаемся в это путешествие. Они содрогаются, вздыхают, воздевают кверху руки... Но никакие объяснения не могут дать им понять, что мы идем по линии наименьшего сопротивления, что нам легче пуститься в море на маленьком судне, чем оставаться на суше, точно так же, как им легче оставаться на суше, чем пускаться в море на маленьком судне... Они не могут хоть на некоторое время отрешиться от самих себя и понять, что их линия наименьшего сопротивления не является линией наименьшего сопротивления для каждого... Они думают, что я сошел с ума!.. Для меня ценно то, что я люблю. И больше всего я люблю личное достижение—не достижение для одобрения света, а достижения для собственного наслаждения. Это все то же древнее: «Я достиг! Я достиг! Я достиг!» Я достиг этого собственными руками. Но для меня личное достижение—это нечто конкретное. Я предпочитаю одерживать победы в борьбе, в плавании... Я таков... Мне это нравится. Вот и все! Путешествие вокруг света означает великие мгновения жизни. Здесь море, ветер, волна... Здесь моря, ветры и волны всего мира... Здесь трудность достижения, достижения, которое является достижением для моего мелкого, трепещущего тщеславия... Это мое особое тщеславие—вот и все».

Путешествие на «Снарке» дало и мне и Джэку гораздо больше радости, чем мы предполагали.

Несмотря на мое абсолютное невежество в морском деле, Джэк все же признал во мне настоящего моряка и принялся за мое обучение. Скоро он стал доверять мне управление «Снарком» и часто, даже в опасных местах, я стояла у руля и исполняла его приказания.

24 ноября 1907 года под 146 градусами 20 секундами западной долготы и 6 градусами 47 секундами северной широты Джэк писал своему другу Георгию Стерлингу:

«В будущий понедельник будет 49 дней с тех пор, как я в последний раз видел землю. Мы теперь у Дольдрумов, в несколько сотнях миль от Маркизских островов.

Не говорили вам когда-нибудь о том, как труден переход между Гавайскими и Маркизскими островами?.. Капитаны китобойных судов сомневаются в том, что можно совершить переход от Гавайи до Таити,—а это значительно легче, чем до Маркизских островов. Нам приходилось бороться за каждый дюйм к востоку, чтобы иметь возможность обойти острова, когда мы попадем в юго-восточные пассаты... В первые две недели после Хило мы повстречали северо-восточный пассат. В результате нас отнесло к югу (восточное течение) и фактически мы не подвинулись к востоку, пока не попали в переменный ветер.

Но я работаю ежедневно.

Скажите, видели вы дельфинов? Представьте себе ловлю дельфинов на удочки и на катушки. Я сам занимаюсь этим. Вам надо было бы видеть, как они хватают нитку (на моей катушке шестьсот ярдов, и они все идут в дело). Первый боролся со мной двадцать минут, пока я не притянул его и не посадил на острогу: четыре фута, шесть дюймов сверкающего великолепия!

Когда они пойманы, они стараются удрать, как безумные. Все время выскакивают из воды и во время своих огромных прыжков трясут головами, как молодые жеребцы.

Мне трудно заснуть после того, как я поймаю дельфина. Их прыгающая, сверкающая красота захватывает.

До этого путешествия я ни разу не видел дельфинов, как следует. Они голубые, а когда их поймаешь, делаются золотыми. После, уже на палубе, они проходят всю гамму красок. Но в воде, после первой дикой скачки, они—как чистое золото.

Я собираюсь описать путешествие на «Снарке» и озаглавить описание: «Вокруг света с тремя газолиновыми моторами и женщиной».

Десятидневная почта, полученная Джэком на Таити, принесла ему письмо от первой жены, извещавшей его о своем предстоящем замужестве. Так как Джэк не мог не интересоваться тем, кто будет отчимом его дочерей, мы сделали перерыв в нашем плавании на «Снарке» и отправились в тридцатидневное путешествие в Сан-Франциско. И мы тосковали, пока не вернулись опять на «Снарк».

За все плаванье,—то-есть с 1907 по 1909 год,—Джэк написал более восьми книг, несмотря на то, что управлял судном, читал, развлекался, бывал нездоров по целым неделям и просто подолгу ничего не делал.

Издатели и читатели неоднократно упрекали Джэка в том, что в романе «Приключение» он дал преувеличенно-мрачное или даже вовсе неверное изображение диких племен в двадцатом веке. Чтобы отвести эти обвинения, я привожу следующие выдержки из писем Джэка.

Соломоновы острова. 31 октября 1908 года.

«Последние три-четыре месяца «Снарк» крейсировал вокруг Соломоновых островов. Это, пожалуй, наименее исследованный уголок мира. Здесь царят—людоедство, убийство и охота за головами. На самых опасных островах этой группы мы никогда, ни днем, ни ночью, не бываем безоружны, а по ночам ставим часовых. Как-то Чармиан и я отправились на другом судне в плаванье вокруг Малаиты. Экипаж состоял из чернокожих. Туземцы, которые встречались нам,—и мужчины, и женщины,—были совершенно обнажены и вооружены луками, стрелами, копьями, томагавками, боевыми палицами и ружьями (у меня есть для вас боевые палицы с Фиджи и с Соломоновых островов). Сходя на берег, мы всегда берем с собой вооруженных матросов. А люди на вельботе не оставляют весел, и нос повернут к морю. Однажды мы отправились вплавь в устье пресноводной реки, и все время в кустах сидели наготове матросы. Раздевшись, мы положили платье на самом видном месте, а оружие спрятали в другое место, чтобы в случае нападения не быть застигнутыми врасплох.

В довершение всего наше судно налетело на риф. За минуту до этого не было видно ни одного каноэ. Но тут они стали слетаться, как коршуны. Половина команды держала их в отдалении при помощи винтовок, остальные матросы работали над спасением корабля. А на берегу тысячи дикарей ожидали грабежа. Но им не удалось заполучить ни судно, ни нас».

Вот выдержка из другого письма:

«У нас было достаточно волнений,—это может подтвердить и Чармиан. Но самым потрясающим был рассказ миссионера о его спасении. Он проповедывал на одном из этих островков, где практикуется людоедство, и был захвачен в плен каким-то скептически настроенным вождем. К великому удивлению миссионера, вождь немедленно отпустил его, но под одним условием: миссионер должен был доставить маленький запечатанный пакетик вождю соседнего горного племени. Миссионер был так доволен, что, повстречавшись с отрядом английских матросов с военного судна, отказался от их предложения проводить его в более безопасное место: он должен исполнить свое обещание и передать маленький запечатанный паке-

тик. В нем, среди мелких луковиц, было запрятано следующее послание:

«Податель сего будет с ними очень вкусен».

Единственной причиной, по которой наше прекрасное путешествие было закончено через два года вместо семи, девяти или бесчисленного множества лет,—была чрезмерная чувствительность организма Джэка. Ультрафиолетовые лучи оказывали гибельное влияние на его нервную систему. Вот его собственные слова:

«Я отправился в Австралию и провел в госпитале пять недель. (Операцию пришлось производить из-за двойной фистулы, неизвестно отчего образовавшейся). Пять месяцев провел я в самом жалком состоянии в разных госпиталях. Таинственная болезнь, поразившая мои руки, была не под силу австралийским специалистам... Она перешла и на ноги, так что временами я был беспомощен, как ребенок. Иногда мои руки бывали вдвое больше своего нормального размера, и на них бывало по семи умирающих и умерших кож, шелушащихся в одно и то же время. Иногда ногти на пальцах ног в двадцать четыре часа достигали толщины, которая равнялась их длине. Их спиливали, но в двадцать четыре часа они нарастали снова. Австралийские специалисты признали, что болезнь эта не инфекционная и, следовательно, должно-быть, нервного происхождения. Я не поправлялся и мне невозможно было продолжать путешествие... Тогда я рассудил, что в моем обычном климате в Калифорнии я всегда находился в устойчивом нервном равновесии. По возвращении я совершенно выздоровел. И я разузнал, в чем было дело. Мне попалась книга полковника Чарльза Вудруфа: «Действие тропического света на белых людей». Тогда я понял... Одним словом, у меня оказалось предрасположение к разрушению тканей под тропическими лучами. Я был разорван на части ультрафиолетовыми лучами так же, как бывали разорваны на части исследователи, изучавшие икс-лучи. Среди различных болезней, которые в общей сложности заставили меня прервать мое путешествие, была между прочим и болезнь, называемая «болезнью здоровых людей», «европейской проказой» и «библейской проказой». В отличие от настоящей проказы эта болезнь почти неизвестна... Доктора возлагали единственную надежду на внезапное исцеление, что со мной и произошло. (Эта болезнь—псориазис, известная в Соединенных Штатах. Для нее существует много способов лечения, но ни один из них не признан действительным).

И последнее слово,—мерило путешествия: мне и каждому мужчине легко признать, что путешествие было приятным. Но у нас есть лучший свидетель—женщина, которая проделала все плаванье от начала до конца. Когда я, лежа в госпитале, сообщил Чармиан

о том, что я должен вернуться в Калифорнию, ее глаза наполнились слезами. Дня два она была совершенно убита мыслью о том, что наше радостное путешествие кончено».

Жребий был брошен. Джэк распустил команду и продал «Снарк», который теперь стоит только одну десятую своей первоначальной вздутой цены. В обратный путь с нами пустился и восемнадцатилетний японец, маленький Йошимутсу Наката, поступивший на «Снарк» на Гавайских островах. Наката больше не расставался с нами. Девять лет он повсюду следовал за нами, как любящая и любимая тень. И я смело утверждаю, что ни Джэк, ни я никогда не могли вполне утешиться после того, как Наката в 1915 году, женившись, ушел от нас. В настоящее время Наката окончил медицинский и хирургический институт в Сан-Фрациско и успешно занимается хирургией в Гонолулу.

О нашем возвращении было сообщено в газетах, и от Нового Орлеана до Оклэнда на всех станциях нас осаждали репортеры. 24 июля 1909 года мы снова были дома в Вэк Робин Лодже.

Все болезни Джэка,—и малярия, и псориазис,—сразу прошли, как только он попал домой. В конце концов мы рады были вернуться, рады были посмотреть на все новое, рады были приняться за накопившиеся дела. Громадный каменный сарай был закончен и покрыт черепицей. Внутри он был разбит на несколько отделений и, кроме экипажей и лошадей, вмещал еще наши великолепные тихоокеанские коллекции. Этот маленький музей был не раз и очень подробно описан в газетах, при чем ценность его определялась в долларах и центах. Между тем мы сами не могли определить его стоимости, так как единственным предметом мены с дикарями в Меланезии были пачки табака.

На Ранчо были сделаны значительные улучшения; мы нашли также большой прирост живности—телок, жеребцов, цыплят, утят, голубят... Но самое замечательное было то, что моя тетя,—доверенная Джэка,—присоединила к нашему имению маленький «Рыбный Ранчо» и сто тридцать акров земли, примыкающие к Вэк Робину. Джэк сейчас же принялся за посадку на новом участке пятнадцати тысяч маленьких эвкалиптовых деревьев.

Последние месяцы 1909 года были бы месяцами безоблачного счастья, если бы не мои постоянные приступы малярии. Часто мне целыми днями приходилось лежать в постели, что тяжело отражалось на Джэке. Дом все время был полон гостей, работа задерживалась, и Джэк чувствовал себя несчастным и беспомощным.

В конце 1909 года Джэк кончил роман «День пламенеет». В том же году вышли две его книги «Потерянный лик» и «Мартин Идэн». «Мартин Идэн» вызвал почти единодушный протест: как мог Джэк

заставить своего героя покончить самоубийством! Джэк получал даже письма с упреками по этому поводу. Но он утверждал, что Мартин, с таким трудом завоевавший себе славу, был лишен и любви и радостей, не встречая среди людей поддержки; в своем одиночестве он не мог сделать ничего другого, как только покончить с жизнью, превратившейся в бремя.

— Вот в чем мое отличие от Мартина Идэна,—говорил Джэк:— добившись славы, я не замкнулся в самом себе. Я наслаждаюсь тем, что общаюсь с людьми и принимаю в них участие. И что лучше всего—я нашел любовь.

К Рождеству 1909 года мы окончательно убедились в том, что наше заветное желание сбудется: у нас родится ребенок. Джэк совершенно преобразился. В каждом взгляде, в каждом прикосновении его рук, в звуке его голоса звучала бесконечная радость.

Мне кажется, для меня, всегда дороже всего будет память об этих месяцах. Никогда я не чувствовала себя такой сильной, такой счастливой. Мне кажется, никогда так не пели птицы, не цвели цветы. Мы гуляли с Джэком по нашему эвкалиптовому лесу, где деревья доходили нам до колен, и мечтали о том времени, когда он будет выше нашей головы. «Ведь он немногим старше нашего мальчика»,—говорил Джэк. Потому что у нас д о л ж е н был быть мальчик!

Как много может человек пережить,—и физически, и духовно,— и как он в конце концов великолепно побеждает все. В воскресенье 19 июня в Оклэндском госпитале родился наш ребенок. В моем дневнике есть запись: «...потом наступили ужасные часы, когда Джэк помогал мне, любил меня, дышал вместе со мной... Это была девочка, и мы назвали ее Джой (радость)».

Джэк сиял от счастья. Он был в восторге от нежной кожи и серых глаз ребенка. «Настоящие англо-саксонские, как у друга и у меня»,—радовался он. Он даже не испытывал разочарования от того, что получил дочь вместо горячо желанного сына. «Мальчик, девочка,—не все ли равно... раз это от Чармиан!»

Бедная маленькая Радость! Тяжелые роды и неумелый уход в течение первых тридцати восьми часов стоили ей жизни.

На третий день после родов Джэк явился ко мне в госпиталь с одним—подбитым, другим—совершенно затекшим глазом. Он откровенно рассказал мне все, что с ним произошло.

— Ты знаешь, как я ненавижу ходить пешком. И всегда, когда я хожу, со мной случаются какие-нибудь неприятности. Клянусь, никогда в жизни больше я не пойду пешком. Но слушай, что было...

Он блуждал по городу, с журналами подмышкой, размышляя о постигшем нас несчастьи, и незаметно для себя зашел в глухой квартал, полный китайских игорных домов. Вдруг он увидел перед собой вывеску американского клуба и маленькую дверь, которая, по его расчету, вела в уборную. Он вошел и неожиданно попал в комнату, расположенную за общим залом,—повидимому, в ночной притон. Хозяин притона, увидев журналы в руках Джэка, решил, повидимому, что он собирается расклеивать объявления на его стенах, пришел в ярость и накинулся на него. На помощь выскочили какие-то темные личности, и Джэк, весь избитый, был выброшен на улицу. Он с трудом уговорил полисмена арестовать содержателя притона. Дело благодаря настойчивости Джэка попало в суд. Но судья нашел дело «сомнительным», а так как сомнение толкуется в пользу подсудимого, то дело было окончено вничью. Впоследствии удалось выяснить, что судья являлся собственником этого притона. Джэк написал рассказ, в котором описан весь этот случай и который заканчивается воображаемой местью судье. В действительности Джэку отомстить не удалось, хотя он, несмотря на свою обычную незлобивость, дал торжественную клятву так или иначе подловить этого судью. Он послал самому судье, а также разослал во все газеты Оклэнда и Сан-Франциско следующее письмо:

«Когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, но я поймаю вас. Не бойтесь, я поймаю вас на законном основании. Я вовсе не собираюсь подвергать себя уголовной ответственности. Я не знаю вашего прошлого. Но теперь я начинаю интересоваться вашим прошлым и наблюдать за вашим будущим. Когда-нибудь, как-нибудь, но я поймаю вас, и поймаю во всеоружии законов и законного следствия, как полагается цивилизованным людям».

Но Джэк так и умер неотомщенным, если не считать, что страх, в котором с тех пор жил судья, уже сам по себе был местью.

Помимо рассказа «Наказанный Судья», в этот период было написано еще несколько рассказов, вошедших в сборник «Рожденная в ночи», и два рассказа, вошедшие в сборник «Черепахи Тэсмана». Затем Джэк приступил к повести «Зверь из бездны» и написал около дюжины рассказов, группировавшихся вокруг центральной фигуры Смока Беллью.

В тот год Джэк почти не выступал публично. Только в декабре 1910 года он выступил в Сан-Франциско с протестом против смертных казней революционеров в России и Японии.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Плавание на „Ромере“. Глэн-Эллен

После долгих поисков Джэк нашел подходящую для плавания по рекам тридцатифутовую яхту «Ромер». Мы произвели испытание и нашли, что, несмотря на ее зрелый возраст,—по крайней мере сорок лет,—она вполне подходит для нашей цели. 17 октября Джэк, я, Наката и повар Ямамото (социалист, впоследствии водворенный на родину длинными руками микадо) отплыл из Оклэнда по Сан-Францисской бухте.

За два дня до отплытия я нашла на своем рабочем столе голубую книжку романа «День пламенеет» с надписью:

«Сладостная страна, друг-женщина, сладостна и всемогуща страна, избранная мною и тобою, наша Лунная долина.

Твой муж Джэк».

Моя давняя мечта сбылась: я вместе с Джэком побывала в местах его юношеских похождений. Мне кажется, он сам превратился в Джэка юных лет, когда надел синюю фуфайку и надвинул на густые кудри освященную временем фуражку. Его глаза моряка искали и почти не находили перемен. В Валеджо я имела удовольствие присутствовать при встрече Джэка со старыми друзьями—Чарли Леграном, о котором так часто упоминается в рассказах «Рыбачьего патруля», и с почтенным стареньким Франком Французом, добрым, благодушным Франком, забывшим прежние терзания ревности.

Как прекрасно было это первое плаванье на «Ромере». Так же прекрасно, как и второе, и третье, как всякий раз, когда мы, по выражению Джэка, «отправлялись снарковать». Это был новый медовый месяц. Джэк все свободное от управления яхтой и ежедневного писания время посвящал чтению книг по сельскому хозяйству. Он все глубже и глубже погружался в планы развития Ранчо и разведения скота. Когда мы бросали якорь, он уходил в город или селение, знакомился с фермерами, посещал фермы, изучая на практике скотоводство и уход за лошадьми. Он жил полной жизнью, жизнью, полной глубокого интереса и простых развлечений. Отдых для Джэка Лондона заключался не в прекращении работы и мыслей, а в смене их.

По вечерам он удил рыбу и курил, беседуя с Накатой и поваром. В Сакраменто [1]) мы наняли лошадей и отправились осматривать

[1]) Главный город штата Калифорнии, расположенный на левом берегу реки Сакраменто.

рисовые плантации. В Вальнут Грове мы побывали в японско-китайской деревушке, гуляли по узким извилистым улицам, полным игорных и чайных домиков, где женщины, похожие на кукол, под звуки самисенов угощали нас саки и макрелью под соей. А в устье реки Фэзер мы посетили малочисленных потомков гавайских моряков, которые радостным изумлением откликнулись на наше приветствие «алоа», оказали нам самое теплое гостеприимство и закормили нас лососиной и окунями.

В декабре мы уже были дома в Вэк Робине и занялись работой, накопившейся в наше отсутствие.

— Бедная маленькая женщина! Она должна расплачиваться за свои удовольствия,—заметил Джэк, глядя на мой заваленный письмами и записками стол.—Но они стоят того..

Дом Волка продолжал расти. Двадцать тысяч молодых эвкалиптовых деревьев были посажены в дополнение к первым пятнадцати тысячам. Наши планы все расширялись, а деньги все убывали.

— Не бойся,—утешал Джэк.—Смок Беллью поможет нам расплатиться с долгами.

Джэк почему-то считал рассказы о «Смоке Беллью» третьестепенными и писал их исключительно для денег. Между тем они имели громадный успех у широкой публики, и «Космополитэн» позднее обратился к Джэку с просьбой продолжать серию этих рассказов.

Весной к нам снова стали съезжаться гости. Приехала между прочим и Лили Мейд—прежняя любовь Джэка. Джэк и до сих пор не переставал восхищаться ее прекрасными волосами и относился к ней бережно и нежно. Она была очень слаба, и когда ей нездоровилось, Джэк каждый раз собственноручно носил ей кушанья в маленький деревянный домик, специально построенный для гостей.

Мы с Джэком составили печатный пригласительный листок, который вкладывали в письма к знакомым, преимущественно к лицам, связанным с Джэком социалистическими и сельскохозяйственными интересами. В листке было напечатано следующее:

«Мы живем в великолепной местности в двух часах от Сан-Франциско. Сообщение по двум дорогам—Южной Тихоокеанской и Северо-западной Тихоокеанской.

Оба поезда (или суда, согласованные с поездами) отходят из Сан-Франциско около восьми часов утра.

Дневной Южный Тихоокеанский поезд (или судно) отходит из Сан-Франциско около четырех часов.

Если вы приедете после полудня, то нам удобнее, чтобы вы избрали Южную Тихоокеанскую дорогу, так как тогда вы поспеете к ужину. Обычно мы просим наших гостей обедать на судне, если они

приезжают по Северо-западной дороге. Напишите (или телеграфируйте) заранее о вашем приезде, так как мы часто уезжаем из дома. Ваше извещение даст нам возможность встретить вас на станции.

Укажите определенно, каким поездом и по какой дороге вы выезжаете.

Наша жизнь здесь протекает примерно так:

Мы встаем рано и работаем до полудня. Поэтому мы не видим наших гостей до второй половины дня или до вечера. Вы можете завтракать от 7 до 9, а затем мы все встречаемся за обедом в половине первого. Вы найдете это место очень удобным для работы, если у вас есть работа. Если же вы предпочитаете развлекаться, то у нас имеются лошади, седла и экипажи. Летом есть пруд для плаванья.

Мы еще не выстроили собственного дома и живем в маленьком доме возле Ранчо. Для наших друзей выстроены рядом особые маленькие избушки для сна».

Джэк был глубоко, пламенно гостеприимен. Он постоянно покупал простыни и одеяла, и был страшно доволен, когда все постели были заняты. Он одинаково приветливо встречал людей всех званий, и чужих, и знакомых.

В октябре он подарил мне свою книгу «Дорога» со следующей надписью:

«Моя дорогая, моя женщина, чьи деятельные руки я так люблю, руки, которые работали со мной в течение долгих часов, быстрые, прекрасные в музыке, которые вели «Снарк» по трудным переходам и суровым морям, которые не дрожат на тормозе, которые уверенно и крепко держат поводья чистокровной лошади и неукрощенного жеребца; руки, полные любви, когда они проводят по моим волосам и жмут мою руку крепким дружеским рукопожатием, которые успокаивают так, как только они одни на свете умеют успокоить.

Муж и возлюбленный».

Время и кошелек Джэка подвергались постоянным нападениям, и он в конце концов вынужден был заготовить особые формы писем, которые рассылались в ответ на невыполнимые просьбы. Социалистам, предлагавшим ему посвятить себя исключительно пропаганде, посылался следующий текст:

«Дорогой товарищ! К несчастью, я опоздал с работой по договорам на полтора года. В настоящее время мне совершенно невозможно браться за новую работу.

Ваш во имя революции Джэк Лондон».

Когда требования от различных библиотек на произведения Джэка становились чрезмерно настойчивыми, посылался такой текст:

«Дорогой сэр, не одна и не две библиотеки просят меня прислать мои произведения, а столько, что я просто по материальным соображениям не в состоянии удовлетворить эти просьбы.

Искренно преданный Джэк Лондон».

Бесчисленным начинающим писателям,—и молодым, и старым, рукописи которых грудами скапливались на ночном столике Джэка,—посылалось, в случае полной безнадежности, письмо приблизительно такого содержания:

«Письмо к молодому писателю.

В ответ на ваше недавнее письмо, и с приложением рукописи.

Прежде всего позвольте сказать, что мне, как психологу и как человеку, прошедшему огонь и воду, ваша рукопись по психологии и по взглядам понравилась. Но, говоря честно и откровенно, она не понравилась мне с точки зрения литературного очарования и ценности. Ваш труд прежде всего имеет лишь очень незначительную литературную ценность и совсем не обладает литературным очарованием. Вы нашли, что можете сказать нечто не безынтересное для других, но это еще не освобождает вас от старания изложить это нечто наилучшим способом и в наилучшей форме. А между тем и форма и приемы у вас в пренебрежении.

По поводу последнего: что можно ожидать от двадцатилетнего юноши, не обладающего опытом в смысле знания приемов и формы? Боже мой! Мальчик! Ведь вам пришлось бы потратить лет пять на выучку, чтобы сделаться искусным кузнецом. Решитесь ли вы утверждать, что потратили,—нет, даже не пять лет, а пять месяцев—непрерывного труда на изучение орудий работы профессионального писателя, который может продавать свои труды в журналы и получать за это хорошие суммы? Конечно же, не посмеете. Вы этого не делали. Теперь вы должны понять, что тот факт, что успевающие писатели получают целые состояния, объясняется единственно тем, что лишь очень немногие из тех, кто хочет писать, становятся настоящими, имеющими успех писателями. Если требуется пять лет работы на то, чтобы стать хорошим кузнецом, то сколько же лет работы,—и работы интенсивной, по девятнадцати часов в сутки, так что один год считается за пять,—сколько лет такого труда на изучение приемов и форм, искусства и ремесла надо, по-вашему, потратить человеку, обладающему природным талантом и имеющему что сказать, чтобы достичь положения в литературном мире, где он будет получать по тысяче долларов в неделю?

Думаю, вы поняли, к чему я веду речь? Человек, который запряжет себя в работу для того, чтобы стать светилом и получать по тысяче долларов в неделю, должен пропорционально этому работать более упорно, чем тот, кто собирается стать светляком и получать двадцать долларов в неделю. Единственная причина, по которой на свете больше преуспевающих кузнецов, чем преуспевающих писателей, это то, что кузнецом стать гораздо легче, чем преуспевающим писателем, и для этого не требуется такой упорной работы.

Не может быть, чтобы вы, в свои двадцать лет, успели проделать всю ту писательскую работу, которая должна принести вам успех. Вы еще не начинали своего учения. Доказательство в том, что вы дерзнули написать эту вещь—«Дневник того, кто должен умереть». Если вы изучали то, что печатается в журналах, вы нашли бы, что ваш коротенький рассказ принадлежит к типу вещей, которые никогда там не печатаются.

Если вы собираетесь писать для успеха и для денег, то вы должны поставлять на рынок доброкачественные вещи. Но ваш короткий рассказ недоброкачественен, и если бы вы посвятили дюжину вечеров хождению по читальням и чтению рассказов, печатаемых в текущих журналах, вы заранее знали бы, что ваш рассказ недоброкачественен.

Есть только один способ приступить к началу, это—начать. Начать с жестокой работы, терпеливо, приготовившись ко всем разочарованиям, которые постигли Мартина Идэна, прежде чем он добился успеха, ко всем разочарованиям, которые постигли и меня, прежде чем я достиг успеха, потому что я придал вымышленному характеру, Мартину Идэну, весь мой собственный писательский опыт.

Джэк Лондон».

Вот еще одно письмо по тому же поводу:

«Каждый раз, как писатель высказывает правду по поводу рукописи (или книги) своему другу-автору, он теряет этого друга или видит, как дружба начинает блекнуть, вянуть и превращается в призрак того, что было раньше. Каждый раз, как писатель говорит правду о рукописи (или о книге) незнакомому автору, он приобретает врага.

Если писатель любит своего друга и боится потерять его, он солжет этому другу. А какой смысл принуждать себя лгать незнакомым людям? Но, с другой стороны, какой смысл наживать себе врагов? Далее, известный писатель обычно бывает завален просьбами от незнакомых людей прочесть их труды и высказать свое суждение. Собственно говоря, это задача какого-нибудь литературного бюро. Если писатель будет настолько безумен, что превратится в литературное бюро, он перестанет быть писателем. У него не останется

времени на то, чтобы писать. Затем, взяв на себя роль благотворительного литературного бюро, он не будет получать вознаграждения. Следовательно, он очень скоро окажется банкротом и вынужден будет жить из милости, на содержании у своих друзей (если только он не успеет их всех превратить во врагов, высказав им правду), а жена и дети писателя вступят на печальный путь, ведущий к приютам и богадельням. Симпатия к пробивающемуся незнакомцу— очень хорошее дело. Но таких пробивающихся незнакомцев имеется что-то в роде нескольких миллионов. Ни одна симпатия не может быть использована дальше известных пределов. Симпатия начинается с дома. И писатель, конечно, скорее допустит, чтобы бесчисленные незнакомцы продолжали пребывать в неизвестности, чем чтобы близкие и дорогие ему люди занимали места в богадельнях.

Искренно ваш Джэк Лондон».

В исключительных случаях Джэк посылал копии с «Письма к неудачному литератору» Ле Галиенна—документ, не оставляющий никаких сомнений, и к которому совершенно нечего добавить. Но просьбы о деньгах почти никогда не оставлялись Джэком без ответа. Конечно, он удовлетворял их с известным разбором.

В середине апреля мы снова отправились на «Ромере» в тридцатидневное плаванье. Хозяйство осталось на попечении Элизы Шепард, жившей с нами. Ей же был поручен надзор за постройкой дома, которая продолжала подвигаться. Фруктовый сад и виноградники разрастались и образовали амфитеатр вокруг растущей красной скалы нашего будущего замка.

Это плаванье и жизнь на свежем воздухе были необходимы для здоровья Джэка. В течение зимы он все время был нездоров. Одна жестокая простуда сменялась у него другой. Нервы его были расстроены постоянными ячменями на глазах и зубной болью.

Так как дом должен был быть готов еще не скоро, мы с Джэком осмотрели старый заброшенный коттедж на только-что купленных двенадцати акрах земли. Это был одноэтажный дом в шесть комнат, расположенный рядом с постройкой, и мы решили перебраться в него, чтобы быть поближе к Ранчо, пока не будет окончен Дом Волка. К коттеджу примыкало большое каменное помещение, соединенное с ним крытым переходом. Там мы устроили столовую. Рабочая и спальная комната Джэка была на юго-восток. К его большой кровати был приделан особый механизм, поднимавший матрац у изголовья, так что он мог по желанию читать или писать ночью в полусидячем положении. Наката устроил особый прибор, по которому Джэк давал знать, в котором часу он желает встать. Обычно он завтракал в шесть, а вставал в девять. Во время одевания Джэк и Наката обсу-

ждали различные вопросы риторики, истории и т. п., или рассуждали на какие-нибудь современные темы. Помимо этих утренних разговоров, Джэк вообще посвящал довольно много времени образованию Накаты.

На обязанности Накаты лежало приготовление ночного столика для Джэка. Это был целый строго установленный церемониал. На стол клалось множество остро очиненных карандашей, длинные и короткие листки бумаги, несколько пачек папирос, подушечка, утыканная булавками, целые ряды аккуратно подобранных по числам журналов и газет, и ставилось не менее трех бутылок какого-нибудь напитка— фруктовой воды, молока или просто холодной воды.

Эта комната была единственная настоящая рабочая комната Джэка. В ней он жил, в ней и умер. В этот домик мы переехали по возвращении из путешествия в экипаже, которое началось в начале июня и закончилось в начале сентября 1911 года.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Путешествие в экипаже. Нью-Йорк. Вокруг мыса Горн

Мы отправились в экипаже, запряженном четверкой, из Глэн-Эллена к побережью и к северу до Бандона в Орегоне [1]), оттуда в глубь страны, до Медфорда и Ашланда и затем обратно к югу, сделав всего полторы тысячи миль, примерно, по тридцать миль в день.

Это путешествие описано в рассказе «Четыре лошади и моряк», а также, как путешествие в фургоне, в «Лунной Долине».

Мы не разбивали лагеря. Мы останавливались, где хотели. Наката приготовлял нам еду и в жаркие дни раскидывал над нами большой коричневый полог. Я переписывала рукописи Джэка на маленькой машинке, а Джэк писал, правил и заботился обо всем. Глядя, как он наслаждается юностью и великолепием летней природы, мне казалось, что он правил не лошадьми, а звездами. И действительно, в то время он правил звездами, читал и писал о них.

Но бывали дни, когда я улавливала на его лице какое-то выражение, которого не было до смерти нашего ребенка. Повидимому, даже я тогда не понимала, как эта смерть повлияла на него. В такие дни, по вечерам, когда мы доезжали до намеченной цели, после того, как лошади были убраны, а мы устроены в гостинице или на ферме, Джэк отправлялся блуждать по улицам, ища развлечений. Развлечения состояли в новых знакомствах, мужских разговорах, лишних двух стаканчиках выпивки. После этого он возвращался ко мне с осо-

---

[1]) Один из западных штатов Сев. Америки.

бым блеском в глазах и несколько лихорадочно рассказывал о том, что он видел и слышал, с повышенным энтузиазмом толковал об оленьих и лосьих рогах или о медвежьей шкуре, которую должны были принести на мое усмотрение.

В течение этого путешествия газеты, как и всегда, не оставляли нас своим вниманием. Изобретательные репортеры выдумывали одну утку за другой. Один сообщал, что Джэк Лондон предпочитает в августе голубые пижамы, весной же носит розовые в зеленую полоску; другой писал о том, что Джэк на рыбной ловле в штате Вашингтон (где мы вовсе и не были) ловил форелей на бриллиантовую булавку для галстука. Третий изобличал Джэка в том, что он затеял драку в кабаке, и т. д., и т. д.

— Что делать несчастному?—рассуждал Джэк.—Опровержениям здесь нет места. Если вы обратитесь к ним, они высмеют вас. И потом, нельзя же тратить время на опровержение всей этой ерунды.

6 сентября мы вернулись домой, счастливые, отдохнувшие, насыщенные всем, что может дать любовь, дружба, отвага и интерес к жизни. Жизнь на Ранчо была в разгаре. Воздух был полон голосами гостей.

— Вот это я люблю,—говорил иногда Джэк, останавливаясь посреди работы.—Мы вместе работаем, а они в это время могут делать все, что им вздумается. Посмотри, вон изгородь с привязанными к ней оседланными, ожидающими лошадьми. Вон двое влюбленных... а вот женатые... А другие играют в карты в столовой, и я присоединюсь к ним, как только кончу это письмо. И если ты ничего не имеешь против, друг,—тут его глаза принимают умоляющее выражение,—ты примешь людей, которые придут к обеду, а я успею сразиться с Георгом и отомстить ему за свое вчерашнее поражение. Послушай, как девочки щебечут под фиговым деревом. А кто это там упражняется на пианино? Друг, понимаешь ли ты, как я все это люблю?

В те дни, по выражению одного из наших друзей, «дом был насыщен нашей нежностью друг к другу».

Мы обедали в половине первого, так как это время было самым подходящим и в отношении работы и в смысле общей жизни Ранчо. В полдень Наката приносил мне почту в большом кожаном мешке, и за полчаса до обеда я разбирала ее. Джэк успевал проглядеть газеты, прочесть письма и дать указания относительно ответов. Я всегда старалась переписать обычные десять страниц его рукописи до первого удара гонга. Этот гонг был древний вогнутый диск из меди и бронзы, вывезенный Джэком из Кореи. Обычно я, по просьбе

Джэка, являлась к обеду минута в минуту, он же работал до последнего мгновения.

Я уверена, что у всех, бывавших на Ранчо, сохранилась память о безбородом патриархе, всегда приветливом и гостеприимном. За обедом он читал газетные новости, рассказывал о полученных письмах или с обычным своим энтузиазмом бурно спорил на какую-нибудь волнующую его тему. Он никогда, ни физически, ни духовно, не оставался без дела. Он поспевал за всем,—и за игрой, и за работой, и за мыслью. Улыбаясь, лицо его стягивалось в морщины—морщины смеха и мысли. У него никогда не было седых волос, и на его руках—это было его гордостью—никогда не вздувались вены. «Человек молод, насколько молоды его артерии»,—всегда говорил он. Но обычно самое большое впечатление на людей производили его глаза. «Сталь и роса...» «Нежность и скрытая жестокость...» «Они как-будто скрывают глубокие и ужасные тайны...» «Такие глаза, наверное, часто встречались, когда мир был молод...» «Живые, как-будто для него мир—постоянное поле битвы...» Это отзывы самых разнообразных людей.

К концу обеда Наката клал рядом со мной блокнот и карандаш, так как на моей обязанности лежало высчитывание нужного количества лошадей, седел, уздечек, верховых костюмов, а в купальный сезон и купальных костюмов для временных гостей—от двух до дюжины. Иногда мы заказывали упряжку четверкой, и Джэк в мягкой белой рубашке и штанах цвета хаки, шумный, веселый, показывал красоты цветущей долины восхищенным и испуганным быстрой ездой мужчинам и детям.

В тот год нами был впервые принят на службу человек, выпущенный из государственной исправительной тюрьмы в Сен-Квентине. Принципы Джэка, а также его собственный опыт пробудили в нем желание давать работу тем, кто имел несчастье попасть в эти громадные серые здания, которые мы так часто видели с палубы «Ромера». Такие служащие сменялись у нас много лет под ряд. По вопросу об улучшении тюремных условий Джэк писал: «Я мало верю в тюремные реформы. Тюрьмы только признаки. Пытаясь реформировать тюрьмы, вы пытаетесь лечить признаки болезни. Болезнь остается».

Среди наших гостей был Эд Морель. Его собственный поразительный опыт, а также близкое знакомство с такими знаменитыми, стоящими вне закона людьми, как Зонтаг и Эванс, послужили Джэку источником и дали ему сюжет для романа «Межзвездный скиталец». Помню, как Джэк был потрясен, с каким глубоким волнением он рассказывал мне о рубцах, оставленных смирительной курткой на спине Мореля.

В 1911 году вышли четыре книги: «Когда боги смеются», «Приключение», «Путешествие на «Снарке» и «Сказки Южных морей».

Работы было много. Каждая минута бодрствования была заполнена. Трудность заключалась в том, чтобы найти время для сна. И все же мы считали этот год каким-то неполным, так как никуда не уезжали далеко от дома. В моем дневнике есть запись: «Друг работает по вечерам. Он страшно занят. Моя голова устает, когда я думаю обо всем, что должно уместиться в его голове».

24 декабря мы выехали в Нью-Йорк, где и встретили Новый Год.

— А потом,—объявил Джэк,—мы отправимся вокруг мыса Горн.

Он также объявил мне, что намерен вступить в решительный бой с алкоголем и что, когда мы отправимся вокруг мыса Горна, он навсегда распрощается с «Джоном Ячменным Зерном». Я могла только приветствовать такое решение. Правда, Джэк не напивался пьян так, как напиваются многие мужчины.

Алкоголь являлся для него лишь стимулом, повышающим активность его и без того сверхактивного мозга. Но в припадке «белой логики» он бывал смел, готов на спор, безрассуден телом и душой, сметал все перед собой и бывал нетерпим к мужчинам и женщинам, не понимавшим его путей. Такое ненормальное состояние в соединении с общей подавленностью, которую он всегда испытывал в Нью-Йорке, становилось опасным, и я день за днем с нетерпением поглядывала на календарь: когда же кончится наше пребывание в Нью-Йорке?

— Нью-Йорк, это—дикий мальстрем,—говорил Джэк.—Рим в самые его дикие дни не может итти в сравнение с этим городом. Здесь произвести впечатление важнее, чем сделать доброе дело...

После долгих, долгих лет я вспомнила, как он однажды, в начале нашей семейной жизни, сказал мне:

— Не забывай, чем я был и через что я прошел. Может-быть,— заметь, я говорю—может-быть,—настанут такие времена, когда искушение «пуститься по ветру» хотя бы на день, хотя бы на час снова поднимет голову.

В эту зиму он предложил однажды и мне принять участие в «стремлении по ветру».

— Если у тебя хватит смелости, мы можем «нестись по ветру» вместе. Это могло бы быть страшно забавно. Представь такую штуку: мы сядем в поезд подземной дороги и доедем до самого конца. Потом выйдем, пойдем в каком угодно направлении и позвоним у двери любого приглянувшегося нам дома. Затем, когда нам откроют двери, мы приветливо скажем «Добрый вечер» и войдем, все время разговаривая так, как будто мы старые друзья тех, кто там живет. Конечно, они подумают, что мы сумасшедшие, и чем мы будем проще

и фамильярнее, тем больше они будут волноваться. А потом пошлют за полицией. Но что толку рассказывать—ведь ты не согласишься.

Я считаю чудом, что с ним не случилось несчастья. Однажды, сидя в парикмахерской, он заметил, что бривший его парикмахер дрожит, как в лихорадке.

— В чем дело?—ласково спросил Джэк.—Весело провели ночь?

— Несколько ночей,—ответил парикмахер, стуча зубами и осторожно оглядываясь по сторонам.—Не знаю, как мне удастся побрить вас или кого другого.

И Джэк, сидя под вихляющейся бритвой парикмахера и понимая, что парикмахеру угрожает опасность потерять работу, посоветовал ему «как-нибудь справиться», а сам он шума поднимать не будет.

— Но, голубчик,—воскликнула я,—ведь он мог перерезать тебе горло!

— Ну,—отвечал Джэк,—он был в ужасном состоянии. Не мог же я встать и уйти, выдав его всей мастерской! Уверяю тебя, мне это не доставило ни малейшего удовольствия.

Не знаю, приходило ли ему в голову сравнить свой поступок с поступком Стивенсона, который принял у прокаженного полувыкуренную папиросу и докурил ее, чтобы не обидеть его. Джэк часто рассказывал этот случай, как последний пример своего собственного представления об «игре».

В плаванье вокруг мыса Горн мы отправились вчетвером: Джэк, я, Наката и трехмесячный щенок фокстерьер Поссум. Поссум фигурирует в «Лунной Долине», которая была закончена во время его плаванья, а также в «Мятеже на «Эльсиноре».

Во время плаванья Джэк делал многочисленные заметки для «Джона Ячменного Зерна» и написал короткий морской рассказ «Горшок смолы».

Мы вышли в море при сильном ледяном ветре. Но я не жаловалась на холод. Для меня не существовало ничего, кроме сознания, что земля осталась позади и что мне предстоят долгие месяцы блаженного морского житья, с его очищающей простотой. За все эти сорок восемь дней плаванья мы только раз видели землю. И это, действительно, был конец земли, иной земной поверхности—мыс Горн и вдали материк и остров. Сквозь воду и туман показался даже Диего Рамирец, мрачный каменный пик на юге континента. Хотя мы с трудом удерживали курс на запад, и нас время от времени уносило назад, мы все же сделали переход «от 50 до 50» в пятнадцать дней,—с такой быстротой, о которой лучшие моряки не смеют и мечтать.

Мы проводили на палубе по меньшей мере три часа в день: Джэк читал вслух, я вышивала. Затем мы боксировали, играли с Поссу-

мом или, захватив книги и вышивку, для моциона взбирались на главную мачту и проводили чудеснейшие часы между небом и «хмурым морем».

Когда мы обогнули мыс Горн, Джэк принялся за ловлю альбатросов. У меня до сих пор хранятся шкурки в двенадцать футов длины.

Дома меня ожидало большое огорчение. Через три месяца после возвращения Джэк в разговоре за столом заявил, что будет продолжать пить понемногу, с друзьями.

— Я впервые в жизни в течение месяцев был свободен от алкоголя. Алкоголь совершенно изгнан из моего организма. И теперь— тоже впервые в жизни—я поставил себя в такие условия, что могу пересмотреть весь вопрос об алкоголе с точки зрения моего организма и моего мозга. К величайшему своему удовлетворению я узнал, что я не алкоголик в собственном смысле этого слова. И, следовательно, когда я на суше, я буду пить так, как пьете вы, случайно, свободно, не потому, чтобы алкоголь был необходим для поддержания моего физического состояния, но потому, что мне так хочется, может-быть, для социальных целей. Мне нечего бояться, что он покорит меня.

Я знала, что он говорит с убеждением, что его решения по этому вопросу вполне честны, но все же я чувствовала, я знала, что он не сможет осуществить свой идеальный план.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дурной год (1913)

Джэк обычно называл 1913 год «дурным годом», хотя он принес нам не только одни огорчения, но и много хорошего. Джэку казалось, что в этот год случилось все, что только могло огорчить его. Прежде всего умерла одна женщина, его давнишний друг, которую он в последние годы видел очень редко. Затем его племянник, сын Элизы, Ирвинг Шепард пролежал у нас в тяжелой болезни несколько месяцев. Самому Джэку пришлось сделать операцию аппендицита. Одна из самых дорогих кобыл была найдена застреленной на пастбище. Весной было очень мало дождя. «Ложная весна» вызвала преждевременное цветение и слишком раннее появление плодов, которые все были побиты морозом. Но как будто всего этого было мало,—Калифорния была наводнена кузнечиками, которые повредили даже маленькие эвкалиптовые деревья.

— Очевидно, бог не любит фермеров,—вздыхал Джэк в унисон со своей обескураженной сестрой.—Взгляните на это прекрасное полу-

взошедшее кукурузное поле, теперь спаленное, иссушенное солнцем и северным ветром.

В довершение всего один кинематографический делец возбудил против Джэка дело. Вопрос был в том, имеет ли Джэк авторское право на свои произведения. Джэк вложил в борьбу всю энергию, на которую был способен, так как его поражение было бы поражением всех американских писателей. Его поддерживала в этой борьбе Американская лига писателей. Дело кончилось ничем, так как делец был настолько, очевидно, неправ, что судья отказал ему в судопроизводстве; но волнений мы пережили много. Во время подготовки к бою Джэк временами приходил в такое неистовство, что я начинала бояться за него.

— Если они подловят меня,—сказал он как-то,—знай, мы потеряем все, что имеем, все, даже Ранчо. Но это не беда: у меня остается моя творческая способность. Мы купим большое судно, в роде тех, что мы видели в прошлом году в Аламеде, возьмем с собой твое большое пианино и навсегда уедем из этой страны, где свора театральных мошенников и крючкотворов-законников может отнять у человека весь его жизненный труд. Пошлем их всех к чорту. Что же, мы можем даже принимать грузы тут и там, по всему свету, чтобы судно окупило себя. Что ты на это скажешь друг-женщина?

Что я на это скажу? Мой ответ был короток и ясен. Гости в Ранчо могут подтвердить, что Джэк был обрадован и восхищен моим отношением к делу в этот мрачный период.

— Поверите ли,—восклицал он,—она, кажется, разочарована, что нам не пришлось пуститься в вечное плаванье!

Я действительно была разочарована. Ведь я знала, насколько он был спокойнее и радостнее душой на море, вдали от неприятностей и забот.

Но все неприятности стушевались и побледнели в его глазах, когда я внезапно тяжело заболела. Он забросил и Ранчо, и литературную работу, и множество интересовавших его дел.

— Друг-женщина!—сказал он мне.—Я всегда подозревал, что у меня есть сердце. Но теперь я знаю это. Я чувствую себя самым бодрым человеком на свете—у меня есть сердце. Когда я столкнулся лицом к лицу с возможностью потерять тебя, это сердце поднялось мне прямо в горло. Но я проглотил его и заставил спуститься. Право, я чуть не умер.

А своему близкому другу он признался:

— Если что-нибудь случится с Чармиан, я покончу с собой. Не стану и пытаться жить без нее.

В январе 1913 года, во время плаванья на «Ромере», Джэк приступил к первой главе «Мятежа на «Эльсиноре». Роман был кончен в августе. Эта работа очень захватила Джэка.

Чтобы облегчить работу нам обоим, Джэк приобрел диктофон. Сначала я была недовольна, потому что это нововведение нарушало уют наших рабочих часов. Но потом я примирилась с этим, тем более, что переписывая то, что Джэк продиктовал, я в конце каждого цилиндра получала от него приветствие.

Со страстностью и нетерпением всякого настоящего строителя Джэк заложил все, что только было возможно, даже коттедж, выстроенный для Элизы, чтобы только достроить к зиме Дом Волка. Постройка быстро приближалась к концу. 22 августа мы с Джэком осматривали дом и восхищались им. Джэк не находил слов для похвал. Могли ли мы думать, что шесть часов спустя все это будет объято пламенем!

Пожар вспыхнул ночью. Услышав голоса, я проснулась и кинулась к Джэку. У его постели уже стояла Элиза. В направлении Дома Волка, в полумиле от нас, подымались клубы дыма и пламя. Мы сейчас же заложили экипаж и, оставив Накату сторожить дом, отправились к Ранчо.

— К чему спешить?—спокойно сказал Джэк.—Если загорелся большой дом, ничто не в силах остановить огонь.

Вся окрестность сбежалась к дому Джэка. Общее сочувствие было очень сильно и, мне кажется, если бы в этот момент был обнаружен преступник или преступники, поджегшие дом, с ними быстро было бы покончено. Дом пылал. Великолепная красная черепичная крыша уже провалилась. Единственно, что оставалось делать, это по возможности отстаивать прилегающий к дому лес. Джэк спокойно расхаживал кругом и отдавал распоряжения.

— Что же вы не плачете, не волнуетесь, вообще ничего не проявляете?—спросил кто-то из соседей.—Как будто вы не понимаете, что с вами случилось!

— К чему?—повторил Джэк.—Это не восстановит дома. А его можно восстановить.

Джэк все время сохранял спокойный, сдержанный вид, но позже, в четыре часа утра, дома, когда напряжение несколько ослабилось, он рыдал, как ребенок, над жестоким, бессмысленным разрушением дома, его мечты—его «Дома Волка».

— Дело не в денежном убытке, хотя это тоже довольно серьезно, особенно в настоящее время,—говорил он,—самое ужасное, это—бессмысленное уничтожение такой красоты.

Мы так никогда и не узнали, кто был преступник, поджегший дом. Я чуть было не написала «убийца», потому что потеря дома

действительно что-то убила в Джэке. Он никогда не мог примириться с глубоким внутренним значением этой потери. Слишком это было жестоко и бессмысленно. Совершенно незнакомые нам люди—и не только женщины—плакали, глядя на пожарище, и кричали: «Бедный Джэк!» Старший каменщик казался отцом, потерявшим ребенка. Рабочие были в отчаянии.

Пожар произошел в пятницу. В понедельник Джэк приступил к постройке забора из серого камня вокруг дымящихся стен, получивших отныне название «Руин».

Многие социалисты, друзья Джэка, не раз обращались ко мне с вопросом: зачем он затеял постройку такого большого дома. Как ответить на это? Джэк не умел довольствоваться маленьким масштабом. Все, что он делал, он делал широко. Он любил большие крепкие вещи, любил простор и прочность. Маленький коттеджик, в котором мы жили, совершенно не соответствовал нашим потребностям. Такому неутомимому, систематичному работнику, как Джэк, нужна была подходящая обстановка для работы, ему надо было иметь все необходимое под рукой. Между тем две трети его библиотеки пришлось поместить в сарае, в полумиле от дома, что, конечно, было крайне неудобно. В большом доме мы предполагали отвести под библиотеку особое крыло. Над библиотекой должна была помещаться рабочая комната Джэка. Кроме того, Джэк мечтал принимать в большом доме друзей, знакомых, случайных странников, бродяг,— всех желающих принять его широкое и щедрое гостеприимство. Ему нужен был простор во всем, что он делал, нужен был размах в писании, в приключениях, в фермерстве. Фермерство поглощало у него все больше и больше времени, стало его любимым делом.

— Когда я вернусь в молчание,—говорил он,—я хочу знать, что оставил после себя клочок земли, который, после тщетных попыток других, сумел сделать плодородным.... Это ведь не только для нас. Кто придет после нас, друг-женщина? Кто пожнет, что я посеял в этой всемогущей прекрасной стране? И ты, и я—мы будем забыты. Другие придут и уйдут так же, как ушли мы, и еще другие займут их место, и каждый будет говорить своей возлюбленной, как я говорю тебе: жизнь прекрасна.

После потери дома Джэк твердо решил не поддаваться унынию и еще более деятельно занялся Ранчо. И так же, как раньше он любил, чтобы его называли моряком, шкипером, капитаном за его великую любовь к морю, так теперь ему нравилось, когда его называли «Фермер». Его главным желанием было превратить истощенную, одичавшую местность в плодородную и цветущую.

Спокойствие и тишина Ранчо теперь сменились непрерывным гулом. Далекие взрывы динамита говорили о новой эре в этой дремот-

ной, древней стране. Джэк приобрел несколько чистокровных лошадей и поместил их в образцовой каменной конюшне, где над каждым стойлом висел особый листок с правилами ухода за лошадьми.

Новый жизненный интерес Джэка—улучшение фермерства в Сономе—настолько захватил его, что он даже несколько забросил писание и посвятил себя целиком сельскохозяйственным опытам. Его достижения заинтересовали прессу—не только газетных репортеров, но и специальную прессу. Один сельскохозяйственный журнал заявил даже, что «идеи Джэка Лондона о профессии фермера принесут миру больше добра, чем все, что он когда-либо написал». Сам Джэк на запросы отвечал следующее:

— Когда я купил первые сто двадцать девять акров земли возле Глэн-Эллена девять лет тому назад, я ничего не знал о сельском хозяйстве. Почва была совершенно истощена. Мои соседи почти все принадлежали к тому типу, что и человек, сказавший мне: «Вы не научите меня ничему новому в деле фермерства. Я выжал все, что было возможно, из трех ферм»,—замечание столь же мудрое, как и слова женщины, заявившей, что она знает все, что надо знать об уходе за детьми, так как она похоронила пятерых.

Я решил ничего не брать от Ранчо. Я вкладывал в него все, что получал. Я первый в этой местности приобрел распределитель навоза. Я начал покупать племенной скот, и теперь я продаю девятимесячную кровную свинью за сорок долларов. Старозаветный фермер удивляется и не может понять, почему ему приходится кормить жалкую свинью в течение двух лет, а потом продавать ее меньше, чем за сорок долларов.

Джэк выстроил первый в Калифорнии бетонный силос [1]) двенадцати футов в диаметре и пятидесяти футов в вышину. Он заложил для этого кукурузу и даже бросил писанье, чтобы принять участие в увлекательной работе—помочь пускать в резку. Он постоянно был в восторге:

— На холм не было доставлено ничего, кроме бетона,—ликовал он.—Я собственными машинами раздробил каменные глыбы, добытые моими собственными орудиями и динамитом и привезенные моими собственными вьючными животными. Мой работник сделал известковый раствор. Мои десятидюймовые черепичные дренажные трубы для вон тех полей люцерны сделаны здесь же на месте. И все это образует дамбу в устье этого единственного углубления горы

---

[1]) Хранилища особенным образом заготовляемых на зиму водянистых кормов для скота. Обычно, силос представляет из себя яму с вертикальными стенками, выложенными кирпичем на цементе. Иногда строят и над землей, так называемые „силосы-кучи“.

для того, чтобы удержать семь миллионов галлонов воды для ирригации. А какое давление для пожарной охраны!

Этот резервуар действительно оказал громадное влияние на улучшение посевов, а полуискусственное озеро, образовавшееся на лугу у опушки леса, было чрезвычайно живописно.

Свиной хлев, изобретенный Джэком, прославился на весь мир. Он был построен из камня и бетона; в центре его возвышалась башня, где приготовлялся и откуда распределялся по различным стойлам корм. Затем Джэк увлекался идеей восстановления истощенных кукурузных полей системой террас, или, по его выражению, «фермерством по уровням». По этой системе все склоны холмов, истощенные неправильной обработкой, могли быть превращены в цветущие поля. Двенадцать акров были засажены французскими сливами. На месте старых запущенных виноградников был посеян ячмень вперемежку с викой. Постепенно на Ранчо стали появляться куры, гуси, фазаны, утки. Появились и ульи. Когда деревенский кузнец ликвидировал свою кузницу, Джэк скупил у него все оборудование, перенес на Ранчо и пригласил двух постоянных кузнецов. По этому поводу местная газета обратилась к Джэку со следующим призывом: «Добрый малый Джэк! Почему бы вам не приехать еще раз на своей фуре и не забрать с собой на Ранчо весь Глэн-Эллен?

Действительно, наш Ранчо был «Ранчо Добрых Намерений», как называл его Джэк.

В сентябре мы отправились на ярмарку в Сакраменто. А в середине октября мы радостно отчалили на старом, добром, вечно дорогом «Ромере».

— Несмотря на все, что случилось с нами в этом году,—заметил Джэк, стоя на палубе и глядя на небо и на воду спокойными, уверенными глазами,—мне все кажется теперь, что этот год был одним из самых счастливых.

А утром во время работы он внезапно закричал:

— Я буду жить сто лет!

— Почему?—спросила я.

— Потому, что я так хочу!

Для Джэка и для меня проводы старого года и встреча нового года на море были верхом блаженства. Все шло хорошо. Но по приезде в Сан-Рафаэль Джэку внезапно пришлось уехать в Нью-Йорк по делам. Дело шло о театральных правах на его роман. Джэк дал одному из своих друзей право на переделку романа в пьесу, тот заключил контракт с театральным агентом, взял под контракт деньги и в течение нескольких лет ничего не сделал. Теперь театральный агент соглашался на расторжение договора при неустойке в сорок тысяч долларов—сумма, конечно, непомерная. Джэк был

заинтересован в расторжении договора, так как к тому времени возник вопрос об использовании этого романа для кино. Джэк потратил месяц на то, чтобы уломать «разбойника». В конце концов ему пришлось прибегнуть к тому, что он называл «актерством», для того, чтобы притти к какому-нибудь более или менее приемлемому исходу.

Расскажу о том, как Джэк заставил «грабителя» подписать приемлемое условие. Тот без конца оттягивал дело, то соглашался, то брал свои слова обратно, одним словом, совершенно истощил терпение Джэка. Тогда Джэк решил заполучить его к себе и для этого сослался на нездоровье и на скорый отъезд. Театральный агент, правда, нехотя, должен был согласиться приехать в гостиницу к Джэку. Тогда Джэк начал подготовляться к представлению.

— Если бы ты меня видела!—хохотал он.—У меня был вид, способный внушить страх божий любому жулику этого сорта. Я в течение двух дней нарочно отпускал бороду, ты ведь знаешь, какая у меня черная борода. Затем я расстегнул ворот пижамы так, чтобы видны были волосы на груди, вынул вставные зубы, взлохматил волосы и надел на глаза абажур. Я был не слишком красив. Услышав шаги, я уселся в постели и поставил кресло спиной к двери, чтобы ему трудно было выбраться, если бы он захотел бежать. Все это выглядит прескверно, я вижу по твоему лицу, но подумай, ведь я сражался с ним в течение целых недель! Он даже соглашался на мои условия и обещал прислать мне бумагу о расторжении договора, но потом мне пришлось ждать целые долгие дни, не получая от него ни слова и откладывая возвращение домой. Наконец я твердо решил призвать его к порядку хотя бы таким фантастическим способом. Боже мой! Это было в десять раз более законно, чем все его грязные приемы.

Но вернемся к делу. Он вошел, стараясь не выказывать удивления при виде того, что я собою представлял. Темная растительность на лице и шее, волосы на груди, свирепая беззубая улыбка,—я был ужасен. Он держал документ в руке. Я взял его и прочел. Затем я некоторое время задумчиво смотрел то на один, то на другой кулак, я продирал ими глаза. Я разговаривал с ним и незаметно наблюдал за его жалким и испуганным лицом и душою. Он отдал бы все за то, чтобы не сидеть в этом кресле. Затем я пересмотрел все дело, повторил все, о чем мы говорили во время наших многочисленных свиданий, и он в конце концов согласился на одну десятую своего первоначального требования. Он сказал: «Я сейчас отправлюсь прямо к себе в контору и тотчас же пришлю вам соглашение». Но я ждал этого и решил не дать ему улизнуть еще раз. Я сказал: «Вы подпишете эту бумагу сейчас же, вон на том столе, иначе вы не

уйдете из этой комнаты». А когда он запротестовал, я встал, сжимая кулаки, и начал рассказывать ему, что я с ним сделаю, если он откажется. Он взглянул на телефон, на дверь и увидел, что попал именно в то положение, какого я желал. Он подписал расторжение, и оно осталось у меня... И теперь мне придется в течение долгих месяцев выплачивать ему деньги...

Когда мы вернулись домой, нас ожидали нерадостные вести: лучший коротконогий бык сломал себе шею, и почти все породистые честерские свиньи погибли от холеры.

— Мне как будто суждено все, что я делаю, делать дважды,— вздохнул Джэк.

По возвращении он приступил к новому роману: «Маленькая хозяйка Большого Дома», в котором собирался изложить все свои взгляды на сельское хозяйство и скотоводство. А затем, имея в виду длинное путешествие, он повел переговоры с одним восточным еженедельным журналом относительно серии статей со всего мира. Переговоры шли о том, чтобы начать с Японии. Я была страшно рада при мысли о том, что моя давнишняя мечта осуществится, и я вместе с Джэком попаду на эти сказочные острова. Но весной 1914 года начались беспорядки в Мексике, и Джэк получил предложение от Коллиера отправиться в Мексику в случае объявления военных действий.

— Наконец-то я реабилитирую себя, как военного корреспондента!—мечтал Джэк.

Если бы он только знал, как трудно исполнить это намерение, он отказался бы от поездки. Коллиер просил его телеграфировать, как скоро он сможет собраться и выехать по получении извещения.

— В двадцать четыре часа,—ответил Джэк.

16 апреля, после обстрела морской академии в Вера-Круце, мы получили извещение и выехали из Глэн-Эллена на следующее же утро.

— Я провожу тебя до Гальвестона,—сказал я, полагая, что дальше мне нельзя будет сопровождать его.

— Ты не успеешь собраться,—ответил Джэк.

— Я не успею?—и я кинулась к чемоданам.

— Ну, если уж ты поедешь так далеко, я, пожалуй, могу взять тебя в Вера-Круц, даже если бы тебе пришлось побыть там, пока я буду в Мексике.

Так решил Джэк к великой моей радости. И мы поехали.

Перед отъездом он подарил мне экземпляр «Лунной Долины» и написал на нем:

«Дорогая моя женщина! Это наша «Книга Любви». Здесь, в нашей «Лунной Долине», где мы жили и познали любовь в тот день, когда

вместе ездили верхом к разделению холмов... Нет, еще раньше, еще раньше».

В Гальвестоне нам пришлось немного задержаться из-за недоразумения. Генерал Фунстон заподозрил Джэка, в том, что он является автором одной только-что появившейся газетной утки. Скоро недоразумение было ликвидировано, и Джэк получил возможность отправиться в Вера-Круц на истребителе.

Он искренне восхищался и порядками в Темпико, и гаванью Пага-Паго, и той организованностью, которую внесли в Вера-Круц армия и флот.

«Если бы только эта чистота и организованность опирались не на идею милитаризма, а на идею социального усовершенствования! Не будем бесцельно разрушать эти великолепные машины, эти мировые капиталы, это выгодное и дешевое производство! Будем контролировать их: будем пользоваться их выгодой и дешевизной».

Кроме Джэка, в Мексике было много других военных корреспондентов, и все они сидели на месте, сокрушаясь по поводу бездеятельности мексиканской армии. Когда пришло известие о том, что Хуэрт убежал из Порто-Мексико, все пришли в мятежное настроение; многие корреспонденты нарушили данное слово и отправились в столицу, где и были арестованы. Джэк решил не нарушать слова, данного генералу Фунстону, и поехал в Темпико много позднее. Я осталась в Вера-Круце, понимая, что буду для Джэка только помехой.

Но военных действий все не было и не было, и Джэк проводил время в писании статей на общие темы, в купании, верховой езде и разговорах с офицерами. Мы вместе посетили госпитальное судно. Раненые, читавшие Джэка Лондона, очень обрадовались, увидев автора. Эти бедняги были предшественниками многих тысяч других раненых всех возрастов и классов; рассеянные по госпиталям Европы, они тоже искали в книгах Джэка временного облегчения и забвения. Английские солдаты называли эти книги «Джэклондоны».

В то время как Джэк, сидя в Вера-Круце, работал, развлекался и выжидал дальнейших действий, в газетах появилось известие о том, что «Джэк Лондон предводительствует армией мексиканских мятежников». Повидимому, в Мексике действительно было какое-то лицо с этим именем, так как позднее нам часто приходилось слышать о людях, которые встречались с «Джэком Лондоном» в Мексике и Нижней Калифорнии.

30 мая, в день, назначенный для полета на военном аэроплане, Джэк слег в постель с жестокой дизентерией. Наката и я ухаживали за ним с бесконечной осторожностью и отчаянно боролись за его жизнь. К счастью, его организм обладал колоссальной восстановительной

способностью, и через девять дней больного уже можно было перенести на судно, отправлявшееся в Гальвестон.

— Если что-нибудь произойдет в Вера-Круце,—хоть это и маловероятно,—я еще успею вернуться,—утешал себя Джэк.—Но сейчас я хочу домой, на Ранчо, где хороший климат и хорошая еда... Знаешь ли ты, что в тех ящиках на палубе? Там бедняги, которые погибли в четыре дня от того, через что я прошел благополучно.

Известие о войне в Европе страшно потрясло Джэка. И несмотря на то, что он продолжал заниматься Ранчо и своей литературной работой, война заполняла все его мысли. Но на все предложения поехать в Европу военным корреспондентом он отмалчивался и в 1914 году и позднее.

— Я повторяю, что японцы навсегда покончили с военными корреспондентами и доказали, что они не нужны. Если бы я пошел на эту войну, то только для того, чтобы сражаться.

Но я убеждена, что если бы у него была хоть малейшая надежда увидеть то, что он хотел видеть, он немедленно поехал бы в Европу.

Летом мы снова отправились в плаванье на «Ромере», а в декабре Джэк закончил роман «Маленькая хозяйка Большого Дома».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1915 год. Снова Гавайские острова. Глэн-Эллен

Во время плаванья на «Ромере» Джэк начал писать рассказ о собаке, под заглавием «Джерри». За этой книгой последовала вторая книга— «Майкель»—так же, как за «Зовом предков» последовал «Белый Клык».

Когда мы прибыли в Стоктон, друзья уговорили нас временно покинуть яхту и отправиться в Сиерру. Там мы катались с гор и бегали на коньках. Но больные лодыжки Джэка давали себя знать, и по ночам у него бывали припадки судорог.

— Становлюсь стар, старею, старею,—ворчал он сквозь зубы, когда я бинтовала ему ноги.—Понимаешь ли ты, что твоему мужу скоро стукнет сорок?

В тот период в нем вообще как-будто сидела какая-то болезнь. Не успели мы вернуться на Ранчо, как судороги сменились приступом ревматизма.

— А какая погода!—сердился Джэк, лежа в постели и указывая на мокрые ландшафты за окном.—Прошлой зимой нехватало дождей. В этом году мы затоплены. Нет, бог не любит фермеров. А все-таки плотина удерживает часть дождей, дело налаживается, дело налаживается.

Мы вовсе не собирались ехать на Гавайские острова, и наше решение было чисто случайным. Джэк твердо решил остаться дома и привести в порядок денежные дела. Но неожиданно «Космополитэн» предложил ему временно освободить его от беллетристики для того, чтобы он мог сопровождать Атлантический флот и президента через Панамский канал на Тихоокеанскую выставку. Джэку не хотелось уезжать из дома и отрываться от работы.

Конечно, я не могла участвовать в поездке на военном судне и покорилась своей женской участи. Но я не хотела оставаться в Калифорнии во время отсутствия Джэка и решила отправиться в Гонолулу, где зимовали мои родные. Джэк был немного озадачен при мысли, что его маленькая женщина отправится куда-то одна.

— Я не хочу ехать в это проклятое путешествие в Панаму,—жаловался он.—Я хочу ехать с тобой на Гавайские острова и работать над «Джерри» и «Майкелем».

И как же он был доволен, когда европейские осложнения привели к отмене задуманного путешествия. Он с восторгом сообщил мне, что мы оба поедем на Гавайские острова. Только когда мы уже стояли на палубе парохода и прощались с друзьями, он признался, что поехал только для того, чтобы не разочаровывать меня.

— Я бы не должен был уезжать теперь, когда у меня столько дела. Но я не мог представить себе твое лицо, когда я сказал бы тебе, что ты все-таки должна ехать одна.

— Я бы и не поехала одна,—ответила я.—Я осталась бы дома с тобой. Но ведь это было бы первый раз в жизни, что дела удержали тебя дома. Ты всегда умел устраивать все на расстоянии; ведь есть же почта и телеграф.

Мы взяли с собой слуг и поселились в маленьком хорошеньком коттедже. Рабочее время мы распределили так же, как дома. Утром работали, а день проводили на взморье. Каждый день после завтрака Джэк, в кимоно, усеянном голубыми цветами, с головой, обмотанной полотенцем, отправлялся вместе со мной на взморье. Там мы в течение долгих веселых часов лежали в тени, на песке, между варварскими черно-желтыми каноэ [1]), читали вслух, играли. Потом мы кидались в море, уплывали далеко за буруны и наслаждались чудесными мгновениями среди волнующейся, ласкающей стихии, между небом и землей, где все вопросы теряют свою остроту, где мы просто и торжественно могли говорить о самом главном, что есть в человеческих отношениях.

В Глэн-Эллен нас ожидали неприятности с Обществом Виноградного Сока. Еще до отъезда в Мексику было основано общество для

---

[1]) Туземная лодка.

массового производства прекрасного виноградного сока, который мы до этого времени приготовляли для себя. Но в компании оказались нечестные люди, которые доставили Джэку много неприятностей.

— Что же делать?—спрашивал Джэк.—Ведь я взялся за самое чистое дело—изготовление наилучшего из всех известных безалкогольных напитков—и вот что из этого вышло... Но зато наше озеро полно воды, а это означает больше жизни, означает лучшие сливки от наших маленьких джерсейских коров, означает больших жеребцов, лучший убойный скот и тому подобное.

Он наполнил озеро рыбой, привезенной из реки Сент-Джоакина, и это было большим приобретением и для стола, и для спорта.

В это время завязалась переписка между Джэком и издателем «Космополитэна» о «Кинематографическом романе», основанном на сценарии Годдарда, автора многих «боевиков экрана». Главы этого романа должны были появляться на столбцах газет и одновременно на экранах кинематографов. Джэк сначала был не особенно расположен браться за эту работу, но, так как она временно освобождала его от обязательного писания беллетристики и сулила ему круглую пятизначную сумму, он принял приглашение «Космополитэна».

Джэк никогда не переставал утверждать, что ненавидит писание и что ему постоянно приходится принуждать себя к работе. Однажды он написал одному из своих поклонников:

«Позвольте сказать, что я завидую вам. Вы обожаете писать, вы наслаждаетесь писанием, вы влюблены в него, тогда как я потерял всю радость писания после появления моей первой книги. Я каждый день принимаюсь за дело, как раб, идущий на работу. Я ненавижу писать. Но все же это лучший из всех способов, какие я мог бы придумать для того, чтобы создать себе хорошую жизнь. И вот я продолжаю писать».

Джэк договорился с мистером Годдардом и решил писать своей кинороман на Гавайских островах, куда Годдард должен был высылать ему главы сценария. В 1916 г., закончив этот роман, Джэк Лондон написал в Уайкики предисловие, чтобы объяснить, каким образом он был вовлечен в такое странное предприятие. «Действительно,—говорит он в этом предисловии,—это произведение юбилейное. С его завершением я праздную свое сорокалетие и свою пятидесятую книгу, свой шестнадцатый год писательства и новое достижение. Я до сих пор никогда не писал ничего подобного и почти уверен, что никогда больше не напишу ничего подобного».

Они назвали эту вещь «Сердца трех». Один английский критик совершенно правильно заметил, что эту вещь следует рассматривать как шутку, как самое приключенческое, веселое, нелепое и невозмож-

ное произведение на свете. Так рассматривал и оценивал эту работу сам Джэк. Он успел получить деньги за «Сердца трех», но напечатаны они были уже после его смерти. По неизвестным мне причинам эта вещь не появлялась на экране до 1921 года.

В 1915 году мы, к глубокому нашему сожалению, лишились Накаты. Его отняли у нас женитьба и карьера. Не знаю, кто из нас был больше огорчен,—думаю, что Джэк.

Теперь я подхожу к самому последнему и самому трудному моменту своего повествования. Рассказать факты нетрудно: в марте мы отплыли на Гонолулу, наняли старый просторный бунгалло в Уайкики и зажили самой веселой и приятной жизнью, изредка предпринимая экскурсии в глубь страны. А через семь месяцев вернулись в Калифорнию.

Это внешнее. Трудность заключается в том, чтобы описать этот последний период жизни Джэка Лондона так, чтобы те, кто читает о нем, не слишком удивлялись тому, что Джэк, так любивший жизнь, по совершенному невниманию к самому себе сам лишил себя возможности дальнейшего самовыявления.

Джэк в течение долгих месяцев самым интенсивным образом читал произведения лучших психиатров, а также труды по психоанализу. Часто он читал эти книги мне вслух или делился со мной своими мыслями по этим вопросам. Однажды летом 1916 года, во время одного из наших разговоров, я заметила, что он был взволнован не только тем волнением, которое обычно сопровождало у него всякое завоевание мысли, но, повидимому, нашел здесь нечто соответствующее его собственной интуиции. Его глаза горели, как звезды, и я никогда не слыхала у него такого пророческого голоса.

— Друг-женщина! Говорю тебе: я стою у порога нового мира, такого неведомого, такого ужасного, такого чудесного, что боюсь взглянуть в него.

Я заглянула вместе с ним за порог этого нового мира, старого, как время, и начала понимать, что это могло означать для него, предчувствовавшего эти бездны много лет назад, когда он писал «Зов предков», а может быть, и еще раньше. Временами, когда он говорил мне о том, чего он надеется достичь в своих изысканиях при помощи психоанализа, я бывала захвачена этими видениями. Но то, что он мечтал совершить, было настолько ужасно, настолько чудесно, что наши обычные чувства заставляли отшатнуться от этих перспектив. Джэк считал, что если он мог научиться анализировать душевное содержание каждого человека и подвести его к свету поверхностного сознания, он мог бы анализировать также и душу расы и проследить ее в глубину веков, до самого темного ее истока. Когда он гово-

рил об этом, его глаза становились пророческими, глубокими, как столетия.

Он прилагал свои принципы ко всем встречным, может быть, несколько более, чем следовало бы. Если раньше он пользовался окружающим миром и его обитателями, чтобы поддержать в себе интерес к «игре», то теперь он пустился в рискованное предприятие: в «игру с душами». Он воскресил свои старые, давно забытые причуды и капризы и пропустил их сквозь горнило психоанализа. Он производил с окружающими самые неожиданные эксперименты. Но большинство обнажаемых им душ было не того качества, которое могло бы быть полезным для его изысканий, и я думаю, что его опыты принесли ему именно то, чего я боялась: разочарование в человечестве.

Физически Джэк чувствовал себя плохо, но на все мои просьбы и замечания о недостаточности питания и упражнений, он неизбежно отвечал: «Все в порядке. Не беспокойся. Ты никогда не встаешь вовремя, чтобы посмотреть, как я завтракаю: три чашки кофе, гора сливок, два яйца всмятку и половина большой папайи [1])».

Только через несколько месяцев я узнала, что каждый день этот обильный завтрак бывал для него потерян. Его «железный желудок» и богом данная способность спать когда угодно изменили ему. Доктора нашли у него каменную болезнь.

Даже узнав о зловещем предсказании докторов, Джэк не принял никаких мер, чтобы отсрочить день своей смерти. Его друзья-доктора, лечившие его, предостерегали его и просили выдерживать диэту, но он не желал отказываться от сырой аку (макрель) и, кроме фруктов, не признавал никакой растительной пищи.

Упражнения, кроме редких случайных купаний у самого берега, были заброшены. Каждый день я звала Джэка поплавать со мной, и каждый день он сначала соглашался, но потом его инертность брала верх, и он в кимоно и соломенных туфлях плелся в гамак и оттуда следил за тем, как я плаваю. Он не мог даже дойти до трамвая, и когда ему нужно было ехать в город за три мили, чтобы побриться, он вызывал автомобиль. Когда мы не ждали гостей, он проводил целый день в купальных трусиках, кимоно и сандалиях—не потому, что так было прохладнее, а потому, что ему трудно было сделать усилие и одеться. В гостях он просиживал за длинными обедами, не прикасаясь к еде, а когда встревоженная хозяйка обращала его внимание на нетронутое кушанье, он повторял всегда один и тот же классический рассказ о сытном завтраке. Пил он очень умеренно: «Иногда мне кажется, что мой организм настолько насыщен алкоголем, что начинает протестовать,—замечал он не раз;—посмотри, какой ма-

---

[1]) Гавайский фрукт.

ленький стаканчик, а ведь это сегодня первый». Он продолжал мечтать о законе, запрещающем продажу алкоголя.

На Гавайских островах Джэк по большей части пил сладкие напитки или легкое пиво, когда мы по вечерам сидели в открытых кафе. Главным его развлечением была игра в карты—в бридж и покер. В нем чувствовалась какая-то тревога, которую он пытался заглушить всеми возможными способами. Мы танцовали, ездили в театр, сидели в кафе, с утра уже к нам приезжали гости и оставались играть в карты, потом к купанью приезжала вторая партия, к обеду третья. Мы жили в каком-то водовороте. Часто, когда я по телефону приглашала гостей сразу на какие-нибудь три развлечения, Джэк подходил, шлепая своими соломенными сандалиями, и говорил: «Раз ты у телефона, пригласи заодно и на завтра». Казалось, он боится остаться наедине с самим собою.

Один из наших соседей в Гонолулу спросил как-то Джэка: «Почему у вас ежедневно обедает до двенадцати человек?»—«Потому, что больше за наш стол не усядется»,—ответил Джэк.

Что он переживал, что скрывалось за его синими, как звезды, глазами, которые еще никогда не были так прекрасны, как в то лето на «Счастливых островах»? Почему он не сделал ни единой попытки бороться со своей болезнью? Он, такой неутомимый боец, отказывался бороться за свое погибающее тело, отказывался проявить свою мощную волю, чтобы сохранить физическую силу. Наоборот, он как-будто стремился—может быть, бессознательно—к прекращению каких бы то ни было усилий. Я не знаю и никогда уже не узнаю этого. Я знаю только, что он приближался к концу своей жизни.

В последние шесть недель пребывания на Гавайских островах Джэк как-будто вернул себе свое здоровье, бодрое «я». В это время мы предприняли поездку вокруг большого острова, описанную в моей книге «Джэк Лондон и Гавайские острова». Это было путешествие неомраченной радости. Мы строили планы будущего, о том, как мы вернемся и сделаем все, чего еще не успели сделать.

— Я думаю,—говорил Джэк, вспоминая об этих днях,—что это самые счастливые полтора месяца в моей жизни.

В это путешествие он закончил «Майкеля, брата Джерри» и написал свой последний привет островам—три статьи, напечатанные в «Космополитэне» под заглавием «Мое гавайское Алоа». Затем он написал еще несколько мелких рассказов, вошедших в сборник «Красное божество», появившийся уже после его смерти.

За несколько месяцев до отъезда Джэк послал Социалистической Партии извещение о своем выходе. Причины последнего удивили

многих его знакомых-радикалов, смеявшихся над тем, что Джэк, по их мнению, стал кротким.

— Радикалы!—пренебрежительно говорил Джэк.—В следующий раз, когда я попаду в Нью-Йорк, я отправлюсь в стан этих людей, называющих себя радикалами. Я выскажу им кое-что и покажу им, что их радикализму грош цена... Я покажу им, что такое радикализм!

Вот письмо, в котором он заявил о своем уходе:

«Гонолулу, 7 марта 1916 года. Глэн-Эллен. Коунти. Сонома, Калифорния.

Дорогие товарищи! Я ухожу из Социалистической Партии, потому что в ней отсутствуют огонь и борьба. Потому что ее напряжение в классовой борьбе ослабло.

Я первоначально был членом старой, боевой Социалистической Рабочей Партии. С тех пор и поныне я был активным членом Социалистической Партии. Мои боевые выступления за дело не совсем забыты даже теперь. Будучи воспитан для классовой борьбы, как ее проповедывала и практиковала Социалистическая Рабочая Партия, и основываясь на собственных рассуждениях, я думал, что рабочий класс своей борьбой, своей непримиримостью, своим отказом итти на соглашение с врагом сможет освободить себя. Но так как за последние годы все социалистическое движение в Соединенных Штатах стало миролюбивым и компромиссным, мое сознание отказывается санкционировать дальнейшее мое пребывание в партии. Отсюда мой выход.

Пожалуйста, примите также извещение о выходе моей жены, товарища Чармиан К. Лондон.

Скажу напоследок, что свобода, воля и независимость—вещи великолепные, и они не могут быть подарены или вверены расам или классам. Если расы и классы неспособны восстать и силой своего ума и своих мускулов вырвать у мира свободу, независимость и волю,—они никогда не получат этих великолепных вещей... И даже если эти великолепные вещи будут им любезно преподнесены на серебряных подносах высшими индивидуальностями, то они не будут знать, что им делать с этими вещами, они не сумеют воспользоваться ими и будут тем, чем они были в прошлом,—низшими расами и низшими классами.

Ваш во имя революции Джэк Лондон».

— Кто же ты теперь?—спросила я Джэка.—Как ты будешь называть себя? Революционером? Социалистом? Или как-нибудь еще?

— Боюсь, что я никто,—спокойно ответил он.—Я—все это вместе. Индивидуальности разочаровывают меня все больше и больше.

И я все больше и больше возвращаюсь к земле... Может быть, я мог бы назвать себя синдикалистом. Пожалуй, классовая солидарность, выраженная в виде общей стачки, может явиться способом, которым рабочие победят мир и добудут то, что им нужно. Это воскресит Каина, но, повидимому, невозможно ничего совершить, не воскресив Каина. Мировая стачка даст невероятные результаты. Но они не могут сплотиться—слишком много эгоизма и инертности.

За три месяца до смерти Джэк написал на моем экземпляре «Маленькой хозяйки Большого Дома»:

«Годы проходят. И ты, и я проходим. Но любовь наша остается,—еще крепче, еще глубже, еще уверенней, потому что мы построили нашу любовь друг к другу не на песке, а на скале. Твой муж и возлюбленный».

На книге «Черепахи Тэсмана» он написал:

«После всего, и всего, и всего,—мы здесь во всем, во всем, во всем. Иногда мне хочется взойти на вершину Сономской горы и крикнуть миру о тебе и о себе. Наши руки всегда сплетены. Друг-мужчина. Ранчо. 6 октября 1916 г.».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Последнее лето. 1916 год

В августе мы вернулись с Гавайских островов, и Джэк снова погрузился в планы расширения Ранчо и восстановления Дома Волка. Он писал Элизе еще из Гонолулу, прося ее закупить строительные материалы. Но Элиза не исполнила его поручения, и не только потому, что не было денег: она всегда интуитивно чувствовала, когда Джэк бывал болен или когда с ним было неладно. Так и теперь. Увидев Джэка на пристани, она сразу сказала: «Наш Джэк не вернулся к нам».

17 августа он кончил рассказ, начатый на пароходе, «Канакский прибой», а 3 сентября другой рассказ—«Когда Алиса открыла свою душу». Оба рассказа включены в островные рассказы. Во втором рассказе Джэк при помощи психоанализа рисует женщину, которая стремится освободить свою душу от скоплявшихся в ней за всю жизнь секретов. В конце концов она исповедуется какому-то исповеднику-метису типа воскресных проповедников. Во второй половине сентября Джэк написал опыт психологического анализа—«Как Аргус древних времен». На некоторых страницах этой вещи изображен сам Джэк под видом юного Ливерпуля.

В сентябре мы поехали на ярмарку в Сакраменто, где Джэку пришлось слечь в постель на восемь дней из-за острого приступа ревматизма. Боли были настолько сильны, что пришлось прибегнуть к наркотикам. В промежутках между приступами мы читали, играли в карты, принимали гостей. Я массировала больную ногу и этим часто помогала Джэку уснуть. Джэк старался скрыть тревогу, овладевшую им при мысли о будущем. «Если я даже стану калекой, то у меня ведь будет бесконечно много времени для чтения. Я буду самым счастливым из всех страдальцев». Но он не старался ускорить наступление этого счастливого дня и на этот раз исполнял предписания докторов. Все мясные блюда были изгнаны из обихода, и мне пришлось изощрять свою изобретательность, придумывая разные салаты и вегетарианские блюда.

В октябре Джэк собрался ехать в Нью-Йорк, но в это время против него началось судебное дело. Ему хотели запретить пользоваться водой из пограничной речки, воды которой были ему необходимы для его хозяйственных планов. Знакомые все думали, что он уехал в Нью-Йорк, так что эти последние недели мы провели в тесном домашнем кругу, за что я не перестаю благодарить судьбу. Все время я чувствовала, что он в тревоге, что он как-будто мчится куда-то, что его мозг работает с невыносимой скоростью, что мысли налетают одна на другую, как волны, и что весь вопрос в том, как долго может протянуть человек при такой безудержной работе ума и таком абсолютном пренебрежении к собственному телу.

Иногда он бывал спокоен, и мы проводили чудеснейшие вечера— он за чтением, я за вышиванием. Прежде Джэк не любил, когда я занималась рукоделием, но в последние годы его взгляд изменился, а моя философия рукоделия так ему понравилась, что он включил ее в «Маленькую хозяйку Большого Дома».

Но иногда по поводу какого-нибудь случайного слова он приходил в ярость—бурную или холодную. Тогда я молча давала ему успокоиться, понимая, как ему самому, должно быть, тяжело.

В середине октября открылся охотничий сезон, и Джэк, отбросив всякие опасения, начал питаться почти исключительно дичью. Для него, отравленного уремией, такое питание было равносильно самоубийству.

На все мои просьбы и замечания он отвечал только: «Ведь это так вкусно. Не забывай, что я по природе плотоядный».

Я помню, как одна наша знакомая, женщина-врач, посетившая нас, спросила меня, неужели Джэк Лондон сумел приучить свой желудок к таким количествам недожаренной дичи? Ведь это убило бы всякого, кроме разве какого-нибудь особенно здорового мужчины.

28 октября Джэк написал следующее письмо в ответ на какой-то запрос нью-йоркской газеты. Повидимому, дело шло о том, живы ли еще Приключение и Романтика.

«Джентльмены! Когда я лежу на мирном берегу Уайкики на Гавайских островах, как это было в прошлом году, какой-то незнакомец представляется мне, как лицо, управляющее делами капитана Келлера, и когда этот незнакомец объясняет мне, что капитан Келлер нашел свой конец и что его голова отрезана и прокопчена охотками за головами с Соломоновых островов, в юго-западной части Тихого океана, и когда я вспоминаю, как много кратких лет назад капитан Келлер, юноша двадцати двух лет, владелец шхуны «Евгения», проводил со мной не одну ночь, играя в покер до рассвета, и угощался вместе со мной гашишем с дикой шайкой в Пендуфрине, и, когда я разбился о наружный риф Малу у острова Малаита, где на берегу поджидали полторы тысячи дикарей-охотников за головами, вооруженных седельными пистолетами, винтовками, томагавками, копьями, боевыми дубинками, луками и стрелами, а вокруг нас плавали боевые каноэ, наполненные морскими охотниками за головами и людоедами, окружая нас, четырех белых, включая и мою жену,—вспоминаю, как капитан Келлер, прорвавшись на вельботе, с экипажем, состоявшим из негров, явился неожиданно к нам на помощь с подветренной стороны, босой, полуобнаженный, одетый лишь в набедренную повязку и шестипенсовую нижнюю рубашку, с двумя ружьями, привязанными к туловищу, когда я вспоминаю все это, я говорю, лежа на мирном берегу Уайкики, что Приключение и Романтика еще не умерли».

В ноябре Джэк получил предложение через своего лондонского агента написать свою автобиографию для лондонского журнала «Уайд Уорлд Магазин» и охотно принял его, так как нуждался в деньгах.

Ему несколько раз приходилось ездить в суд по поводу дела о воде и каждый раз он возвращался оттуда разбитый и больной. 10 ноября, после четвертого выступления в суде, он вернулся домой в ужасном виде. К вечеру у него появились все симптомы отравления птомаинами [1]). Когда припадок миновал, я серьезно поговорила с ним и выяснила, что он, кроме всего, страдает еще и сильной дизентерией. Но он и на этот раз остался глух к моим уговорам и продолжал питаться недожаренной дичью. Ему становилось все хуже и хуже. Скоро слегла и я. Повидимому, у меня был просто упадок сил вслед-

---

[1]) Азотистые вещества, возникающие из белков и других органических соединений при гниении. Многие из них очень ядовиты (напр., рыбные, колбасные яды).

ствие нервного переутомления. Слишком сильны были постоянные волнения и тревога за Джэка. За день до моей болезни к нам приехали фотографы, чтобы снять Джэка для кино. Они снимали его в самых разнообразных позах, и я случайно при двух или трех съемках заметила в его лице нечто новое, что заставило меня содрогнуться. Это можно было бы назвать мертвенностью, отсутствием жизни—чем-то, чего не должно быть у бодрого человека. Но на других фотографиях—Джэк с ружьем, Джэк, улыбающийся с высокого сидения водовозной бочки, Джэк, управляющий двумя чудовищными лошадьми, запряженными в навозоразбрасыватель,—он был полон жизни, очарования и весел, как всегда.

Я была очень огорчена, когда 19 ноября, в годовщину нашей свадьбы, не могла спуститься в столовую. Джэк пришел ко мне, и мы вспомнили, что через несколько дней мое рождение. Я родилась и вышла замуж в один и тот же месяц. Могла ли я представить себе, что этот же месяц будет и месяцем моего вдовства? Но несчастье висело в воздухе, я чувствовала его дыхание,—в этом была вся моя болезнь.

21 ноября Джэк собрался осмотреть новый участок земли и пришел звать меня с собой. Но я была еще слишком слаба, и он ушел разочарованный. Вернулся он оживленный, веселый, но ночь провел плохо и встал совсем больной. Желудок отказывался служить. Дизентерия обострилась. Выглядел он ужасно.

Работал он в эти дни уже очень мало. В этот день он написал всего несколько страниц—последние в своей жизни. Вот его последние литературные заметки, найденные в его ночном столике:

«Социалистическая автобиография».

«Мартин Идэн» и «Морской волк», атаки на ницшеанскую философию, которую не поняли даже социалисты».

«Роман».

«Исторический роман в восемьдесят тысяч слов: любовь—ненависть—примитивность. Открытие Америки северянами—см. мою книгу об этом, см. также Мориса Хьюлетта—«Фрей и его жена». Интерпретация генезиса их мифов и т. д. из их собственной бессознательности...»

Вечером Элиза пришла переговорить с ним о делах Ранчо. Джэк с трудом вышел из состояния какого-то оцепенения, встряхнулся и начал обсуждать волнующие его вопросы об открытии на Ранчо школы, магазина и почтового отделения. Эти вопросы поднимались уже не в первый раз.

— Здесь достаточно детей, чтобы открыть школу. Служащие Ранчо могут жить здесь, работать за хорошую цену, рождаться, расти, учиться, и, если умрут, они могут, по желанию, быть похоронены здесь на Маленьком Холме...

Через пять дней на Маленьком Холме лежали его собственные останки.

Элиза впоследствии говорила мне, что она была испугана безумной работой его ума, когда дело шло о перспективах Ранчо. Ей казалось, что это уже переходит в манию. Она соглашалась с ним на словах, но не могла представить себе, как она сможет выполнить его колоссальные задания. Может быть, человек меньшего масштаба в агонии развивающегося самоотравления не был бы одержим такой манией.

Даже при современном знании человеческого тела ученые не умеют точно определить яды, вызывающие уремию. Они определили болезнь Джэка, как «желудочно-кишечную уремию». Все симптомы были налицо уже давно: желудочное расстройство, бессоница, приступы меланхолии, дизентерия, ревматические отеки, тупые головные боли. Конвульсий не было, и единственной была та, при которой он испустил дух.

Окончив разговор с Элизой, Джэк вышел ко мне на террасу, где я ждала его к ужину. Он почти ничего не стал есть и все время рассказывал мне о своих планах и делах.

— Помнишь человека, который приходил на-днях и пытался заинтересовать меня маленькими холмами к северу от нас? Мне не нравятся его спекуляции. Если бы я захотел принять участие в этой грязной игре, я мог бы покупать землю и перепродавать бедным людям за большие проценты, как он это делает... Но нет, я не добываю денег такими способами. Да, женщина... ведь мои руки чисты, не правда ли?

Я могла от всего сердца согласиться с ним. Его дела всегда были чисты: и его призвание—писание книг, и его любимое дело—сельское хозяйство.

В этот последний вечер он не просил музыки, не играл, как обычно, с Поссумом, которого он так любил за его маленький смелый ум, за его большое сердце, за его страсть к игре, за прекрасные зовущие глаза. Когда через шесть месяцев маленькая собачка погибла, утонув в озере, я похоронила ее собственноручно на Холме рядом с хозяином, где и подобает лежать верному псу.

Мы поговорили еще с полчаса, потом его возбуждение упало, и я с тревогой ждала, что оно сменится приступом меланхолии. Он

взял два деревянных лотка, на которых был приготовлен материал для его ночного чтения.

— Посмотри,—сказал он глухим, безжизненным голосом, указывая на брошюры и журналы,—погляди: все это мне предстоит прочесть сегодня ночью.

— Но тебе совсем не надо читать всего этого, друг! Помни, ты работаешь и перерабатываешь так по своему желанию, наверно, потому, что сам выбрал работу вместо покоя, я всегда повторяю тебе это.

Завязался разговор об относительности ценностей. Затем Джэк поставил лотки с журналами и газетами, подошел ко мне и прилег возле меня на диване.

— Друг-женщина! Друг-женщина! Ты—все, что я имею, последняя соломинка, за которую я цепляюсь. Ты должна понять. Если ты не поймешь, я погиб. Ты—все, что я думаю.

— Я понимаю!—закричала я, прижимая его голову к своей груди со всем материнским чувством своего сердца.—Я понимаю, что это слишком много для тебя, что ты слишком напрягаешься, чтобы все сделать. Разве ты прикован к колесу, разве ты не можешь перестать, остановиться немного, оставить на время работу и мысль? Ты слишком спешишь. Ты слишком много знаешь. Ты болен. Если ты не остановишься, что-нибудь должно будет произойти. Ты устал, ты ужасно устал, смертельно устал! Что нам делать? Мы не можем так продолжать!

Его глаза были в тени, я их не видела, но углы рта дрожали. Мой бедный мальчик, он, действительно, смертельно устал. Около часа мы лежали молча, обмениваясь ласковым пожатием руки. Немногие фразы, сказанные в этот вечер, слишком священны и слишком интимны, чтобы передавать.

Потом он тихо встал, обнял меня.

— Я так устал от недостатка сна. Пойду лягу.

Потом добавил:

— Хорошо, что ты ничего не боишься.

Я никогда не узнаю, что он хотел сказать этими словами. Может быть, он предчувствовал то «невероятное», что ожидало его, знал, что я скоро буду погружена в отчаяние, буду лишена его дорогой дружбы.

После его ухода я еще долго размышляла о том, как мне заставить его успокоиться и вернуться к прежним привычкам и здоровому образу жизни. В девять часов я поднялась к себе, и, заглянув к Джэку, увидела, что он крепко спит.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

22 ноября. Последний день. Похороны

На следующее утро, открыв глаза, я увидела, что около меня стоит Элиза, а за ней Секинэ.

— Что случилось?—закричала я, зная, что только крайность могла заставить ее разбудить меня.

— Секинэ не мог добудиться Джэка. Не лучше ли вам пойти посмотреть, что с ним?

Еще с порога комнаты я услышала его тяжелое прерывистое дыхание. Джэк лежал на боку, без сознания, обнаруживая симптомы сильного отравления: красное вздутое лицо, инертное тело, тяжелое, затрудненное дыхание. Я кинулась к полке с медицинскими книгами, ища «первой помощи». С помощью крепкого кофе нам удалось к приезду доктора вызвать нечто в роде реакции.

Один из докторов остался с нами на всю ночь, и мы все вместе боролись за жизнь Джэка. К полуночи мы добились реакции в его закатившихся глазах и в подошвах ног, но нам ни разу не удалось заставить его сознательно сделать какое-нибудь усилие. Только поддерживая его с обеих сторон, удавалось удержать его в сидячем положении на краю кровати. Воля и тело не могли работать в контакте, и за весь день только несколько раз в его лице промелькнуло сознание. Он был бессилен сделать какое-либо движение, но иногда нам удавалось добиться полусознательного ответа на наши тревожные возгласы, которыми мы старались вернуть его к жизни.

— Проснись! Проснись! Плотина прорвалась!

При этом крике в глазах Джэка показался проблеск внимания. Он сейчас же угас, но нас обрадовало даже это.

Мы продолжали наши попытки, но в конце концов я убедилась, что чем больше мы прилагали усилий к тому, чтобы воскресить его, тем упорнее он сопротивлялся нам. Я внутренне отказалась от борьбы и надежды. Но я должна была сделать еще одно: установить с ним духовное общение, сохранить последнее воспоминание на грядущие тяжелые годы одиночества.

— Пустите меня,—сказала я. Они посадили его на край кровати. Его бессильные ноги свешивались на меховой ковер. Я крепко схватила его за плечи и, глядя ему прямо в лицо, стала повторять:

— Друг! Друг! Ты должен вернуться! Ты должен! Ко мне! Друг! Друг!

Он вернулся. Да, он вернулся. Медленно, как бы подымаясь из бездонных пучин вечности. В его глазах сверкнуло сознание. Он со-

вершенно сознательно взглянул на меня, и его рот улыбнулся мгновенной, искаженной, но все же улыбкой. Но этого было мало. И я снова начала звать его... снова и снова. И он опять вернулся, и снова между нами было священное понимание в этот последний миг его жизни. Снова улыбка—улыбка приветствия и прощания с жизнью, которую он так любил, или любви. И он улыбнулся потому, что своим сопротивлением победил нас и достиг «последнего Ничто», приподнял занавес над «тьмой, окружающей конец жизни».

Мне хочется верить, что он, одинаково любивший и жизнь, и смерть, вспомнил о своем давнишнем обещании: «Смерть сладка... Смерть—покой... Подумай—вечный покой. И я обещаю тебе, где бы, когда бы я ни встретился со смертью, я встречу ее улыбкой».

Человек, которым он всегда восхищался, Роберт Луис Стивенсон [1]) тоже встретил смерть улыбкой. Он сказал ей: «Я ждал тебя все эти годы. Дай мне руку. Добро пожаловать».

К вечеру у нас появилась, было, надежда, что его жизнеспособность совладает с этой ужасающей мертвенностью. Но он не в силах был сделать еще усилие, и нам пришлось признать, что он быстро угасает.

Джэка перенесли на террасу, где он провел столько счастливых часов. Здесь он и умер, на том самом диване, на котором двадцать четыре часа назад взывал ко мне: «Ты должна понять. Ты— все, что у меня есть».

Мы ждали. Его дыхание, которое несколько, было, улучшилось и подало нам новые надежды, перешло в тяжелый хрип. Промежутки между вздохами становились все длиннее... вот длинная пауза... другая... и полное молчание...

Никто не шевельнулся. Мы сидели неподвижно, пока Секинэ, с лицом, как восточная маска слоновой кости, не подошел ко мне и не склонил передо мной головы.

Потом все ушли, и мы с Джэком остались одни. В последний раз.

Вечером, когда мы с Элизой вошли в его комнату, там все было приготовлено на ночь. На ночном столике стояли очиненные карандаши, папиросы, бумага, бутылки с молоком. И казалось невероятным, бессмысленным, что хозяин этой комнаты лежит тут же, в этом доме, холодный и неподвижный. Я взглянула на Секинэ.

— В нашей стране мы всегда так делаем для умерших,—ответил он,—и... и вот, я подумал...

---

[1]) Английский писатель, автор прекрасных романов путешественническиприключенческого жанра („Остров сокровищ“ и мн. др.).

Раза два в этом году Джэк, говоря о своей возможной смерти, сказал нам:

— ...Положите мои останки на Маленьком Холме, а сверху навалите красную глыбу от развалин Дома Волка. Не надо много народу. Позовите Георга.

Все было сделано, как он хотел. Но прежде пришлось дать место официальному погребению. Я осталась дома, а Элиза проводила тело Джэка из Глэн-Эллена в оклэндский крематорий. Эти официальные похороны мало соответствовали вкусам Джэка, но я чувствовала, что не имею права препятствовать желаниям его дочерей и их матери. Что же касается сожжения, то Джэк незадолго до смерти писал по этому поводу в Союз крематориев Америки.

Вот выдержки из его письма:

«Глэн-Эллен, 16 октября 1916 года.

Дорогой доктор Эриксон... Кремация—единственно приличный, правильный и разумный способ освободить себя от мира, когда мир освободить себя от вас. Это также единственный честный способ по отношению к нашим детям и внукам и всем последующим поколениям. Зачем омрачать ландшафты и цветущую почву своей заплесневевшей памятью? К тому же история свидетельствует о том, что все эти эгоистические усилия тщетны. Лучшее, чего достигли фараоны своими памятниками, это то, что они сохранили несколько сморщенных реликвий для музеев».

26 ноября мы зарыли урну с останками Джэка на Маленьком Холме и сверху навалили красный камень. Не было ни пышности, ни речей. Никто не сказал ни слова. Никто не призывал богов. Мужчины молча, с обнаженными головами, стояли между деревьями.

Когда мы повернули домой, мне пришло в голову, что эта скромная могила под большой сосной—памятник. Смерть Джэка не была похожа на смерть. Природа подняла якорь, и он, «отважный моряк зелено-синего моря», отчалил с отливом, доблестный, победоносный... к западу... к раю зеленых полей, с океанами парусов за холмами. Этот памятник на склоне горы не мог стать местом скорби, не мог омрачить очарования и радости этого горного склона. Маленький холмик Джэка, поющий с птицами, звучащий вместе с ветром, качающим вершины деревьев, призывает лишь к созерцанию и тихой грусти. И пилигрим, стоящий над красным камнем, может сказать:

— Клянусь черепахами Тэсмана,—это был человек!

ДЖЭК ЛОНДОН

ДОРОГА

ПРИЗНАНИЕ

В штате Невада живет женщина, которой я однажды бесстыдно лгал несколько часов под ряд. Я не намерен извиняться перед нею. Я далек от этого; но я хотел бы объясниться. К несчастью, я не знаю ни ее имени, ни, тем более, ее теперешнего адреса. Если ей на глаза попадут случайно эти строки,—она мне, надеюсь, напишет!

Это было в Рено, в Неваде, летом 1892 года. Время было ярмарочное, и город кишмя кишел мелкими жуликами и прощалыгами, не говоря уже об орде голодных бродяг. Голодные бродяги и превратили город в «голодный» город.

«Тут не раздобудешь жратвы!»—говорили об этом городе бродяги в подобный сезон. Я, по крайней мере, много раз оставался без обеда, хотя мастерски умел «стрелять», «обивать калитки», «набиваться на посиделки» в кухне, «клянчить монетку» на улице. Однажды мне пришлось так круто в этом городе, что я, прошмыгнув под носом носильщика, вскочил в частный вагон некоего путешествующего миллионера. Поезд тронулся в тот момент, когда я вскочил на площадку, и я наткнулся на хозяина вагона, миллионера, как-раз тогда, когда кондуктор одним прыжком нагнал меня. Оба мы достигли, каждый своей, цели в одно и то же мгновение. Времени для формальностей не оставалось. «Четвертак на жратву!»—гаркнул я. Клянусь жизнью—миллионер полез в карман и дал мне... ровно... ну, ровнехонько... четверть доллара! Полагаю, он так был ошеломлен, что повиновался машинально, и я потом страшно жалел, что не потребовал доллара. Я уверен, что получил бы его! Я соскочил с площадки вагона, при чем кондуктор едва не стукнул меня ногой в физию. Он промахнулся! Очень это опасная затея—соскакивать с нижней ступеньки вагона, в то время как разъяренный эфиоп норовит с площадки тяпнуть тебя по физиономии. Но я получил четверть доллара! Все же получил!

Вернемся, однако, к женщине, которой я беззастенчиво солгал. Это было в последний день моего пребывания в Рено. Я был на ипподроме, на бегах пони, и проворонил обед (или, вернее, пол-

дник). Я был голоден; вдобавок только-что был образован комитет общественной безопасности в видах избавления города от голодных смертных, подобных мне. «Дядя Закон» уже зачерпнул охапку моих собратьев-бродяг, и солнечные долины Калифорнии явственно взывали к моему слуху через холодные гребни Сиерр [1]). Перед тем, как отряхнуть с ног прах города Рено, мне оставалось сделать два дела: во-первых, забраться на тормозную площадку багажного вагона в поезде, отходившем на Запад ночью; во-вторых, предварительно раздобыть провиант. Пуститься в далекий ночной путь на наружной площадке поезда, с бешеной скоростью несущегося через выемки, туннели и вечные снега поднебесных вершин, и проделать это па пустой желудок,—перед этим поколеблется энергия и сильного юноши. Но «раздобыть провиант» оказалось трудной задачей. Меня выпроводили из доброй дюжины домов. В некоторых домах по моему адресу отпускали обидные замечания и намеки на некоторое помещение за решеткой, которое было бы моим уделом, получи я причитающееся мне по заслугам. И хуже всего то, что в этих утверждениях было слишком много правды. Вот почему я удирал на Запад в этот вечер. «Дядя Закон» гулял по городу, тщательно выискивая голодных и бездомных; для них-то и содержатся дома за решеткою.

В других—перед самым моим носом захлопывали дверь, обрывая мои учтиво и скромно средактированные просьбы о «хлебе». В одном доме мне даже не отперли дверей! Я стоял на крыльце и стучал, а хозяева глядели на меня в окошко. Они даже подняли к окну толстого мальчугана, который через плечи старших рассматривал бродягу, у которого было желание поесть.

Похоже было, что придется обратиться за милостыней к самым бедным беднякам. Бедняки—последнее верное прибежище голодного бродяги. На беднейшего бедняка всегда можно рассчитывать. Он никогда не прогонит голодного! Сколько раз в Соединенных Штатах мне отказывали в куске хлеба в больших домах на высоком холме и всегда давали поесть в маленьких лачужках у ручья или болота, с разбитыми окнами, заткнутыми тряпьем, и хозяйкой с изможденным от работы лицом! О, филантропы! Идите, поучитесь у бедняков; только бедняки милосердны! Они подают и отказывают не от избытка. У них нет избытка! Они подают то, в чем сами нуждаются, и жестоко порой нуждаются! Они никогда не отказывают. Кость, брошенная собаке,—не милосердие. Милосердие—это кость, разделенная с собакой, когда дающий совершенно так же голоден, как собака!

---

[1]) Сиерра-Невада—длинная горная цепь сев.-амер. штата Калифорнии почти параллельная Тихому океану.

Мне особенно запомнился один дом, из которого меня выпроводили в тот вечер. На крыльцо выходили окна столовой, сквозь стекла я увидел человека, уплетавшего пирог—большой кусок пирога с мясом. Я стоял в раскрытых дверях, и он, разговаривая со мной, продолжал есть. Он испытывал полное благополучие, и это благополучие вызвало в нем озлобление на менее благополучных ближних.

Он оборвал мою просьбу о хлебе, фыркнув:

— Не верю, чтобы тебе нужна, была работа!

Это было ни к селу, ни к городу. Я ведь ни словом не заикнулся о работе! Темой начатой мной беседы был «хлеб». Я и в самом деле не искал работы. Мне нужно было уехать с ночным поездом на Запад.

— Ты не будешь работать, даже если бы работа нашлась!— дразнил он меня.

Я взглянул на его жену—женщину с кротким лицом—и понял, что если бы не присутствие этого «цербера», я получил бы кусок пирога. Но цербер весь зарылся в пирог; я видел, что его нужно умилостивить, иначе я не получу ни крохи. Вздохнув, я решил стерпеть его проповедь о работе.

— Конечно, я хочу работать!—солгал я.

— Не верю!—хрипел он.

— Испробуйте!—продолжал я лгать.

— Ладно,—ответил он.—Приходи на угол такой-то и такой-то улицы (я уже забыл, какой именно) завтра поутру. Знаешь, там, где развалины сгоревшего дома; я приставлю тебя подавать кирпичи!

— Хорошо, сэр, завтра я буду на месте!

Хрюкнув в ответ, он продолжал есть. Я ждал. Через несколько минут он поднял на меня глаза, в которых было отчетливо написано: «А я думал, ты уже убрался!»—и спросил:

— Ну?..

— Я... я жду чего-нибудь поесть!—смиренно вымолвил я.

— Я так и знал, что ты не станешь работать!—проревел он.

Он был прав, разумеется; к этому правильному выводу он пришел, должно-быть, путем чтения в сердцах, ибо логически он ни из чего не вытекал. Но нищий у дверей должен вести себя смирно, и я принял его логику, как раньше проглотил его нравоучение.

— Видите ли, я сейчас голоден,—кротко ответил я.—Завтра утром я буду еще голоднее! Подумайте, как я буду голоден после дня работы с кирпичами! Если вы дадите мне чего-нибудь поесть, так я завтра буду таскать кирпичи во как!

Он спокойно взвешивал мои доводы, не переставая уплетать пирог; жене явно хотелось замолвить за меня словечко, но она сдержалась.

— Знаешь, что я сделаю?—говорил он между глотками.—Ты приходи завтра утром на работу, и в полдень я выдам тебе аванс, достаточный для обеда. Это покажет, взаправду ли ты намерен работать.

— Пока что...—начал, было, я, но он перебил меня:

— Если я тебя сейчас накормлю, только я тебя и видел! Знаю я вашего брата! Ты посмотри на меня. Я никому не должен! Я никогда не унижался до того, чтобы просить хлеба! Я всегда зарабатывал свое пропитание! Вся твоя беда в том, что ты ленив и распущен! Я вижу это по твоему носу! Я честно трудился, я сделал из себя то, что ты видишь! И ты добьешься того же, если будешь трудиться и будешь честен.

— Как вы?—спросил я.

Увы, ни тени юмора не пробежало по мрачной, заскорузлой в трудах душе этого человека!

— Да, как я,—ответил он.

— Все мы?—спрашивал я.

— Да, все вы!—отвечал он с полным убеждением в голосе.

— Но если мы все станем, как вы,—сказал я,—то позвольте мне указать вам, что некому будет бросать за вас кирпичи!

Готов поклясться, что в глазах его жены задрожал смех! Что до него—он испугался; но чего? Страшной ли перспективы, что исправившееся человечество не оставит ему никого для таскания кирпичей, или же моей наглости—этого мне так и не довелось никогда узнать.

— Некогда мне растабаривать с тобой!—рявкнул он.—Пошел прочь, неблагодарный щенок!

Я почесал себе ноги в знак готовности убираться и спросил:

— Стало-быть, мне не дадут поесть?

Он вдруг вскочил. Это был крупный мужчина. Я был в чужом краю, и «Дядя Закон» разыскивал меня. Я поспешно убрался. «Но почему я неблагодарный?—спрашивал я себя, захлопывая калитку.—Какого чорта назвал он меня неблагодарным?» Я оглянулся: он еще виднелся в рамке окна и... уплетал пирог!

Тут я, признаться, упал духом. Я обошел много домов, не решаясь постучать. У всех домов был одинаковый вид: ни у одного дома не было «приветливого» вида. Пройдя с полдюжины кварталов, я стряхнул с себя уныние, собрал все свое мужество. Это попрошайничество ведь была игра, и если мне не нравятся карты, я могу сдать снова! Я решил взять на абордаж первый же дом. Я приблизился к нему в сгустившихся сумерках и обошел кругом, ища кухонной двери.

Я легонько постучал, и когда увидел доброе лицо женщины средних лет, вышедшей на мой стук, меня словно наитием осенило насчет «истории», которую ей следовало рассказать. Надобно вам знать, что успех попрошайки зависит от его умения рассказать хорошую «историю». Первым делом, в первое же мгновение, попрошайка должен «примериться» к своей жертве; затем—рассказать «историю», способную подействовать на ум и темперамент избранной жертвы. Здесь-то и кроется главное затруднение: в момент «примеривания» к жертве он уже должен начать рассказывать свою повесть. У него нет ни минуты на приготовление: с молниеносной быстротой должен он разгадать натуру жертвы и придумать сказку, которая подействовала бы. Удачливый бродяга должен быть художником! Он должен творить легко и молниеносно—и притом не на тему, почерпнутую из запасов своего воображения, но на тему, прочитанную на лице особы, открывшей дверь, будь то мужчина, женщина или дитя, человек ласковый или хмурый, щедрый или скупой, добродушный или сварливый, иудей или варвар, чернокожий или белый, настроенный братски или с расовыми предрассудками, провинциал или столичный житель, или еще кто-нибудь!.. Мне не раз приходило в голову, что своим успехом писателя я в значительной степени обязан школе, которую прошел в дни своего бродяжничества. Чтобы добывать хлеб насущный, я вынужден был сочинять правдоподобные сказки. У черного хода, под давлением неумолимой нужды, развивается та убедительность и искренность, которых все критики требуют от короткой новеллы. Я думаю, кроме того, что и реалистом меня сделала моя бродяжническая выучка. Реализм—единственный товар, который можно обменять у кухонных дверей на съестное!

Искусство в конце концов есть лишь усовершенствованное лукавство, а лукавство часто делает ненужной «историю». Помню, как однажды я лгал в полицейском участке в Виннипеге, в Манитобе. Я ехал на Запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Разумеется, полиции нужна была моя «история», и я рассказал ее им с места в карьер! Это были сухопутные крысы, из самых недр материка. Что могло быть лучше в данном случае «морской истории»? На морской сказке они никак не могли бы поймать меня! Вот я и рассказал жуткую повесть моей жизни на сатанинской посудине «Гленмор». (Я как-то видел корабль «Гленмор», стоявший на якоре в заливе Сан-Франциско).

Я выдал себя за англичанина, отданного «в науку». Мне ответили, что выговор у меня не английский. В ту же секунду нужно было вывернуться! Я, мол, родился и воспитывался в Соединенных Штатах. По смерти родителей я был отправлен в Англию к дедушке и бабушке. Они-то и отдали меня «в науку» на «Гленмор». Хочу на-

деяться, что капитан «Гленмора» простит меня за аттестацию, которую я дал ему в тот вечер в полицейском участке Виннипега! Вот жестокий человек! Вот зверь! Какая сатанинская изобретательность в пытках! Неудивительно, что я сбежал с «Гленмора» в Монреале...

Но как же я очутился в центре Канады, по дороге на Запад, раз мои дедушка и бабушка живут в Англии? Я мгновенно сочинил себе замужнюю сестру, живущую в Калифорнии; она позаботится обо мне! Я пространно стал расписывать эту «любящую душу». Но жестокосердые полицейские не хотели оставить меня в покое! Я сел на «Гленмор» в Англии; где был и что делал корабль в эти два года, до моего дезертирства в Монреале? И я взял этих сухопутных крыс с собою в кругосветное путешествие. Среди грозных волн, обдаваемые брызгами пены, они перенесли со мной тайфун на высоте Японии! Они грузили и выгружали со мной товары во всех портах Семи Морей! Я таскал их в Индию, в Рангун, в Китай, заставил их рубить вместе со мной льды вокруг мыса Горн и, наконец, ошвартоваться в Монреале! [1]).

Они попросили меня подождать минутку. Один из полицейских вышел куда-то в ночную тьму, в то время как я грелся у печки, ломая себе голову над вопросом: какую еще ловушку подстроят они мне?

Увидев «его», входящего вместе с полицейским, я испустил мысленный стон: не комедией были вдетые в его уши золотые сережки; не степные ветры превратили эту кожу в морщинистый пергамент; не снежные метели, не шатание по горным склонам сообщили ему эту походку, напоминавшую качку судна! В глазах же, когда они взглянули на меня, я сразу увидел несомненные ответы моря. Вот так загвоздка! А тут еще меня наблюдает полдесятка полицейских, а я никогда не плавал в китайских морях, не огибал Горна, не видел Индии и Рангуна!

Положение было отчаянное. Катастрофа была неизбежна; она воплотилась для меня в образ этого обветренного, с золотыми серьгами в ушах сына моря! Кто он? Что он собой представляет? Я должен разгадать его прежде, чем он разгадает меня! Я должен взять «новую ориентацию», иначе все эти злые полицейские уберут меня в тюремную камеру, в полицейский суд. Если он спросит меня первый раньше, чем я раскушу его, я пропал!

---

[1]) Рангун – город в Нижней Бирме, в Британском Индо-Китае.
Горн — самый южный мыс Южной Америки, на крайнем острове архипелага Огненной Земли.
Монреаль — город провинции Квебек в Канаде.

Вы думаете, я выдал свое отчаянное положение зоркоглазым блюстителям общественного благополучия в Виннипеге? Нет, сто раз нет! Я встретил пожилого матроса с улыбкой и радостью в очах, с облегченным видом утопающего, вдруг ощутившего в слабеющей руке спасательный пояс. Вот человек, который понимает и может удостоверить справедливость моего правдивого рассказа перед лицом этих ищеек, ничего не смыслящих в морском деле! Так, по крайней мере, я себя держал. Я накинулся на него; я засыпал его вопросами о нем самом. Мне нужно было выяснить личность моего спасителя раньше, чем он начнет спасать меня.

Он оказался добродушным матросом, «легкой мишенью». Я долго расспрашивал его, и полицейские начали терять терпение. Наконец, один приказал мне замолчать; я замолчал, но мысленно деятельно набрасывал сценарий следующего акта. Я достаточно узнал для начала! Он француз. Он плавал только на французских судах, если не считать одного переезда на английском корабле. А главное—о, радость!—он уже двадцать лет не был на море!

Полицейский предложил ему проэкзаменовать меня.

— Ты останавливался в Рангуне?—спросил он.

Я кивнул.

— Мы там ссадили нашего третьего штурмана. Горячка!

Если бы он спросил меня, какая горячка, я собирался ответить: «энтерическая»; убейте меня, если я знаю, что это такое! Но он не задал этого вопроса. Вместо того он спросил:

— А как было в Рунгуне?

— Ничего. Дожди все время, пока мы стояли там!

— На берег отпускали?

— Понятно!—ответил я.—Мы, трое юнгов, сошли на берег!

— Храм видели?

— Какой храм?—отпарировал я вопрос.

— Большой, что наверху лестницы!

Знай я, что там есть храм, я сумел бы описать его. Пропасть разверзлась передо мной!

Я покачал головой.

— Его видно отовсюду в порту!—заметил он.—Чтобы посмотреть этот храм, нет надобности брать отпуск на берег!

Никогда еще в своей жизни я не ощущал такой ненависти к храмам. Всю ее я сосредоточил на этом рангунском храме!

— Его нельзя видеть из порта!—стал я возражать.—Его нельзя видеть из города. Его нельзя видеть с вершины лестницы. Потому что... —и я сделал паузу, чтобы усилить эффект,—потому что там вовсе нет храма!

— Но ведь я видел его своими глазами!—вскричал он.

— Это было?..—спросил я.

— В семьдесят первом.

— Храм разрушен большим землетрясением 1887 года—объяснил я.—Он был такой ветхий...

Наступило молчание. Перед своим мысленным взором он, наверное, деятельно восстанавливал свое юношеское видение—образ храма у моря.

— Но лестница еще существует!—утешил я его.—Ее видно отовсюду в порту. А помнишь островок справа от входа в порт?—Должно-быть, был такой островок (я приготовился уже передвинуть его влево), потому что он кивнул.—Исчез!—добавил я.—На том месте теперь семисаженная глубина!

Я перевел дух. Покуда он размышлял о превратностях времени, я подготавливал заключительные штрихи своей истории.

— А помнишь таможню в Бомбее?

Он помнил ее.

— Сгорела до тла!—объявил я.

— А ты помнишь Джима Уэна?—ответил он мне вопросом.

— Помер,—сказал я, не имея ни малейшего понятия, кто таков был этот Джим Уэн.

Опять подо мной затрещал лед!

— Помнишь Билли Гарпера из Шанхая?—быстро спросил я в свой черед.

Пожилой моряк добросовестно старался вспомнить, но сочиненный мною Билли Гарпер оказался не по силам его ослабевшей памяти.

— Да ты, наверное, помнишь Билли Гарпера,—настаивал я.—Его все знают! Он жил там сорок лет. Так вот,—он все еще там!

И тут свершилось чудо! Матрос вспомнил Билли Гарпера! Может быть, существовал какой-нибудь Билли Гарпер; может быть, он жил в Шанхае сорок лет к ряду и все еще находился там; но для меня это была совершенная новость!

Еще добрых полчаса беседовали мы с матросом на этакий манер. В конце концов он объявил полицейским, что я тот, за которого себя выдаю; переночевав у них и позавтракав, я был отпущен на волю и мог продолжать путешествие к моей замужней сестре в Сан-Франциско!

Но вернемся к женщине из Рено, которая отперла мне дверь в сумерках. Первый же взгляд на ее доброе лицо дал мне путеводную нить! Я превратился в смирного, невинного, несчастного паренька... Я не мог даже заговорить. Я раскрыл рот и снова закрыл его. Никогда еще в жизни я не просил пропитания. Растерянность моя была так тягостна, так очевидна! Я просто горел от стыда. Я, считавший

попрошайничество приятным капризом судьбы, превратился в истого сына м-с Грэнди, классической мещанки, зараженного всей ее буржуазной моралью. Только острые муки голода могли, мол, толкнуть меня на такое унизительное и гнусное дело, как протягивание руки за куском... И я постарался изобразить на лице всю нерешительность изголодавшегося и простодушного юноши, не привыкшего просить милостыню.

— Ты голоден, бедный мальчик?—спросила она.

Я заставил ее заговорить раньше меня.

Я кивнул и всхлипнул.

— Я первый раз в жизни... прошу,—пролепетал я.

— Ну, входи!—Дверь распахнулась.—Мы уже кончили обедать, но печь еще топится, и я приготовлю тебе чего-нибудь...

Повернув меня к свету, она внимательно осмотрела меня.

— Хоть бы мой мальчик был так же здоров и силен!—проговорила она.—Но он слабенький. Иногда падает наземь... Да вот, нынче вечером он упал и сильно расшибся, бедняжка...

Она ласкала его голосом, и такая в нем была нежность, что мне захотелось присвоить ее! Я взглянул на мальчика. Он сидел за столом, худой и бледный, с забинтованной головой. Он не шевелился, но глаза его, блестевшие при свете лампы, устремлены были на меня с выражением застывшего удивления.

— Совершенно как мой бедный папа!—сказал я.—У папы была падучая. Какое-то там головокружение. Доктора даже стали втупик! Никак не могли выяснить, что с ним такое...

— Он умер?—осторожно спросила она, кладя передо мною штук пять яиц, сваренных всмятку.

— Умер,—всхлипнул я.—Две недели тому назад. Я был при нем в это время. Мы переходили улицу. Он упал и не пришел больше в сознание. Его отнесли в аптеку. Там он скончался...

Я стал размазывать жалостную историю моего отца: как мы с ним после смерти моей «мамы» отправились в Сан-Франциско с нашего ранчо; как мы прожили его пенсию (он, видите ли, был отставной военный) и небольшие деньжонки, которые у него были в запасе, и как он пробовал заняться книжной агентурой. Я расписал также свои бедствия в первые несколько дней после его смерти, когда я скитался, одинокий и бездомный, по улицам Сан-Франциско.

Покуда добрая женщина поджаривала для меня хлеб и сало и варила новую порцию яиц, я зорко следил за всем окружающим, всему отдавая честь, и размалевывал образ сочиненного мною сиротки, дополняя его новыми деталями. Я впрямь сделался этим «бедным мальчиком». Я поверил в него так же живо, как поверил в чудесные яйца, которые уплетал. Я чуть не плакал над самим собою! Помню,

временами в моем голосе слышались неподдельные слезы! И это действовало.

И после каждого штриха, который я прибавлял к картине, добрая душа подносила мне еще чего-нибудь. Она приготовила мне завтрак—в дорогу. Она положила мне в узелок вареных яиц, соли и перцу, хлеба и большое яблоко. Она снабдила меня тремя парами толстых красных шерстяных чулок. Она надавала мне чистых носовых платков и других вещей—я уж забыл, чего именно. И все время стряпала да стряпала, а я ел да ел! Я пожирал, как дикарь; но ведь мне предстояло совершить далекий путь через Сиерры на площадке багажного вагона, и кто знает, где мне доведется поесть в следующий раз? И все это время, как фигура смерти на пиршестве, безмолвный и недвижимый, сидел и глазел на меня через стол ее собственный несчастный мальчик. Полагаю, я воплощал для него тайну, романтику, приключение—все, чего был лишен он, эта слабо тлевшая искорка жизни. Раз или два я поймал себя на мысли: а не видит ли он меня насквозь, до самого дна моей лживой душонки?

— Куда же ты направляешься?—спросила меня женщина.

— В Солт-Лэк-Сити—Город Соленого Озера [1]),—объявил я.—У меня там сестрица—замужняя сестра. (Я подумал: не превратить ли ее в мормонку, но решил, что не стоит). Муж ее—водопроводчик, занимается подрядными работами...

Я хорошо знал, что подрядчики водопроводных работ зашибают уйму денег. Но слово уже вылетело—надо было теперь держать фасон.

— Они бы мне прислали денег на дорогу, если бы я попросил,—продолжал я,—но они болели, а тут еще и деловые неприятности! Компаньон надул его! Так я и не стал беспокоить их насчет денег. Я рассчитывал как-нибудь добраться своими силами. Они и полагали, что у меня хватит денег добраться до Солт-Лэк-Сити. Сестра моя—хорошая, добрая женщина. Она всегда была ласкова со мной. Придется, видно, поступить мне в мастерскую и изучить это дело! У нее две дочки, помоложе меня. Одна совсем малютка...

Из всех моих замужних сестер, которых я разбросал по всем городам Соединенных Штатов, эта сестра из Солт-Лэка—самая любимая. Это рослая матрона, чуть-чуть тронутая достойной полнотой, из тех, знаете, женщин, что вечно стряпают вкусные вещи и никогда не раздражаются. Она брюнетка. Муж ее—степенный, покладистый человек. Иногда мне начинает казаться, что я с ним хорошо знаком. И кто знает, не встречу ли я его когда-нибудь? Если тот пожилой

---

[1]) Город и озеро лежат на высоте 1.283 *м* в так называемом Большом Бассейне, между горами Уасэг и Сиеррой-Невадой. Жители Города Соленого Озера, преимущественно м о р м о н ы (религиозная секта).

матрос мог вспомнить Билли Гарпера, я не вижу причин, почему бы и мне не встретить когда-нибудь мужа моей сестры, живущей в Солт-Лэк-Сити!.

С другой стороны, во мне живет уверенность, что я никогда не встречу во плоти моих многочисленных родителей и прародителей— я неизменно отправлял их на тот свет. Разрыв сердца—излюбленный способ, которым я избавлялся от матери; впрочем, иногда я расправлялся с нею при помощи чахотки, воспаления легких и тифа. Правда, в Англии у меня были дед и бабка, что могут удостоверить виннипегские полисмены; но это было давно, и вероятно сейчас их уже нет в живых. Во всяком случае, они мне ни разу не писали.

Хочу надеяться, что женщина из Рено прочтет эти строки и простит мне мое бесчувствие и лживость! Я не приношу извинений, ибо мне не стыдно. Молодость, вкус к жизни и опыту привели меня к ее порогу. Эта ложь принесла мне пользу. Она позволила мне обнаружить врожденную доброту человеческой натуры. Надеюсь, что и ей не получилось ущерба! Во всяком случае, она может теперь сердечно посмеяться прошлому, узнав правду!

Для нее моя басня была «истиной». Она поверила и в меня, и в мою семью, она так озабочена была предстоящим мне опасным путешествием в Солт-Лэк-Сити! Эта заботливость чуть не накликала на меня беды. Когда я уже уходил, с руками, отягченными завтраком, и карманами, отдувавшимися от шерстяных чулок, она вдруг вспомнила какого-то не то племянника, не то дядю—словом, родича, служившего на перевозках почты; в этот вечер он должен был проехать с тем самым поездом, на котором я собирался проехать зайцем! Как удачно сложилось! Она проводит меня в депо, расскажет ему мою историю, и он спрячет меня в почтовом вагоне! И я без всяких хлопот и рисков доеду до самого Огдена! А оттуда всего несколько миль до Солт-Лэк-Сити... У меня сердце упало! Развивая этот план, она все больше одушевлялась, и я, скрепя сердце, вынужден был симулировать необузданный восторг, радоваться этому выходу из моих затруднений.

Выход? Чорт возьми, мне надо было ехать на Запад, а тут извольте ехать на Восток! Я попал в настоящий капкан, и у меня нехватило духа признаться ей, что я самым гнусным образом наврал. Итак, разыгрывая восторг, я напряженно ломал себе голову: как бы вывернуться? Но выхода не было! Женщина объявила, что непременно самолично посадит меня в почтовый вагон, и этот ее почтовый родич отвезет меня в Огден. Оттуда мне пришлось бы проделать обратно все эти сотни миль лишнего пути!

Но счастье сопутствовало мне в этот вечер. Уже собравшись нацепить шляпу с тем, чтобы пойти провожать меня, она спохватилась,

что ошиблась. Ее родич не должен был проезжать в этот вечер! Расписание переменилось! Он должен был проехать только через два дня. Я был спасен, ибо, конечно, молодое нетерпение не могло ждать двое суток. Я оптимистически стал уверять ее, доказывать, что скоро доберусь до Солт-Лэк-Сити, если отправлюсь немедленно, и ушел, осыпанный ее благословениями и добрыми пожеланиями, до сих пор еще звучащими в моих ушах.

Но ее шерстяные чулки были бесподобны! Говорю это с полным знанием дела. На мне была пара ее чулок в этот вечер: я ехал на багажной площадке прямого поезда, и этот поезд мчался на Запад...

ДЕРЖИСЬ!

Если исключить несчастные случаи, то сильный бродяга, молодой и ловкий, может удержаться на поезде, несмотря на все усилия поездной бригады «спихнуть» его; разумеется, существенным условием для этого успеха является ночная пора. Когда бродяга в подобных условиях скажет себе, что он д о л ж е н удержаться на поезде, то либо он удержится, либо... поезд его не удержит. Нет такой меры, исключая, может быть, прямого убийства, перед которой остановилась бы поездная бригада в стараниях «спихнуть» бродягу! Что кондуктора не останавливаются ни перед чем, кроме убийства, в этом все бродяги мира твердо уверены. Не пережив такого опыта в моей личной бродяжнической жизни, я не могу поручиться за это.

Но вот я слыхал о «дурных» дорогах. Если бродяга заберется под вагон на перекладины, и поезд тронется, то, кажется, нет никаких способов выгнать его оттуда, пока поезд не остановится. Уютно пристроившись под товарным вагоном на брусьях, окруженный четырьмя колесами и целой сетью скреплений, бродяга может плевать на бригаду—по крайней мере, так он думает, пока в один прекрасный день не попадет на «дурную» дорогу. Дурная дорога—это такая железная дорога, на которой бродягами был убит один или несколько железнодорожников. Да смилуется небо над бродягой, попавшим под вагон на такую дорогу—его поймают, хотя бы поезд делал шестьдесят миль в час!

Тормозной кондуктор берет болт для сцепки вагонов и веревку на платформу перед тем товарным вагоном, под которым едет бродяга. Кондуктор привязывает этот болт к веревке и спускает ее между вагонами, ослабляя понемногу. Болт ударяется о шпалы между рельсами, отскакивает, ударяется о дно вагона и опять ударяется о шпалы. Кондуктор водит веревку взад и вперед, переносит ее то вправо, то влево, то опустит веревку, то подтянет снова, дает возможность своему оружию отскакивать во всех направлениях. Каждый удар этого пляшущего болта несет верную смерть, а при скорости в шестьдесят миль в час он выбивает по нижней части вагона настоящую барабанную дробь смерти! На другой день останки бро-

дяги подбирают на полотне, и в местной газете этому происшествию посвящается одна строчка—говорится о «неизвестном, вероятно—бродяге, вероятно—пьяном, который, как видно, расположился спать на рельсах».

Для иллюстрации выносливости способного бродяги я расскажу вам следующий случай. Я находился в Оттаве [1]) и мне нужно было ехать на Запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Передо мной простирались три тысячи миль этой дороги; дело было осенью, и мне нужно было пересечь Манитобу [2]) и Скалистые горы. Я имел все основания ожидать ненастья, и каждая минута отсрочки усиливала вероятные тяготы путешествия. Кроме того, я находился в большой досаде на самого себя. Расстояние между Монреалем и Оттавой составляет сто двадцать миль. Я должен был бы это знать, ибо только-что исходил пешком этот участок, что отняло у меня шесть суток. Но по оплошности я пропустил магистральную линию и вышел на малую объездную ветку, по которой ходили лишь два местных поезда в сутки. Все эти шесть дней я питался сухими корками, да и их было мало, а выпрашивал я их у окрестных французов-крестьян.

Мое дурное настроение еще больше усилилось после проведенного в Оттаве дня в тщетных попытках раздобыть платье для предстоящего далекого путешествия. Позвольте заметить вам, что Оттава, за одним исключением,—самый жестокосердный город в Соединенннных Штатах и Канаде по части выпрашивания платья; исключением является Вашингтон в округе Колумбия. Этот город—предел всего! Здесь я провел как-то две недели, напрасно выпрашивая пару башмаков; я получил их только тогда, когда перешел в Джерси-Сити.

Но вернемся к Оттаве. В восемь утра я вышел на охоту за платьем. Я энергично работал весь день. Готов поклясться, что я прошел сорок миль. Я опросил хозяек чуть ли не тысячи домов. Я даже не отказался от работы только за обед! И вот, к шести часам вечера после десятичасового неослабного и изнурительного труда у меня не было еще рубашки, а штаны, которые мне удалось выклянчить, были тесны и, кроме того, обнаруживали признаки преждевременного разложения.

В шесть часов я бросил работу и направился к железнодорожным поселкам, рассчитывая по пути добыть какую-нибудь пищу. Но неудача преследовала меня. Дом за домом обходил я, везде получая отказ. Наконец, я получил подачку. Я воспрянул духом, это была крупнейшая подачка, какую я когда-либо видел за свой продолжительный и разнообразный опыт. Пакет, завернутый в газету, большой, как чемодан!

---

[1]) Главный город Канады.

[2]) Одна из провинций Канады.

Я поспешил в укромное местечко и развернул его. Первым делом я увидел пирожное, потом еще пирожное, всевозможные сорта и виды пирожного и печенья. И это досталось мне, больше всего на свете ненавидящему пирожное! В другом веке и в другом климате я, может быть, сидел бы «на реках Вавилонских» и плакал бы. А теперь сидел на пустыре гордой столицы Канады и плакал... над грудой пирожных! Как человек смотрит на лицо мертвого сына, так и я смотрел на эту разбросанную кондитерскую; должно-быть, я неблагодарный бродяга; я отказался насладиться щедротами дома, в котором накануне была вечеринка! Вероятно, и гостям не по вкусу пришлись пирожные!

Эти пирожные были кризисом в моей судьбе. Хуже этого ничего не могло быть; стало-быть, дело должно пойти на поправку! Так оно и вышло. Уже в следующем доме меня пригласили «посидеть»! «Посидеть»—верх блаженства для бродяги. Вас вводят в комнату, очень часто дают возможность помыться, а потом усаживают за стол. Бродяги очень любят вытянуть ноги под столом. Дом, куда меня пригласили, был большой и уютный, стоял он среди широкого двора и чудесных деревьев, довольно далеко от улицы. Домочадцы только-что окончили обед, но меня привели прямо к столу. Это уже само по себе было необычайное событие; обычно бродяга, которому выпадает необыкновенное счастье получить приглашение «посидеть», счастье это вкушает в кухне. Приветливый седоватый англичанин, его степенная жена и хорошенькая молодая француженка беседовали со мной, покуда я ел.

Интересно знать, помнит ли эта хорошенькая молодая француженка, каким смехом она залилась в тот день, когда я на варварски изуродованном «французском» языке попросил у нее «монетку». «Что такое?»—переспросила она. Я повторил. Она залилась неудержимым серебристым смехом.

Придя к станции, я, к большому моему огорчению, застал там десятка два бродяг, тоже поджидавших случая вскочить на тормозную площадку тихоокеанского поезда. Двое-трое бродяг на тормозной площадке—ничего. Они незаметны. Но два десятка! Это грозило осложнениями. Никакая поездная бригада не позволит проехать всем!

Теперь я вам объясню, что такое тормозная площадка. Некоторые почтовые вагоны строятся без дверей на концах; это так называемые «слепые» вагоны. В почтовых же вагонах, снабженных на конце дверьми, эти двери всегда заперты. Представьте себе, что поезд тронулся, и бродяга вскочил на площадку одного из таких «слепых» вагонов. Двери нет, или дверь заперта. Ни кондуктор, ни смазчик тормозов не могут добраться до бродяги, чтобы потребовать от него билет или «спихнуть» его. Ясно, что бродяга находится в безопасности до первой остановки поезда. У остановки же он должен спрыгнуть, побежать

вперед впотьмах и, когда поезд тронется, опять вскочить на площадку. Но это, как увидите, не так-то легко.

Когда поезд тронулся, двадцать бродяг всей оравой ринулись на три площадки. Они взобрались на них еще прежде, чем поезд успел отойти на длину вагона. Это были неуклюжие олухи—и я был свидетелем их бесславного конца. Разумеется, поездная бригада все видела, и на первой же остановке пошла потеха. Я соскочил с площадки и побежал вперед по полотну. Я заметил, что за мною следует несколько бродяг. Они, видно, знали свое дело. Кто хочет ехать на поезде прямого сообщения, тот всегда должен держаться впереди поезда на остановках. Я побежал в перед, да так, быстро что следовавшие за мной поотставали один за другим. Это была проверка мастерства и самообладания при атаке поезда.

Вот как происходит дело: когда поезд трогается, кондуктор обыкновенно стоит на одной из «слепых» площадок. Он не может попасть в поезд иначе, как соскочив со «слепой» площадки и вскочив на такую, где есть дверь в вагон. Если поезд идет с такой скоростью, что кондуктор отваживается рискнуть, он соскакивает с площадки на платформу, пропускает несколько вагонов и вновь вскакивает на поезд. И вот бродяга должен забежать вперед настолько, чтобы прежде, чем с ним поровняется площадка, кондуктор уже соскочил с нее.

Я оставил за собой последнего бродягу приблизительно в пятидесяти футах и стал ждать. Поезд тронулся. Я заметил фонарь кондуктора на первой тормозной площадке. Он ехал на ней. И видел олухов, беспомощно стоявших у рельсов, когда площадка прошла мимо. Они и не пытались вскочить на нее. Они в самом начале были побиты собственным невежеством. После них показались бродяги, немножко знавшие толк в игре. Они пропустили первую площадку, занятую кондуктором, и вскочили на вторую и третью. Разумеется, кондуктор соскочил с первой площадки, вскочил на вторую, когда она прошла мимо, и «спихнул» людей, стоявших на ней. Я же находился так далеко впереди, что когда первая площадка поровнялась со мной, кондуктора уже не было на ней—он возился с бродягами на второй площадке. С полдюжины более искушенных бродяг, забежавших достаточно далеко вперед, также вскочили на первую площадку.

На следующей остановке, когда мы побежали по полотну, я насчитал пятнадцать человек. Пятерых уже не было в поезде. Опять начался процесс «выпалывания», и он продолжался на каждой станции. Нас осталось четырнадцать, потом двенадцать, потом одиннадцать, потом девять, потом восемь. Это напомнило мне детскую песенку о десяти негритенках. Я решил, твердо решил, быть последним негритенком! Почему бы нет? Разве судьба не наделила меня силой, ловкостью и молодостью? (Мне было восемнадцать лет, и я был совершенно здоров).

Разве у меня не было «нервов»? Я был король среди бродяг. А все другие бродяги разве не были дубины, олухи, диллетанты по сравнению со мною? Если я не останусь на поезде последним, так лучше мне сразу бросить игру и поступить на какую-нибудь ферму разводить клевер!

К тому времени, когда нас осталось только четверо, вся кондукторская бригада заинтересовалась игрой. С этой минуты началось настоящее состязание в уме и ловкости, при чем все шансы были на стороне бригады. Один за другим трое бродяг отстали—и я остался один. Как я гордился собой! Кажется, никакой Крез не гордился так своим первым миллионом! Я удержался на поезде, несмотря на двух смазчиков, одного кондуктора, кочегара и машиниста!

Вот как я добивался этого. Я бегу впотьмах вперед—так далеко вперед, что кондуктор, стоящий на первой площадке, обязательно должен соскочить с нее прежде, чем она поровняется со мной! Отлично! Я спокоен до ближайшей станции. Когда эта станция достигнута, я опять бросаюсь вперед, чтобы повторить маневр. Поезд трогается. Я наблюдаю его приближение. На площадке не видно фонаря. Неужели бригада отказалась от борьбы? Не знаю. Никогда нельзя этого знать— и всегда нужно быть готовым ко всему! Когда моя площадка поровнялась со мной, я бегу рядом, напрягая зрение, чтобы разглядеть кондуктора на площадке. Насколько я понимаю, он должен быть здесь с потушенным фонарем, и в то мгновение, когда я вскочу на ступеньку, этот фонарь может треснуть меня по голове! Я знаю это,—раза два-три меня дубасили фонарями!

Нет! На первой площадке пусто! Поезд ускоряет ход. Я в безопасности до следующей станции. Но так ли это? Я чувствую, что поезд замедляет ход. Мгновенно я настораживаюсь. Против меня задуман какой-то маневр, и я не знаю, в чем он состоит. Я озираюсь направо и налево, не забывая, в то же время тендера, находящегося передо мной. Я могу подвергнуться атаке с любого из этих трех направлений или разом со всех трех.

А, вот что! Кондуктор был на паровозе! Первое предостережение я получил, когда ноги его застучали по ступенькам с правой стороны площадки. С быстротой молнии я соскочил с площадки налево и побежал вперед, обгоняя паровоз. Положение такое же, каким оно было с первой минуты, когда поезд вышел из Оттавы. Я впереди, и поезд должен пройти мимо меня. У меня хорошие шансы вскочить.

Я напряженно жду. Вижу, что к паровозу приближается фонарь, но не вижу, чтобы он удалялся от паровоза, стало-быть он все еще на паровозе, и можно предположить, что к ручке этого фонаря приделан кондуктор. Кондуктор ленивый, иначе он потушил бы фонарь, вместо того, чтобы закрывать его рукой, приближаясь. Поезд начинает дви-

гаться. Первая площадка не занята, и я вскакиваю на нее. Попрежнему поезд замедляет ход, кондуктор с паровоза перескакивает на площадку с одной стороны, а я соскакиваю с другой и бегу вперед.

Поджидая поезд во тьме, я испытываю прилив неподдельной гордости. Скорый поезд дважды останавливался из-за меня, из-за меня, бедного бродяги! Я дважды останавливал скорый поезд со множеством пассажиров и вагонов, с почтой, с двумя тысячами паровых сил, сосредоточенных в паровозе! А ведь и весу-то во мне всего сто шестьдесят фунтов, и в кармане у меня нет и пяти центов!

Опять, я вижу, фонарь приближается к паровозу. Но на этот раз он приближается демонстративно. Слишком демонстративно для моих интересов, и я недоумеваю, в чем дело. Во всяком случае, теперь мне надо бояться не столько кондуктора с паровоза, сколько чего-то другого. Поезд трогается. Во-время не успев сделать прыжка, я разглядел темную фигуру кондуктора без фонаря на первой площадке. Я пропускаю ее и готовлюсь вскочить на вторую. Но кондуктор соскочил с первой площадки и бежит за мной по пятам. Бегло замечаю фонарь кондуктора, выехавшего на паровозе. Он соскочил, и теперь оба кондуктора бегут за мной. В следующее мгновение проносится вторая площадка, и я на нее вскакиваю. Но я не задерживаюсь на ней. Я рассчитал свой контр-маневр. Перебегая через площадку, я слышу тяжелый удар сапог кондуктора по ступенькам, соскакиваю по другую сторону и бегу вперед вместе с поездом. Мой план заключается в том, чтобы забежать вперед и вскочить на первую площадку. Это рискованный шаг, ибо поезд ускоряет ход. Кроме того, по пятам за мною бежит кондуктор. Должно-быть, я—хороший бегун; я вскакиваю на первую площадку! Я стою на ступеньках и жду преследователя. Он отстал приблизительно на десять футов и бежит очень быстро; но поезд достиг своей нормальной скорости, и кондуктор кажется мне стоящим на месте. Я поощряю кондуктора, протягиваю ему руку; но он разражается скверным ругательством, отказывается от погони и вскакивает на поезд, пропустив несколько вагонов.

Поезд мчится вперед, я хохочу про себя, и вдруг, без предупреждения, меня окачивает струя воды! Кочегар направил на меня пожарный рукав с паровоза! Я перехожу с площадки вагона на заднюю часть тендера, где меня защищает навес. Вода безвредно бьет через мою голову! У меня руки чешутся взобраться на тендер и ошарашить кочегара глыбой угля; но я знаю, что если я это сделаю, то они с машинистом убьют меня, и потому воздерживаюсь.

На следующей остановке я соскакиваю и бегу вперед в темноте. На этот раз, когда поезд трогается, оба кондуктора находятся на первой площадке. Я разгадываю их план; они отрезали путь к повторению моей первой штуки! Я не могу опять вскочить на вторую

площадку, перебежать ее и вскочить на первую. И когда первая площадка проходит мимо, и я не вскакиваю на нее, они соскакивают с поезда в обе стороны. Я бросаюсь на первую площадку, зная, что через мгновение оба кондуктора одновременно вскочат на площадку справа и слева. Это ловушка! Оба пути заграждены. Но есть еще один путь—путь вверх!

Я не жду приближения преследователей. Я взбираюсь по отвесному переплету площадки и становлюсь на колесо ручного тормоза. Это отнимает некоторое время; я слышу стук кондукторских сапог по обе стороны площадки. Я не останавливаюсь взглянуть на кондукторов. Я вытягиваю руки вверх и касаюсь загнутых концов крыши двух вагонов. Одна рука на краю крыши одного вагона, другая—на крыше другого вагона. К этому времени оба кондуктора поднимаются по ступенькам. Я знаю это, но мне некогда поглядеть на них. Все это совершается в несколько секунд. Я подбираю ноги и подтягиваюсь на мускулах. И когда я уже подобрал ноги, кондуктора протягивают руки и хватают... пустоту! Я знаю это: я гляжу вниз, вижу их, слышу их ругательства.

Положение мое теперь довольно шатко: я держусь за концы покатых крыш двух вагонов. Быстрым, отчаянным движением я переношу обе ноги на загнутый кверху край одной крыши, а руки—на край другой. Затем переползаю наверх, на крышу, где могу передохнуть, ухватясь за вентилятор, возвышающийся над крышей. Теперь я наверху поезда, я «накрыл его», как говорят бродяги. Должен сказать вам теперь же, что только молодой и сильный бродяга может «накрыть» пассажирский поезд, да и этому молодому и сильному бродяге нужно обладать большим присутствием духа!

Поезд ускоряет ход; я знаю, что нахожусь в безопасности до следующей остановки, но только до остановки. Если я останусь на крыше после остановки поезда, кондуктора забросают меня камнями. Здоровый кондуктор может метнуть на крышу вагона восемь здоровых кусков угля весом этак от пяти до двадцати фунтов. С другой стороны, весьма вероятно, что на остановке кондуктора будут ждать моего спуска в том месте, где я поднимался наверх. Стало-быть, надо перебраться на какую-нибудь другую площадку.

Мысленно горячо помолившись, чтобы на следующей полумиле не попались туннели, я встаю и прохожу по крышам пяти-шести вагонов. И позвольте сказать вам, что, совершая такой поход, надо забыть, что такое страх. Крыши пассажирских вагонов не созданы для ночных прогулок. Если же кто полагает иначе, то пусть он сам испробует это. Пусть он погуляет по крыше качающегося и подпрыгивающего вагона, держась за черную пустоту, а когда дойдет до загибающегося конца крыши, мокрого и скользкого от росы, пусть ускорит

шаг, пусть переступит на следующую крышу, мокрую и скользкую! Поверьте мне, он узнает наверняка, крепкое ли у него сердце и подвержен ли он головокружениям...

Когда поезд замедлил ход, я спустился вагонов за шесть от того места, где «накрыл» поезд. Никого нет на площадке! Поезд останавливается, и я соскакиваю наземь. Впереди между мною и паровозом движутся два фонаря. Кондуктора ищут меня на крышах вагонов! Я замечаю, что вагон, у которого я стою, четырехколесный: это значит, что у него только четыре колеса на каждой тележке. (Когда едете под вагоном, избегайте «шестиколесных», это верная гиебль!).

Я ныряю под поезд, сажусь под вагоном на брусья и, могу вам сказать, отчаянно рад тому, что поезд еще стоит! Я впервые нахожусь под вагоном Канадско-Тихоокеанской дороги, и внутреннее устройство его мне незнакомо! Пытаюсь перелезть через верх тележки, между тележкой и дном вагона. Но пространство узко, и мне не протиснуться! Это новость! В других местах Соединенных Штатов я привык ездить под быстро мчащимися поездами; раскачиваясь, я, бывало, цепляюсь ногами за тормозный брус, оттуда перелезаю на верх тележки и внутри этой тележки усаживаюсь на перекладине.

Ощупав руками тележку, я убеждаюсь, что между тормозным брусом и землею есть пространство. С трудом, но протискиваюсь! Очутившись внутри тележки, я усаживаюсь на перекладины, посмеиваюсь: что-то думают обо мне кондуктора, куда я исчез? Поезд начинает двигаться. Они, верно, махнули на меня рукой.

Но так ли это? На следующей остановке я вижу, что под соседнюю со мной тележку, под другим концом вагона просовывается фонарь. Они ищут под тележками! Нужно скорей убираться! Я проползаю на животе под тормозным брусом. Они увидели меня, устремились за мной, но я переползаю на четвереньках через рельсы на противоположную сторону и вскакиваю на ноги. Потом во всю мочь бегу вдоль поезда и, пробежав мимо паровоза, прячусь в спасительную тьму. Первоначальное положение восстановлено! Я впереди поезда, и поезд должен пройти м и м о меня!

Поезд трогается. На первой площадке фонарь. Я сижу на земле и вижу кондуктора, всматривающегося во тьму. Но и на второй площадке фонарь! Этот кондуктор увидел меня и окликает кондуктора, стоящего на первой площадке. Оба соскакивают. Не беда, я вскочу на третью площадку и «накрою» поезд. Но, о, небо, на третьей площадке фонарь! Там пассажирский кондуктор! Я пропускаю вагон. Во всяком случае теперь впереди будет вся поездная бригада. Я поворачиваюсь и бегу в сторону, противоположную движению поезда. Оглядываюсь через плечо. Все три фонаря на земле, покачиваются, догоняют меня. Я усиливаю бег. Прошла половина вагонов, и, когда я

вскакиваю на площадку, поезд идет уже довольно быстро. Я знаю, что еще две секунды—и оба тормозчика и кондуктор, как разъяренные звери, настигнут меня! Я вскакиваю на колесо ручного тормоза, хватаю закругленный край крыши и поднимаюсь на мускулах; а мои разочарованные преследователи, сгрудившись подо мной на площадке, как собаки, упустившие кошку, кинувшуюся на дерево, осыпают меня проклятиями, непочтительно отзываясь о моих родителях и прародителях.

Но что за беда? Их пятеро против одного, включая машиниста и кочегара, за ними все величие закона и сила огромной корпорации, а я их всех перехитрил! Я забрался чуть не в конец поезда и, пробежав вперед по крышам вагонов, останавливаюсь над пятой или шестой площадкой от паровоза. Осторожно заглядываю вниз: на этой площадке кондуктор. Я знаю, он увидел меня, ибо кидается внутрь вагона; я знаю также, что он притаился за дверью и бросится на меня, когда я стану слезать. Но я делаю вид, что ничего не подозреваю, я остаюсь на месте, чтобы утвердить кондуктора в его заблуждении. Я не вижу его, но знаю, что он приотворил дверь и выглянул: тут ли я?

Поезд замедляет ход перед станцией. Я пробую спустить ноги. Поезд останавливается, мои ноги болтаются в воздухе. Я гляжу, как дверь тихонько отворяется... «Он» приготовился... Но я мгновенно вскакиваю на ноги и бегу вперед по крыше—над его головой, над дверью, где он притаился. Поезд все еще стоит; ночь тихая и я стараюсь производить как можно больше шума ногами по металлической крыше. Не знаю точно, но полагаю, что теперь кондуктор бежит вперед, чтобы схватить меня, когда я буду спускаться на следующей площадке. Но здесь я и не думаю спускаться! На половине крыши я поворачиваю, тихонько иду назад и быстро спускаюсь на площадку, которую только-что оставили и я, и кондуктор. Атмосфера очистилась: я стою на полотне по правую сторону поезда и прячусь во тьме. Ни одна душа не видела меня!

Я подхожу к забору, который тянется вдоль полотна, и наблюдаю. Ага! Что это? Вижу фонарь на крыше поезда, движущийся от головы к хвосту. Они думают, что я не сошел, и ищут меня на крышах! Мало того, на земле по каждую сторону поезда в уровень с фонарем движутся два других фонаря. Настоящие облавы на зайца, и я—этот заяц! Когда кондуктор на крыше найдет меня, остальные два сцапают! Я свертываю папиросу и наблюдаю, как процессия проходит мимо. Раз они прошли, я могу свободно бежать к голове поезда! Поезд трогается, и я беспрепятственно вскакиваю на первую площадку. Но не успел поезд пойти как следует, не успел я закурить папироску, как замечаю кочегара, который перелез через уголь в задний

конец тендера и смотрит на меня! Страх охватывает меня. С этого места он может превратить меня в студень, забросав глыбами угля! Но он обращается ко мне с речью, и я с облегчением слышу похвалу в его голосе.

— Ну, и сукин же ты сын!—говорит он.

Это—отменный комплимент, и я трепещу, как школьник, получивший награду.

— Послушай!—говорю я ему,—не обливай меня больше из рукава!

— Ладно!—отвечает он, и отправляется во-свояси.

Итак, я подружился с паровозом; но кондуктора все еще ищут меня! На следующей остановке кондуктора сидят на всех трех площадках, я попрежнему пропускаю их и «накрываю» середину поезда. Бригада проявила верх своей изобретательности—поезд останавливается! Кондуктора твердо решили либо «скинуть» меня, либо узнать, почему им это не удается. Три раза останавливался из-за меня континентальный скорый поезд, и каждый раз я удирал от кондуктора и «накрывал» поезд! Но теперь положение безнадежно, они, наконец, поняли, в чем дело. Я доказал им, что они бессильны отрезать от меня поезд. Им надо придумать что-нибудь другое.

И они придумали! Когда поезд останавливается в третий раз, они бегом кидаются за мной. А, понимаю их замысел! Они намерены извести меня гонкой! Первым делом они гонят меня в хвост поезда. Я понимаю всю опасность своего положения. Если я окажусь в хвосте поезда, он отойдет, оставив меня на бобах. Я поворачиваюсь, виляю, ныряю подмышками у моих преследователей и добираюсь до головы поезда. Один кондуктор не отстает! Ладно, я покажу ему гонку,—у меня крепкие легкие! Я бегу вперед по полотну. Все равно! Хоть бы он гнался за мною на протяжении десяти миль, ему все же придется вскочить на поезд, а я могу вскочить на поезд при любой скорости, если она по зубам кондуктору!

Итак, я бегу, держась впереди и напрягая зрение, чтобы во мраке не наткнуться на проволоку или на стрелку. Увы! Я слишком высоко задрал голову, зацепился ногами, не знаю, за что именно, растянулся на земле. Через секунду я опять на ногах! Но кондуктор уже схватил меня за ворот. Я не отбиваюсь; я только глубоко перевожу дыхание и приглядываюсь к нему. Это узкоплечий субъект, и во мне по меньшей мере на тридцать фунтов весу больше, чем в нем. Кроме того, он измучен не меньше меня, и если он попробует ударить меня, я дам ему сдачи.

Но он не пытается ударить меня—и с этой стороны вопрос решен. Он тянет меня к поезду, и тут возникает новая проблема.

Я вижу фонарь и другого кондуктора и второго смазчика. Мы приближаемся к ним. Но не даром я изучил повадки нью-йоркской полиции! Не даром в товарных вагонах, у водоемов, в тюремных камерах наслушался страшных рассказов о том, как людей изувечивают. Что если эти трое собираются изувечить меня? Увы, у них много причин желать этого! Мозг мой быстро работает! Кондуктора все ближе. Я измеряю глазом живот и челюсть моего противника и решаю дать ему «вправо и влево наотмашь» при первой же тревоге.

Фи! Я могу сыграть с ним другую штуку, и почти жалею, что не сделал этого в первый момент, когда он схватил меня. Хоть он и держит меня за шиворот, мне нетрудно вырваться. Пальцы его крепко впились в мой воротник. Пальто мое плотно застегнуто. Видали ли вы когда-нибудь «турникет»? Вот это что такое: мне остается только нырнуть слева под его руку и завертеться. Вертеться быстро, очень быстро. Я знаю, как это делается. Вывернуться сильным рывком, нырнуть головой под его руку, и так несколько раз! Он не успеет опомниться, как пальцы его разожмутся! Он не сможет удержать их! Это будет так, как нажим сильнейшего рычага. Через двадцать секунд после того, как я завертчусь, кровь брызнет у него из-под кончиков пальцев, нежные связки порвутся, все его мускулы и нервы превратятся в раздавленную, кровоточащую массу! Испытайте это на ком-нибудь, кто схватит вас за шиворот. Но проделайте это быстро, молниеносно! И, вертясь, не забудьте закрыться—закройте лицо левой рукой, а живот прикройте правой. Ведь противник может попробовать остановить вас ударом свободной руки! Не забудьте также, что вращаться лучше всего в сторону от этой свободной руки, чем по направлению к ней. Получить удар, удаляясь, не так опасно, как получить его, приближаясь.

Но этому смазчику так и не суждено было узнать, какой страшной опасности он подвергался. Спасло его только то, что в планы кондукторов не входило изувечить меня. Когда кондуктора были уже близко, он закричал, что привел меня; они дали сигнал машинисту подойти ближе. Мимо нас проходил паровоз и три тормозных площадки. После этого кондуктор и другой смазчик бросаются на поезд, один смазчик продолжает держать меня. Я понимаю его план—он будет держать меня, пока не пройдет хвост поезда; тогда он вскочит в вагон, а я останусь позади.

Но поезд сильно дернул с места, машинист старается наверстать потерянное время. Да и длинный же поезд! Идет он быстро, и я знаю, что смазчик со страхом измеряет его скорость.

— Ты думаешь, тебе это удастся?—невинно спрашиваю я.

Он выпускает мой ворот, быстро бежит и вскакивает на площадку. Еще несколько пассажирских вагонов должно пройти мимо. Он знает это, становится на ступеньки и ищет меня глазами, вытянув голову. В этот момент у меня рождается план такого маневра. Я вскочу на последнюю площадку! Я знаю, что поезд все прибавляет ходу, но если я и сорвусь, то упаду в грязь—и мне помогает мой молодой оптимизм. Я не сдамся! Я стою, понурив голову и втянув плечи, ясно показывая всем своим видом, что оставил всякую надежду и в то же время ощупываю ногами песчаный грунт. Отлично можно упереться! Не перестаю следить и за вытянутой головой смазчика. Я вижу, он убрал ее. Он уверен, что поезд идет слишком быстро, и мне не вскочить!

И быстро же в самом деле идет поезд—при такой скорости я еще не брал его на абордаж! Когда проходит последний вагон, я пускаюсь бежать в одном направлении с ним. Бег—короткий и быстрый! Я не могу поровняться с поездом, но могу довести разницу в наших скоростях до минимума и, стало-быть, уменьшить силу толчка, когда вскочу на поезд. Во тьме я не вижу железных перил на последней площадке; да и времени нет вглядываться. Я бросаюсь туда, где, по моим предположениям, она должна находиться, и в тот же момент ноги мои отделяются от земли. Все слилось в один толчок. Через секунду я могу покатиться наземь со сломанным ребром, рукой, с разбитой головой. Но пальцы мои крепко ухватывают железо, сильный толчок слегка вывихивает мне плечи, но ноги попадают на ступеньки вагона.

Я сажусь на ступеньку в неописуемой гордости! За все время моего бродяжничества это—шедевр посадки в поезд на ходу! Я знаю, что глубокой ночью можно безопасно проехать несколько станций под ряд на последней площадке, но боюсь опасностей последнего вагона. На первой же остановке я бегу вперед по правую сторону поезда, пробегаю пульмановские вагоны, ныряю под поезд и помещаюсь на перекладинах под пассажирским вагоном. На следующей остановке опять бегу вперед и сажусь под другой вагон.

Теперь я нахожусь в относительной безопасности. Бригада воображает, что отделалась от меня. Долгий день и томительная ночь начинают давать знать о себе. Кроме того, под вагоном не так чувствуется ветер и холод: я начинаю дремать. А этого нельзя; заснуть под вагоном—верная смерть, и потому на следующей станции я вылезаю и иду ко второй тормозной площадке. Здесь я могу полежать и поспать: и я засыпаю; как долго я спал, не знаю, ибо проснулся от света фонаря, поднесенного к самому моему лицу. Два кондуктора уставились на меня! Я поднимаюсь, принимаю оборонительную

позу, соображая, кто из них ударит первый. Но бить меня, повидимому, не входит в их намерения.

— А я думал, мы отделались от тебя!—говорит кондуктор, державший меня за шиворот.

— Если бы ты не отпустил меня, остался бы без поезда вместе со мной,—отвечаю я.

— Каким образом?—спрашивает он.

— Я не пустил бы тебя, только и всего!

Они устраивают совещание и выносят краткий вердикт:

— Ну, я думаю, ты можешь ехать. От тебя не отделаешься!

И они уходят прочь, оставив меня в покое до смены бригад.

Я рассказал все это, как пример того, что значит «удержаться на поезде». Разумеется, я выбрал удачную ночь из архива моих шатаний и ничего не рассказал о ночах—а их было много!—когда меня сбрасывали с поезда.

В заключение расскажу вам, что со мною было, когда мы доехали до места смены бригад. На одноколейных транс-континентальных линиях товарные поезда ожидают на тех станциях, где происходит смена бригад, и отходят после того, как пройдут пассажирские. Когда мы доехали до одной такой станции, я оставил поезд и стал искать товарного, отходящего следом за скорым. Разыскав товарный поезд, я отошел на запасный путь и стал ждать. Залезши в товарный вагон с углем, я лег и мгновенно заснул.

Проснулся я от скрипа отодвигаемой двери. День занимался, холодный и серый, а поезд еще не трогался с места. В дверную щель просунулась голова (кондуктора).

— Вон отсюда, распросукин-пересукин-сукин сын!—заревел он.

Я вылез и стал следить за ним: он обходил поезд, обследуя каждый вагон. Когда он скрылся из виду, я решил: ему никогда не придет в голову, что у меня хватит дерзости залезть в тот самый вагон, из которого меня выгнали! Я полез обратно и снова улегся.

Но, видно, этот кондуктор рассуждал точь-в-точь как я—он подумал именно то, что подумалось мне. Он вернулся и вышвырнул меня!

«Ну, теперь,—рассуждал я,—он, наверное, не подумает, что я могу полезть в третий раз!» И я пробрался к тому же вагону. На сей раз я решил устроиться основательно. В этом вагоне отодвигалась только одна боковая дверь. Вторая была забита гвоздями. Вскарабкавшись на вершину угольной кучи, я вырыл канаву вдоль этой двери и улегся в ней. Опять отворилась дверь. Кондуктор влез в вагон и осмотрел кучу угля. Он не мог видеть меня, но громко крикнул, приглашая убраться. Я надеялся перехитрить его и молчал. Однако, когда он начал забрасывать меня углем, я сдался, и в третий

раз был выгнан. В самых теплых выражениях он предупредил, что если поймает меня еще раз, то мне будет худо.

Тогда я переменил тактику. Когда человек рассуждает точь-в-точь как вы, сбейте его со следа. Прервите вашу линию рассуждений и перейдите на другую. Так я и сделал! Я спрятался между вагоном и соседним запасным путем и стал ждать. И действительно, кондуктор опять подошел к этому же вагону. Он отодвинул дверь, влез в вагон, кричал, бросал уголь в вырытую мною яму—все безрезультатно. Это успокоило его. Через пять минут товарный поезд тронулся, а кондуктор не показывался. Я побежал рядом с вагоном, отодвинул дверь и залез в вагон. Никто не осматривал больше вагона, и я проехал в нем тысячу двадцать две мили, при чем большую часть времени проспал, а на сменах, где товарные поезда обычно останавливаются на час или на два, вылезал «пострелять» на пропитание. В самом конце этих тысячи двадцати двух миль я проворонил этот вагон благодаря счастливой случайности. Меня пригласили в один дом «посидеть», а нет еще на свете бродяги, который не променял бы поезд на отдых за чистым столом в уютной кухне!

КАРТИНКИ

Быть может, величайшее очарование бродяжнической жизни заключается в отсутствии однообразия. В царстве бродяг лицо жизни, как Протей—вечно изменчивая фантасмагория, где возможно невозможное, где неожиданность выскакивает из куста на каждом повороте дороги! Бродяга никогда не знает, что будет с ним в следующее мгновение; он живет только настоящей минутой. Он познал тщету всяких планов и прелесть скитания по капризу случая.

Часто размышляю я над днями своего бродяжничества, и всегда изумляюсь быстрой смене картин, возникающих в моей памяти. Безразлично, с чего ни начать вспоминать; любой из этих дней был свой особенный день, со своей собственной быстрой сменой картин! Так, вспоминаю я солнечное летнее утро в Гаррисбурге, в Пенсильвании, и тотчас же в моей памяти встает чудесное начало этого дня: я был приглашен в дом двумя старыми девами и посажен не на кухне, а в их столовой, с девой по каждую сторону. Мы ели яйца из специальных рюмочек—в первый раз я тогда увидел рюмочки для яиц и услышал о них! Должен сознаться, что вначале я был неловок, не знал, как обращаться с рюмочками; я был голоден и не смущался. Быстро я привык к рюмочке и ел яйца так мастерски, что обе старые девы только сидели и диву давались, глядя на меня.

Сами они ели, как канарейки, по каплям выбирая яйцо и чуть покусывая хлебные гренки. Слабо теплилась жизнь в их теле; жидко текла их кровь; ночь они провели в тепле. А я всю ночь пробыл под открытым небом, потратил много внутреннего топлива на согревание тела—я пришел из базарного местечка в северной части штата. Хлебные гренки исчезли мгновенно. Гренка едва хватало на один глоток—да что там, на полглотка! Скучно брать по одному гренку, когда можно сразу сцапать их дюжину!

Когда я был маленьким мальчиком, у меня была собачка, которую звали Пуншем. Кормил я ее сам. Кто-то из нашего дома настрелял уток, и у нас был чудесный обед. Кончив есть, я приготовил обед для Пунша—большую тарелку костей и потрохов. Я вышел во двор кормить собаку. Случилось так, что из соседнего ранчо приехал

гость, и с ним огромный нью-фаундлендский дог, ростом с теленка. Я поставил тарелку на землю. Пунш завилял хвостом и принялся за еду. Ему предстояло по меньшей мере полчаса блаженства. Вдруг что-то прошумело. Пунша отмело в сторону, как соломинку ураганом—это нью-фаундленд накинулся на тарелку. У него была здоровенная пасть, и он, очевидно, был приучен к быстрой еде; в то короткое мгновение, когда я приготовился дать ему пинок, он проглотил все содержимое тарелки. Очистил дотла! Одним мазком языка слизнул последние пятнышки сала.

Так вот, как этот огромный нью-фаундленд вел себя над тарелкой моего Пунша, так и я вел себя за столом этих старых дев в Гаррисбурге! Я буквально опустошил стол. Я ничего не разбил, но съел все яйца, весь хлеб и выпил кофе. Служанка приносила и приносила, но я не давал ей ни отдыху, ни сроку. Кофе был восхитителен, но зачем было подавать его в крохотных чашечках? Могло ли у меня оставаться времени на еду, когда так много времени уходило на сливание многочисленных чашечек кофе в приличный глоток?

Но я находил время упражнять свой язык. Эти две старые девы, с бело-розовым цветом лица и серыми кудряшками, еще не видели перед собой светлого лика приключения, авантюры! Как выразился бы «Король бродяг», они всю свою жизнь «работали на одной и той же смене». В атмосферу сладких ароматов, в тесные пределы их существования, лишенного событий, я внес воздух вольного мира, отягченный крепкими запахами пота и борьбы, ароматами чужих стран и земли. Я исцарапал их нежные ладони мозолями моих ладоней—толстыми, в полдюйма, мозолями, образующимися от постоянного держания за канаты, от крепких пожатий лопаты и кирки. Это я сделал не только из молодого удальства, но чтобы доказать свое право на их милосердие.

Как сейчас вижу их, этих милых, славных старых девиц; как сейчас вижу себя сидящим за их столом—а тому добрых двенадцать лет! Я разглагольствую о своих скитаниях по белу-свету, демонически отвергаю их добрые советы и пленяю их, привожу в трепет не только своими авантюрами, но и авантюрами всех бродяг, с которыми мне случалось встречаться и делиться откровенностями. Я присвоил себе авантюры всех этих ближних; и, конечно, не будь старые девы так доверчивы и невинны, они здорово сбили бы меня в моей хронологии! Ну, так что же? Это был честный обман. За их чашки кофе, и яйца, и гренки я воздал полною мерою! Я доставил им необычайное развлечение. Мой приход к их столу был их приключением, а приключение—выше всякой цены!

Расставшись со старыми девами и выйдя на улицу, я подобрал газету с порога заспавшегося буржуа и отправился в парк полежать на траве и ознакомиться с событиями, случившимися на земле за последние двадцать четыре часа. Здесь, в парке, я встретил собрата по скитаниям, который рассказал мне свою жизненную повесть и стал уговаривать поступить в армию Соединенных Штатов. Он сам дал вербовщикам уговорить себя, готовился поступить в солдаты: почему бы и мне не присоединиться к нему? За несколько месяцев до этого он участвовал с армией Кокси в походе на Вашингтон и, должно-быть, это развило в нем вкус к воинской жизни. Я тоже был ветеран; я служил рядовым в роте «Л» второй дивизии промышленной армии Келли. Означенная рота «Л» больше известна под названием «бандитов Невады». Но мой воинский опыт оказал на меня прямо противоположное действие; поэтому я послал этого бродягу ко всем военным чертям, а сам отправился «стрелять» на обед.

Выполнив эту обязанность, я направился по мосту через Сускве-ганну на западный берег. Не помню, как называется железная дорога, проходящая с этой стороны, но пока я лежал в траве в это утро, меня осенила мысль отправиться в Балтимору. И вот я пошел в Балтимору по этой дороге, не знаю, как ее звали. Дело было под вечер, день был теплый; пройдя немного по мосту, я наткнулся на группу людей, купавшихся около одного из мостовых быков. Сбросив платье, кинулся и я в воду. Вода была чудесная; но когда я вышел и стал одеваться, то убедился, что меня ограбили! Кто-то успел обшарить мое платье. Судите сами, не довольно ли этого приключения для одного дня? Я знаю людей, которых только раз в жизни ограбили—и они до конца жизни не переставали говорить об этом. Правда, вор, рывшийся в моих карманах, не много получил—какие-нибудь тридцать-сорок центов никелем и медью, да немного табаку; но это было все мое добро! Меньше, чем можно было украсть у большинства людей, ибо у каждого есть что-нибудь дома, а у меня не было ничего! Видно, тут собралась купаться теплая компания. Я не стал поднимать шума, а только попросил «своей доли»—и готов поклясться, что это была та самая бумага, в которую я заворачивал табак!

Я перешел через мост на западный берег. Здесь пролегала железная дорога. Станции не было видно. И передо мной встала задача: как вскочить на товарный поезд, не приближаясь к станции? Я заметил, что полотно идет по крутому подъему, кончающемуся там, где я вышел на железную дорогу. Я сообразил, что тяжело нагруженный товарный поезд не может итти здесь с большой скоростью. Но все же с какой? За полотном поднималась высокая насыпь. На

краю ее, на вершине, я увидел голову человека, высовывавшуюся из травы. Может, он знает, с какой скоростью идет товарный поезд по этому подъему и когда пройдет на юг ближайший поезд? Я прокричал ему этот вопрос, а он поманил меня к себе.

Я повиновался; добравшись до вершины насыпи, я увидел, что подле него лежат в траве еще четверо. Окинув взглядом окрестность, я понял, кто они такие—это были американские цыгане. На открытой лужайке, начинавшейся у деревьев, росших на краю насыпи, стояли неопределенного вида телеги. Оборванные полуголые ребятишки кишели по всему табору, и я видел, что они стараются не подходить близко к мужчинам, не беспокоить их. Несколько тощих, уродливых, изнуренных работой женщин возилось с лагерной утварью; одна сидела одиноко на телеге, понурив голову, упершись подбородком в колени и обхватив их руками. Вид у нее был пренесчастный. Казалось, ничто ее не занимало, но в этом я ошибся, ибо впоследствии убедился, что к кое-чему она совсем не была равнодушна. На ее лице были написаны все страдания человеческого рода. Но мало того, на нем было еще и трагическое выражение, что предел ее мук перейден. Казалось, больше ничто уже не могло огорчить ее; и в этом я ошибся.

Итак, я лежал в траве на краю насыпи и беседовал с мужчинами. Мы были сродни—братья. Я был американский бродяга, они были американские цыгане. Я достаточно знал их жаргон для поддержания беседы, они достаточно знали мой язык. В шайке было еще двое мужчин—они отправились за реку в Гаррисбург «мушевать». «Мушер»—бродячий мелкий ремесленник. Специальностью этих двух «мушеров», отправившихся за реку, была починка зонтиков; но какое подлинное занятие скрывалось за этой починкой зонтиков, мне не сказали, да и неучтиво было расспрашивать.

День был чудесный! Ни малейшего ветерка! Мы беззаботно грелись в сиянии солнца. Отовсюду доносилось убаюкивающее жужжание насекомых, воздух был наполнен ароматами теплой земли и зелени. Мы лениво перебрасывались отрывочными фразами. И вдруг совершенно неожиданно весь этот мир и покой был разбит человеком.

Двое босоногих мальчишек, лет восьми или девяти, каким-то образом нарушили бивуачные правила—какие именно, не знаю; мужчина, лежавший возле меня, вдруг вскочил и окликнул их. Это был глава племени, человек с узким лбом и узко-прорезанными глазами; достаточно было взглянуть на его тонкие губы, на сардонически искаженные черты, чтобы понять, почему мальчишки подпрыгнули, как испуганные лани, при первом звуке его голоса. Страх был написан на их лицах, и в панике они пустились бежать. Он позвал их, и один мальчик с неохотой остановился; вся его худенькая фигура

отражала происходившую в нем борьбу между страхом и благоразумием. Он хотел вернуться. Разум и опыт говорили ему, что вернуться будет меньшим злом, чем бежать; но это меньшее зло все же было достаточно велико, чтобы окрылить его страхом и толкать его ноги к бегу.

Но он медлил, колебался и, наконец, подошел под сень деревьев, где остановился. Вождь племени не гнался за ним. Он побрел к одной из телег и взял тяжелый бич. Потом вернулся на поляну и остановился. Он не говорил ни слова. Не делал знаков. Это был закон, беспощадный и всемогущий. Он просто стоял и ждал. И я знал, все знали, и мальчик в тени деревьев знал, чего он ждет.

Мальчик медленно пошел назад. На лице его был написан трепет решимости. Он больше не колебался! Он решил принять наказание! И заметьте, наказание полагалось не за первоначальное преступление, но за побег. В этом отношении вождь племени вел себя совершенно так, как вело себя цивилизованное общество, среди которого он жил. Мы наказываем наших преступников, а когда они убегают, мы ловим их и увеличиваем им наказание.

Мальчик пошел прямо к вождю и остановился на таком расстоянии, чтобы его мог достать бич. Бич просвистел в воздухе—и я вздрогнул, определив тяжесть удара. Худенькая ножка была так тонка, так мала! Кожа побелела в том месте, где, закружившись, укусил ее бич. А затем на месте белой полоски вскочил рубец и там, где лопнула кожа, выступили багровые капли. Опять просвистел бич; мальчик съежился всем телом в ожидании удара, но не тронулся с места. Воля его была непреклонна! Вскочил второй рубец и третий. И только после четвертого мальчик вскрикнул. Теперь он уже не мог стоять на месте, и после этого от удара к удару подплясывал с дикими криками; но убежать он не пытался! Если в своем непроизвольном танце он отскакивал за пределы досягаемости бича, то сам и возвращался в эти пределы! И когда все было кончено—двенадцать розог, он, плача и взвизгивая, спрятался между телегами.

Вождь молчал и выжидал. Из-под деревьев вышел второй мальчик. Но этот не пошел прямо. Он подкрадывался, как струсившая собака, поворачивался и отбегал в сторону, но всякий раз возвращался обратно, описывая круги все ближе и ближе к вождю, рыдая, издавая животные, нечленораздельные звуки. Я видел, что он не глядит на вождя. Глаза его были устремлены на бич, и в этих глазах был написан ужас, от которого мне чуть не сделалось дурно, безумный ужас неизвестно за что терзаемого ребенка! Я был на поле сражения, видел, как направо и налево от меня падали крепкие люди и корчились в предсмертных муках. Я видел, как их десятками

взрывали гранаты, и тела их разлетались в клочки; поверьте мне, это зрелище было пустяком по сравнению с тем, как на меня подействовал вид бедного ребенка!

Началась порка. Избиение первого мальчика было шуткой по сравнению с этим! В одно мгновение кровь побежала по тонким ножкам. Он плясал, извивался, ежился, напоминал чудовищную марионетку, дергаемую за ниточку. Но его крики разрушали эту иллюзию. Крик был тонкий, пронзительный; ни одной хриплой нотки, тонкий, бесполый детский голос. Мальчик, наконец, не мог больше терпеть. Рассудок умолк, и он пытался убежать. Но вождь погнался за ним, отрезал ему дорогу и ударами вернул его на прежнее место.

Но тут наступил перерыв. Я услышал дикий, заглушенный крик. Женщина, сидевшая в телеге, соскочила и побежала заступаться. Она стала между мужчиной и мальчиком.

— И ты хочешь?—проговорил человек с бичом.—Ладно!—И он опустил на нее бич. На ней были длинные юбки, поэтому он не целился в ноги. Он нацелил удар ей в лицо, которое она закрыла, как могла, руками и локтями, втянув голову между тощими плечами,—и на эти тощие плечи и руки получала удары. Мать-героиня! Она знала, что она делала. Мальчик с воем и криком побежал к телегам.

Все это время четверо мужчин лежали возле меня, наблюдали и не трогались с места. И я не трогался с места. И могу сказать это без стыда, хотя рассудок мой отчаянно боролся с естественным желанием вскочить и вмешаться. Я знал жизнь! Какая польза была бы женщине или мне от того, что меня бы избили до смерти пятеро мужчин на этом берегу Сускверанны? Однажды я видел, как вешали человека, и хотя вся моя душа возмущенно протестовала, уста мои не вымолвили ни слова! Крикни я, мне, по всей вероятности, раздробили бы череп рукояткой револьвера: закон требовал казни этого человека. Здесь, в этой группе цыган, царил закон, по которому женщину нужно было отхлестать.

Но в обоих случаях я не вмешался не столько потому, что это был закон, сколько потому, что закон был сильнее меня. Если бы не четверо мужчин, лежавших рядом со мною в траве, я, конечно, кинулся бы, с величайшей охотой кинулся бы на человека с бичом. Возможно, что женщины табора ударили бы меня ножом или дубиной, но я убежден, что избил бы его. Но возле меня лежало четверо мужчин! Благодаря этому их закон оказался сильнее меня.

О, поверьте мне, я настрадался немало! Я не раз и прежде видел, как бьют женщин, но такого избиения еще не видал. Платье на ее плечах изорвалось в клочья. Один удар, от которого она не уберег-

лась, оставил кровавый рубец от щеки до подбородка, и не один удар, не два, не десяток, не два десятка, нет—бесконечно, несчетно бич крутился над ней и обрушивался на нее. Пот катил с меня градом, я дышал с трудом, стиснув траву руками и выдергивая ее с корнями. И все это время рассудок шептал мне: «Дурак, дурак!» Этот рубец на лице чуть не погубил меня. Я привстал, было, но рука человека, лежавшего рядом со мною, легла на мое плечо и пригнула меня к земле.

— Легче, товарищ, легче!—вполголоса предупредил он меня. Я посмотрел на него—его глаза без колебаний уставились в мои. Это был крупный, широкоплечий, мускулистый мужчина; лицо у него было ленивое, флегматичное, бесстрастное, впрочем, добродушное, без оживления и совершенно бездушное—это была какая-то мутная, беззлобная, но и без всякого представления о морали упрямая бычачья душа. Это было животное с самыми слабыми проблесками разума, добродушная скотина с умственным горизонтом гориллы. Рука его тяжко легла на меня, и я почувствовал в ней страшную силу мускулов. Я поглядел на других людей-зверей—один из них хранил полную невозмутимость, другой, видимо, наслаждался зрелищем; благоразумие вернулось ко мне, мускулы мои обмякли и я вытянулся в траве.

Мне вспомнились две старые девы, у которых я завтракал в это утро. Меньше двух миль по прямой линии отделяло их от этой сцены. Здесь, в безветренный день, под благодатным солнцем, их сестру избивал мой брат! Вот страница жизни, которой они никогда не могли увидеть—и это к лучшему, хотя, не увидев ее, они никогда не могли бы понять ни того, что это их сестра, ни самих себя, ни того, что они сделаны из одной глины. Женщине, живущей в тесных комнатах, пахнущих духами, не дано чувствовать себя сестрой всему миру.

Порка окончилась, и женщина, перестав кричать, отправилась на свое место в телеге. Другие женщины не подошли к ней в ту же минуту. Они боялись. Но подошли потом, когда прошел приличный промежуток времени. Человек отложил свой бич и присоединился к нам, сев на траву рядом со мной. Он тяжело дышал от утомления. Вытерев рукавом пот с лица, он с вызовом взглянул на меня. Я беззаботно встретил его взгляд; какое мне было до него дело! Я не сразу ушел. Я подождал еще с полчаса—в данном случае этого требовал такт и этикет. Я скрутил папироску из табаку, взятого у цыган, и, спустившись по насыпи к полотну дороги, получил необходимые указания, как поймать ближайший товарный поезд, идущий на юг.

Ну, что же?

Это была страничка жизни, вот и все! Я немало видел страниц похуже, много похуже. Я утверждал иногда (слушатели мои думали, будто я шучу), что главное различие между человеком и животным заключается в том, что человек—единственное животное, дурно обращающееся со своей самкой. Вот уж в чем никакой волк, никакой трусливый койот не мог бы провиниться! Этого не делает даже собака, уже выродившаяся благодаря жизни в обществе человека. Собака сохранила в этом отношении свои древние инстинкты, человек же утратил почти все свои дикие инстинкты—по крайней мере, лучшие из них. Вы хотите худших страниц жизни, чем описанная мною? Почитайте отчеты о детском труде в Соединенных Штатах—на востоке, на западе, на юге, на севере, безразлично где—и знайте, что все мы эксплоататоры, все мы наборщики и печатники неизмеримо худших страниц жизни, чем эта страница об избиении женщины на Сусквеганне!

Я прошел по насыпи сотню ярдов до того места, где земля у полотна была плотно утрамбована. Здесь можно было вскочить на поезд, медленно поднимающийся в гору, и здесь я застал человек шесть бродяг, также дожидавшихся поезда. Некоторые играли в трынку старыми картами. Я принял участие в игре. Один из бродяг, негр, начал сдавать. Это был толстый парень, молодой, с круглым, как луна, лицом. Он весь светился добродушием: оно чуть не сочилось из него. Сдав мне первую карту, он помедлил и произнес:

— Скажи, не видел ли я тебя раньше?

— Наверно, видел!—отвечал я.—И тогда на тебе было другое платье.

Негр был озадачен.

— Помнишь Буффало? [1])—спросил я.

Тут он узнал меня и со смехом и восклицаниями приветствовал меня, как товарища, ибо в Буффало, где он отбывал срок в исправительном арестантском доме графства Эри, он был облачен в полосатый арестантский наряд подобно мне; я отбывал там тюремное заключение одновременно с ним.

Игра продолжалась, и вот какая была ставка в этой игре. По насыпи к реке спускалась узкая и крутая тропинка, приводившая к ручью, который протекал в двадцати пяти футах ниже. Играли мы на краю насыпи. Проигравший должен был взять банку из-под сгущенного молока и этой банкой носить воду выигравшим.

Сыграли партию—и негр проиграл.

---

[1]) Главный город графства Эри в штате Нью-Йорк.

Он взял банку, полез вниз, а мы сверху дразнили его. Пили мы, как рыбы! Четыре раза пришлось ему ходить за водой для меня одного, другие были столь же расточительны в утолении своей жажды. Тропинка была очень крута, иногда негр соскальзывал вниз, пройдя половину пути, проливал воду и должен был возвращаться к ручью. Но он не сердился. Он заливался таким же сердечным смехом, как и мы; поэтому он и оступался так часто. Он только уверял нас, что выпьет чортову уйму воды, когда проиграет кто-нибудь другой.

Утолив жажду, мы начали вторую партию. Опять негр проиграл, и опять мы напились доотвала. Третья и четвертая партии окончились тем же, и каждый раз этот луноликий негр чуть не лопался от смеха! И мы чуть не лопнули с ним вместе. Смеялись мы, как беспечные дети, как боги! Я столько хохотал, что мне казалось—вот-вот у меня отвалится голова, и пил из банки столько, что больше уж некуда было пить. Встал серьезный вопрос, сможем ли мы вскочить на поезд, когда он подойдет—так мы отяжелели от выпитой воды. Этот подход к делу чуть не доконал негра. Он должен был минут на пять прервать свое хождение за водой: лежал на земле и катался со смеху.

Тени становились длиннее, сгущались прохладные сумерки, а мы все пили воду, и наш черный водочерпий все носил да носил ее. Я забыл о женщине, избитой на моих глазах час тому назад. Это была прочитанная страница и перевернутая; теперь я всецело был поглощен новой страницей; когда паровоз засвистит под горой, страница будет окончена и начнется другая; так и идет книга жизни, страница за страницей, и страницам этим нет конца, пока мы молоды! Но вот выпала партия, в которой негр не проиграл! Жертвой оказался тощий, гемороидального вида бродяга, он как-раз смеялся гораздо меньше других. Мы объявили, что не хотим больше пить. И это была правда: все богатства Ормузда [1]) и Инда и даже нагнетательный насос не могли бы теперь втиснуть и капли в наши переполненные утробы. Негр явно был разочарован, но он справился с положением и объявил, что ему хочется пить! И хочется не на шутку! Он напился воды, еще раз напился, и опять напился. Меланхолический бродяга то-и-дело спускался и поднимался по насыпи, а негр требовал воды. Сумерки перешли в ночь, высыпали звезды, а негр продолжал пить. Я думаю, если бы не раздался свисток паровоза, он и посейчас сидел бы там, упиваясь водой и местью, а унылый бродяга все ходил бы вверх и вниз.

---

[1]) Ормузд — древнее божество иранцев, творец мира, олицетворение доброго начала.

Но паровоз засвистел. Страница окончилась. Мы вскочили и выстроились шеренгой вдоль линии. Вот он подошел, отплевываясь и кашляя на уклоне; его фонари превратили ночь в яркий день, выделив наши фигуры резкими силуэтами. Паровоз миновал нас, мы побежали рядом с поездом; одни вскакивали на боковые лесенки, другие отодвигали двери пустых товарных вагонов и забирались внутрь. Я поймал платформу, груженую лесом, и устроил себе на ней удобный уголок. Растянувшись на спине, я подложил под голову вместо подушки газету. Надо мной в вышине мигали и шатались эскадроны звезд, и, наблюдая их, я заснул. Прошел день—один из многих дней моих. Предстоял новый день, а я еще был молод...

„СЦАПАЛИ“

Я подъехал к Ниагарскому водопаду [1]) в «пульмановском вагоне с боковой дверью»—иначе говоря, в товарном вагоне. Среди бродяжьей братии товарная платформа известна под названием «гондолы». Но вернемся к рассказу. Я прибыл перед вечером и прямо с товарного поезда направился к водопаду. При виде этого чудесного зрелища свергающегося моря воды я растерялся. Я не мог оторваться от него, хотя пора было «пострелять» к ужину. Даже приглашение «посидеть» не могло бы оторвать меня от этой картины. Наступила ночь— чудесная лунная ночь, а я все стоял у водопада, и так до двенадцатого часа. Но надо было подумать о местечке для спанья.

Я убедился, что город у Ниагарского водопада, называющийся тоже «Ниагарский Водопад», «плохой» город для бродяг, и вышел в поле. Я перелез через забор и заснул на черном поле. Я льстил себя надеждой, что «Дядя Закон» не найдет меня здесь. Я лег навзничь в траву и заснул, как младенец. Воздух был так тепл и ароматен, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но как только занялся день, глаза мои открылись, и я вспомнил изумительный водопад. Я перелез через забор и пошел по дороге—еще раз взглянуть на водопад. Час был ранний, не больше пяти утра, и до восьми часов нечего было и думать о завтраке. Я мог провести у реки добрых три часа. Увы, мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада!

Город спал, когда я вошел в него. Шагая по затихшей улице, я увидел, что навстречу мне направляются по тротуару три человека. Шли они рядом. Бродяги, решил я, вставшие, подобно мне, в ранний час. Но я ошибся в этом предположении. Я угадал только на шестьдесят шесть и две трети процента. Люди по бокам действительно были бродяги, но человек в середине не был бродяга.

---

[1]) Ниагара—река с величественнейшим в мире водопадом, приток р. Св. Лаврентия, изливающий воды озера Эри в озеро Онтарио. Правый берег принадлежит САСШ, левый—Канаде. Шум Ниагары слышен за 25 *км* (Ниагара—испорченное индейское название Joan Nikaré, что значит „Высоты грозного шума“).

Я отодвинулся к краю тротуара, чтобы пропустить мимо себя это трио. Но трио не прошло мимо; по слову, сказанному человеком, находившимся в центре, все трое остановились, и центр обратился ко мне.

Я в одно многовение увидал опасность. Это был «фараон», а двое бродяг были его арестанты. «Дядя Закон» проснулся и искал раннего червяка! Червяком этим оказался я. Будь я богаче опытом и знай, что ожидает меня в предстоящие месяцы, я повернулся бы и побежал, как вихрь. Он, вероятно, выстрелил бы, но чтобы поймать меня, ему пришлось бы подстрелить человека. Ни в каком случае он не побежал бы за мной, ибо двое бродяг в руках лучше, чем один на бегу. Но я болван-болваном остановился, когда он окликнул меня! Разговор у нас был короткий.

— В каком отеле остановился?—спросил он.

Он знал свое дело. Я не остановился ни в каком отеле и, не зная ни одного отеля в этом городе, не мог и сослаться хоть на какой-нибудь. К тому же я слишком рано поднялся поутру. Все говорило не в мою пользу.

— Я только-что приехал!—объявил я.

— Ну, так повернись и иди впереди меня, да не очень далеко забегай вперед! Тебя хочет видеть кое-кто.

Меня «сцапали»! Я хорошо знал, кто хочет видеть меня. С этим «фараоном» и двумя бродягами по пятам я пошел прямехонько к городской тюрьме. Там нас обыскали и записали наши имена. Не помню теперь, под каким именем я был записан. Я назвал себя Джэком Дрэком, но, обыскивая меня, они нашли письма, адресованные Джэку Лондону; это произвело смятение и потребовало объяснений—подробности я уже забыл, и до сего дня не знаю, сцапали ли меня как Джэка Дрэка или как Джэка Лондона. Во всяком случае, то или другое имя и посейчас красуется в тюремных списках «Ниагарского Водопада». По справке это легко выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась грандиозная железнодорожная забастовка.

Из конторы нас повели в «Гобо» и заперли. «Гобо»—часть тюрьмы, где содержат мелких преступников в огромной железной клетке. Так как бродяги, т. е. «гобо», составляют главную массу мелких преступников, то эту железную клетку и назвали «Гобо». Здесь мы встретили нескольких бродяг, уже сцапанных в это самое утро; чуть не каждую минуту дверь отворялась, и к нам впихивали еще двух-трех человек. Наконец, когда нас стало шестнадцать, нас повели наверх, в судебный зал. Я добросовестно опишу, что происходило в этом судебном зале; здесь мой патриотизм американского гражданина получил удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться.

В судебном зале находилось шестнадцать арестантов, судья и два судебных пристава. Повидимому, судья исполнял и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Не было граждан города, которые поинтересовались бы взглянуть, как отправляется правосудие в их общине. Судья взглянул на список, лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один из бродяг встал. Судья поглядел на пристава.

— Бродяга, ваша милость,—проговорил пристав.

— Тридцать дней!—сказал его милость.

Бродяга сел, судья назвал другое имя, и другой бродяга поднялся на ноги. Суд над этим бродягой отнял ровно пятнадцать секунд. Следующего бродягу судили с такой же быстротой. Пристав произносил: «Бродяга, ваша милость», а его милость говорил: «Тридцать дней». Так оно и шло, как заведенные часы; на каждого бродягу пятнадцать секунд и тридцать дней.

«Какая смирная скотинка!—думал я про себя.—Вот погодите! Дойдет моя очередь; я покажу его милости штуку!» В течение этой процедуры его милость, очевидно, побуждаемый каким-то капризом, дал одному из нас возможность заговорить. И как на грех, это оказался не настоящий бродяга. Он ничем не напоминал профессионального бродягу. Подойди он к нам в то время, когда мы ждали у водокачки товарного поезда, мы без колебания отнесли бы его к числу новичков. Этот новичок был довольно стар годами, я думаю, лет сорока пяти. Он немного сутулился, лицо его было обветрено и в морщинах.

Судя по его рассказу, он много лет был погонщиком скота на какой-то ферме в Локпорте, в штате Нью-Йорк (если память не изменяет мне). Дела фирмы пошатнулись, и в тяжелый 1893 год она ликвидировала дело. Он крепился, пока мог, хотя к концу его служба носила крайне нерегулярный характер. Он рассказывал, как ему было трудно достать работу (много было безработных) в последовавшие месяцы. Наконец, решив, что легче будет найти работу в Озерах, он отправился в Буффало. Его сцапали и привели сюда—вот и все.

— Тридцать дней!—проговорил его милость и вызвал другого бродягу.

Означенный бродяга поднялся. «Бродяга, ваша милость!»—проговорил пристав, и его милость сказал: «Тридцать дней!»

Так оно и шло,—пятнадцать секунд и тридцать дней на бродягу. Колесо правосудия гладко вертелось. Весьма вероятно, что, принимая во внимание ранний час утра, его милость еще не завтракал и поэтому торопился.

Но моя американская кровь так и кипела. За мной стояли многие поколения моих американских предков. Одной из вольностей, за которые сражались и умирали эти мои предки, было право судиться

присяжными. Это было мое наследие, освященное их кровью, и я чувствовал себя обязанным защищать его. «Ладно,—погрозился я про себя,—пусть только очередь дойдет до меня!»

Она дошла до меня. Мое имя, не помню какое, было выкликнуто, и я встал. Пристав произнес: «Бродяга, ваша милость!» И я заговорил. Но в тот же момент заговорил и судья; он произнес: «Тридцать дней!» Я запротестовал, но в это мгновение его милость уже назвал фамилию следующего по списку. Его милость остановился ровно настолько, чтобы сказать мне: «Закрой пасть!» Пристав заставил меня сесть на место. И в следующий момент новый бродяга получил свои тридцать дней, а следующий за ним бродяга встал получать свои.

Когда с ними расправились, по тридцати дней на бродягу, его милость, уже собираясь отпустить нас, вдруг повернулся к погонщику из Локпорта—к единственному человеку, которому он позволил говорить.

— Зачем вы бросили вашу службу?—спросил судья.

Погонщик уже объяснял, что служба бросила его, и смутился при новом вопросе.

— Ваша милость,—сконфуженно начал он,—какой вы странный вопрос задаете...

— Еще тридцать дней за то, что бросил работу!—проговорил его милость и закрыл судебное заседание. Итоги заседания: погонщик получил в общем шестьдесят дней, а все мы по тридцати дней.

Нас свели вниз, заперли и дали позавтракать. Для тюремных завтраков это был довольно недурной завтрак—лучший, на какой я только мог рассчитывать в предстоящем месяце.

Я был ошеломлен! Я осужден после какой-то пародии на суд, в котором мне не только отказали в моем праве судиться присяжными, но и в праве признать или не признать себя виновным! Еще одно право, за которое дрались мои отцы, вспомнилось мне—habeas corpus [1]). Я им покажу! Но когда я потребовал адвоката, меня подняли насмех. Habeas corpus существовал честь-честью, но какой прок в нем, если я не могу сноситься ни с кем вне тюрьмы? Но я им покажу! Они не смогут держать меня вечно в тюрьме! Подождем, пока я выйду! Я им задам трезвону! Я имею представление о законе и о своих правах и выведу их на свежую воду! Когда тюремщики вошли и повели нас в главную контору, перед моим умственным взором уже носились иски об убытках и сенсационные газетные заголовки.

---

[1]) Юридический термин, которым обозначается основная гарантия личной свободы. В Англии издан был в 1679 году („Habeas corpus Act“).

Полисмен надел наручник на мою правую кисть.

«Ага!—подумал я.—Новое насилие! Только дайте мне выйти!» На левую руку негра он надел вторую половину этого наручника. Негр был очень высок, наверное, больше шести футов—когда мы стали рядом, то рука его, скованная с моею, немножко потянула ее вверх. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я только когда-либо видел!

Так нас всех сковали—попарно. По окончании этой операции принесли блестящую цепь из никелированной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и заперли в конце и в начале цепи. Теперь мы представляли собой «кандальную шеренгу». Отдали приказ двинуться, и мы пошли по улице под охраной двух полицейских. Высокому негру и мне досталось почетное место—мы шли во главе процессии.

После могильного мрака темницы солнечный свет показался мне ослепительным. Никогда он еще не казался мне таким приятным, как теперь—узнику в звенящих кандалах; я знал, что вижу его в последний раз перед тем, как меня запрут на тридцать дней.

Мы шли по улицам городка к железнодорожной станции, сопровождаемые любопытными взглядами прохожих, особенно группами туристов, вышедших на веранду отеля, когда мы проходили мимо.

Цепь была довольно свободна, и мы со звоном и лязгом расселись попарно в вагоне для курящих. Как я ни пылал негодованием на оскорбление, нанесенное мне и моим праотцам, все же я был слишком практичен, чтобы потерять голову. Для меня все было ново! Мне предстояло тридцать таинственных дней, и я оглядывался, ища глазами человека, знакомого с этим делом. Я уже знал, что меня везут не в маленькую тюрьму с какой-нибудь сотней арестантов, но в настоящие арестантские роты с двумя тысячами узников, отбывающих от десяти дней до десяти лет заключения.

На скамейке, за мной, прикованный к цепи за руку, сидел коренастный, плотный, мускулистый мужчина. На вид ему было от тридцати пяти до сорока лет. Я присмотрелся к нему. В уголках его глаз я заметил юмор и добродушие. В остальном же это был совершенный скот, абсолютно аморальный, со всеми страстями и грубостями зверя. Спасали его и делали для меня приемлемым именно эти уголки глаз: юмор и добродушие зверя, когда его покой не нарушен.

Он мне «приглянулся». Я «приглянулся» ему. И покуда мой товарищ по кандалам, высокий негр, хихикал и похохатывал, оплакивая какое-то белье, которого он должен был лишиться благодаря аресту, и покуда поезд катился к Буффало, я разговорился с человеком, сидевшим за моей спиною. Его трубка была пуста. Я наполнил ее моим драгоценным табаком—таким количеством, что его хватило бы на

дюжины папиросок. Нет, чем больше мы с ним беседовали, тем больше я убеждался, что мы сойдемся, и я разделил с ним весь мой табак.

Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый, достаточно любящий жизнь, чтобы не приспособиться всюду. Я поставил себе целью приспособиться к этому человеку, не подозревая даже, до чего удачным оказался мой выбор. Он никогда не бывал в «исправилке», куда нас везли, но успел посидеть год, два и три года в других тюрьмах и был преисполнен арестантской мудрости. Мы почти подружились, и мое сердце подпрыгнуло, когда он посоветовал мне во всем следовать его примеру. Он называл меня «Джэком» и я называл его «Джэком».

Поезд остановился на станции в пяти милях от Буффало, и нас, арестантов, вывели. Не помню, как называлась эта станция, но уверен, что она носила одно из следующих названий: Роклин, Роквуд, Блек-Рок, Роккасль или Ньюкасль. Но как бы она ни называлась, нас отвели пешком на небольшое расстояние от станции, а затем посадили в «линейку». Это был старомодный дилижанс с сидениями по обе стороны во всю длину экипажа. Всех пассажиров, сидевших на одной стороне, попросили перейти на другую, и мы с громким лязгом цепей заняли наши места. Я помню, мы сидели против пассажиров, помню выражение ужаса на лице одной женщины, которая, без сомнения, приняла нас за приговоренных к каторге убийц и банковых громил. Я напустил на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, веселый негр, не переставал вращать глазами и смеяться.

Мы вышли из дилижанса, прошли немного пешком и попали в контору исправительной тюрьмы—«исправилки». Здесь нас зарегистрировали, и в этом списке вы можете найти ту или другую из моих фамилий. Нам объявили также, что мы должны оставить в конторе все наши ценности: деньги, табак, карманные ножи и прочее.

Мой новый приятель качнул головой в мою сторону.

— Если вы не оставите вещей ваших здесь, их конфискуют в тюрьме!—предупредил чиновник.

Но мой приятель продолжал мотать головой. Он что-то делал руками, пряча их движения за спиной других арестантов. (Наручники с нас сняли). Я наблюдал его и последовал его примеру, завернув в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы засунули себе за рубашки. Я заметил, что прочие арестанты, за исключением одного или двух, обладавших часами, не отдали своих пожитков чиновнику в конторе. Они решили во что бы то ни стало пронести их контрабандой, доверившись случаю; но они оказались глупей моего приятеля и меня: они не завернули своих пожитков в узелки.

Наша первая стража собрала наручники и цепи и уехала, а мы под охраной новой стражи пошли в тюрьму. Пока мы находились в конторе, к нам прибавилось несколько отрядов вновь прибывших арестантов, так что теперь мы шли процессией в сорок-пятьдесят человек.

Знайте же вы, не сидевшие в тюрьме, что передвижение в большой тюрьме так же стеснено, как была стеснена торговля в средние века. Попав в исправительный дом, вы уже не можете двигаться в нем по своей воле. На каждом шагу вы встречаете огромные стальные двери или ворота, всегда запертые. Нам нужно было пройти парикмахерскую, и пришлось ждать, пока отпирали двери. Таким образом, мы задержались в первой же огромной зале, куда нас ввели. Представьте себе продолговатый куб, построенный из кирпичей на высоту шести этажей, и в каждом этаже ряд камер, скажем, по пятьдесят камер в ряд; лучше вообразите себе огромный пчелиный сот в виде куба. Поставьте этот куб на землю и окружите его постройкой с крышей наверху и стенами кругом. Такой куб и окружающая постройка и составляют «зал» в исправительной тюрьме в Эри, куда нас привезли. Для дополнения картины представьте себе узенькую галлерею-балкон с железными перилами, проходящую по всей длине каждого ряда камер, а в концах этого продолговатого куба все эти галлереи с обеих сторон соединяются между собой, на случай пожара, системой узеньких стальных лестниц.

Мы остановились в первом зале, ожидая, пока сторожа отопрут дверь. Там и сям двигались каторжники с низко остриженными затылками и бритыми лицами в полосатой тюремной одежде. Одного такого каторжника я заметил над нами на галлерее третьего ряда камер. Он стоял на галлерее, наклонившись вперед, руки его покоились на перилах, и он словно не замечал нашего присутствия. Глядел куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Каторжник глянул вниз. Они обменялись сигналами. Затем взвился вверх узелок моего приятеля. Каторжник поймал его и молниеносно спрятал в своей рубашке, опять безучастно уставившись в пространство. Приятель сказал мне, чтобы я последовал его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся ко мне спиной, мой узелок полетел вверх и попал в рубаху каторжника.

Через минуту дверь отперли и нас ввели в парикмахерскую. Здесь было много народу в полосатых одеяниях каторжников. Тут находились тюремные брадобреи. Были тут и ванны, горячая вода, мыло и щетки. Нам приказали раздеться и выкупаться, натирая друг другу спину. Эта обязательная ванна была излишней предосторожностью, ибо тюрьма кишела насекомыми. После ванны каждому дали по холщевой сумке для платья.

— Кладите все свое платье в мешок!—сказал сторож.—Не пытайтесь пронести что-нибудь контрабандой! Вам придется выстроиться нагишом для осмотра. Люди со сроком в тридцать дней и меньше могут оставить при себе сапоги и подтяжки; кому больше тридцати дней,—не оставляют ничего.

Это привело всех в замешательство. Как может голый человек пронести что-нибудь контрабандой? Только мой приятель и я были «устроены». Каторжные цырюльники приступили к работе. Они обходили новичков, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая после вернуть их. По словам этих цырюльников, они были настоящие филантропы! Кажется, нигде еще людей так быстро не разгружали! Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги—все решительно попало в объемистые рубахи цырюльников. Они так и пузырились от добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, из взятого ничего не вернули! Цырюльники и не собирались ничего возвращать. Они считали взятое добро своим законным достоянием. Это была взятка цырюльне. В этой тюрьме, как я впоследствии убедился, брались самые разнообразные взятки; мне также было суждено сделаться взяточником благодаря моему новому приятелю.

В цырюльне стояло несколько стульев, и брадобреи работали быстро. Я никогда не видел, чтобы людей так быстро брили и стригли! Арестанты намыливались сами, и цырюльники брили их со средней скоростью одного человека в минуту. Стрижка головы отнимала чуть побольше времени. В три минуты с моего лица сошел пушок восемнадцатилетнего юнца, и голова моя стала гладка, как биллиардный шар, осталось только жнивье щетинок. Борода и усы исчезли, как и наше платье. Можете поверить, когда нас отделали, мы представляли собой банду форменных злодеев.

Потом мы выстроились в шеренгу—человек сорок или пятьдесят—нагие, как герои Киплинга, штурмующие Лунгтунгпен. Обыскивать нас было легко. На нас были только наши башмаки. У двух или трех неосторожных молодчиков, не решившихся поверить цырюльникам, нашли их добро, и это добро, а именно: табак, трубки, спички, мелкая монета, было в мгновение конфисковано. После этой операции принесли наши новые одеяния—толстые тюремные рубашки и куртки со штанами, все полосатое. Я прежде думал, что полосатое каторжное платье надевается лишь на людей, совершивших тяжкое уголовное преступление. Впрочем, я не стал предаваться размышлениям, надел на себя эти знаки позора и затем впервые отведал маршировки «каторжным гуськом».

Выстроившись тесной вереницей друг другу в затылок, при чем задний держал руки на спине переднего, мы перешли в другой боль-

шой «зал». Здесь нас выстроили длинной шеренгой у стенки, приказали обнажить левую руку. Молодой студент-медик, практиковавшийся на животных в роде нас, обходил ряды. Он делал прививку вчетверо проворней, чем цырюльники брили нас. Расставив нас всех так, чтобы мы не стерли лимфы, коснувшись рукой чего-нибудь и дав крови засохнуть, так, чтобы получился струп, нас развели по камерам. Здесь мы с моим новым приятелем разлучились, но он успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Впоследствии я видел людей, не сделавших этого: у них на руках образовались страшные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли ведь высосать...

В моей камере находился еще узник—мой товарищ по камере. Это был молодой, на вид сильный парень, не разговорчивый, но очень ловкий и самый хороший товарищ, какого только можно встретить в скитаниях, нет нужды, что он только-что отбыл двухгодичный срок в исправилке штата Огайо.

Мы не провели в нашей камере и получаса, как по галлерее прошел арестант, заглядывая в окошечки камер. Это был мой приятель. Как он мне объяснил, он имел право свободно расхаживать по «залу». Его камеру отпирали в шесть часов утра и не запирали до девяти вечера. У него был здесь приятель, и его скоро назначили старостой, так называемым «коридорным». Человек, назначавший его, тоже был арестант и староста и «первый коридорный». В нашем корпусе полагалось тринадцать коридорных. В каждом из десяти коридоров имелись свои коридорные, а над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные.

Нам, новоприбывшим, придется остаться в камерах на весь остаток дня, чтобы прививка «принялась», объявил мне мой приятель. Наутро нас выведут на каторжные работы в тюремный двор.

— Но я избавлю тебя от работы, как только смогу!—обещал он.—Я добьюсь увольнения одного из коридорных и назначу тебя на его место.

Засунув руку в рубашку, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками, просунул мне его сквозь решетку... и ушел по галлерее дальше.

Я развязал узелок. Все оказалось на месте! Не пропала даже единственная бывшая у меня спичка. Я поделился остатком папироски с моим товарищем по заключению. Когда я хотел зажечь спичку, он остановил меня. На наших койках лежало по тонкому грязному шарфу. Он оторвал узенькую полоску от тонкой ткани, плотно скрутил ее и вытянул в длинный тонкий цилиндр. Этот цилиндр он зажег драгоценной спичкой. Цилиндр из плотно свернутой бумажной ткани

не воспламенился. Только кончик его обуглился и начал тлеть. Медленное тление могло длиться несколько часов; товарищ называл это «трутом». Когда трут догорал, стоило только сделать новый трут, приложить его к старому, подуть—и «огонек» воскресал. Как видите, мы могли дать Прометею сто очков вперед по части хранения огня!

В двенадцать часов подали обед. В двери нашей клетки внизу находился небольшой вырез, вроде тех, что делают в курятниках для цыплят. В этот вырез нам просунули два ломтя сухого хлеба и две мисочки «супа». Порция «супа» заключалась приблизительно в кварте кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жира. Было в этой воде и немного соли.

Мы выпили суп, но не тронули хлеб. Не то, чтобы мы не были голодны или хлеб был не съедобен,—хлеб был сносный,—но у нас были свои соображения. Мой товарищ открыл, что наша камера кишит клопами! Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где выпала штукатурка, притаились огромные колонии клопов. Они дерзали показываться даже среди бела дня. У моего товарища уже был опыт по этой части. Как некий Роланд [1]), он бесстрашно поднес рог к своим губам и объявил клопам войну. Началась небывалая битва. Она длилась часами, она была беспощадна. И когда последние из уцелевших врагов бежали в свои кирпичные и штукатурные крепости, дело наше было сделано только наполовину. Мы жевали хлеб, превращая его в известко-подобную массу, и как только бегущий воин скрывался в расселину между кирпичами, мы тотчас же залепляли ее прожеванным хлебом. Трудились мы до тех пор, пока не стало смеркаться и все отверстия, щели и трещины не оказались закупорены. С ужасом думаю о сценах голодной смерти и каннибализма, которые должны были разыграться в стане побежденных, за этими оплотами из жеваного хлеба!

Мы бросились на койки, измученные и голодные, и стали ждать ужина. Для одного дня работы было достаточно. В предстоящие недели мы по крайней мере не будем страдать от полчищ насекомых! Мы отказались от обеда, спасая свою шкуру за счет желудков; но мы были довольны. Увы, сколь тщетны человеческие усилия! Едва был окончен наш долгий путь, как сторож отпер дверь. Произошло перераспределение арестантов, нас перевели в другую камеру и заперли двумя галлереями выше!

На другой день рано утром наши камеры отперли, и внизу несколько сотен узников выстроились гуськом и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри протекает у заднего двора исправительной

---

[1]) Знаменитейший из героев французских народных сказаний цикла Карла Великого, образец неустрашимого рыцаря.

тюрьмы. Работа заключалась в разгрузке приплывавших по каналу судов и в перетаскивании огромных, как шпалы, нарезных болтов в тюрьму. Работая, я примерялся к обстановке и исследовал возможность удрать. На это не было ни тени надежды. По стенам расхаживала стража, вооруженная автоматическими ружьями, и, кроме того, сказали мне, в сторожевых башнях поставлены были пулеметы.

Я, впрочем, не огорчился. Тридцать дней не так уж много! Я потерплю эти тридцать дней, у меня только прибавится материала, который я использую по выходе на свободу против этих гарпий правосудия. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны, как были растоптаны мои! Мне отказали в праве судиться судом присяжных; мне отказали в праве признать себя виновным или не признать; мне даже отказали в суде (ибо не мог же я считать то, что происходило в «Ниагарском Водопаде», судом!); мне не дали возможности снестись с адвокатом или с кем бы то ни было и, стало-быть, отказали в праве жаловаться на нарушение моего habeas corpus; мне выбрили лицо, остригли волосы, надели на меня полосатую одежду каторжника; заставили каторжно трудиться за хлеб и воду и ходить позорным «гуськом» под охраною вооруженной стражи. И за что это все? Что я сделал? Какое преступление я совершил? Чем я оскорбил граждан города «Ниагарский Водопад»? Я даже не нарушил правила, запрещающего ночевать на улице. Я спал не на улице, а в поле! Я даже не просил хлеба и не «клянчил монетки» на их улицах! Все, что я сделал, заключалось в том, что я прошелся по их тротуару и поглядел на их грошовый водопад. Какое же это преступление? Технически я не провинился ни в каком проступке. Ладно же, я им покажу, дайте срок!

На следующий день я обратился к сторожу. Я потребовал адвоката. Сторож высмеял меня. Высмеяли и другие сторожа. Я был отлучен от внешнего мира! Я пытался написать письмо, но узнал, что письма читаются, цензуруются или конфискуются тюремными властями и что «краткосрочникам» вообще не позволяют писать писем. После этого я пытался посылать письма контрабандой через освобождаемых арестантов, но узнал, что их обыскали, нашли письма и уничтожили их. Ладно, все это отягчит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу!

Но по мере того, как тянулись тюремные дни (их я опишу в следующей главе), я становился рассудительнее. Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, полицейских судах и адвокатах. Арестанты рассказывали мне о личных столкновениях с полицией, рассказывали вещи, наводившие непобедимый ужас. Еще страшнее были рассказы о людях, умерщвленных руками полиции, и которые поэтому не могли рассказать сами о себе. Много лет спустя в докла-

дах комиссии Лексо мне пришлось читать правдивые и еще более страшные повести, чем те, каких я наслушался. В первые дни моего сидения в тюрьме я смеялся всему, что мне рассказывали.

Но дни проходили, и я начал верить. Я собственными глазами увидел в этой тюрьме вещи невероятные и чудовищные.

Возмущение мое испарялось, в меня начал закрадываться страх. Я отчетливо понял, наконец, на что я восстал. Я присмирел, утихомирился. С каждым днем я все более укреплялся в решении не поднимать шума, когда меня выпустят. Единственное, чего я ждал, это возможности уйти из этих мест. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихоней и благоразумно стал пробираться в штат Пенсильванию.

ИСПРАВИЛКА

Два дня я работал на тюремном дворе. Работа была тяжелая, и хотя я и отлынивал при всяком удобном случае, я скоро совсем извелся. Причиной было скудное питание. На такой кормежке никто не мог хорошо работать. Хлеб и вода—вот все, что нам давали. Раз в неделю полагалось мясо; но мясо это не всегда доходило до нас, и так как из него предварительно вываривались все питательные элементы для приготовления «супа», то уже все равно было: пробовать раз в неделю это мясо или не пробовать совсем.

Кроме того, в нашей хлебно-водной диэте был один существенный дефект. Получая в изобилии воду, мы не получали достаточно хлеба. Хлебный паек был размерами с два мужицких кулака, и каждому узнику выдавалось три таких пайка на день. Должен сказать, у воды было одно хорошее качество—она была горяча! Утром она называлась «кофеем», в полдень ее величали «супом», а вечером она фигурировала в роли «чая». Но это была все та же вода. Арестанты называли ее «заколдованной водичкой». Утром она была черной оттого, что ее кипятили с горелыми корками хлеба. В полдень воду подавали минус цвет, плюс соль и капля жиру. Вечером подавали воду пурпурно-каштанового цвета, не поддающегося никакому определению; чай был из рук вон дрянной, но вода была отменно горяча!

Очень голодная публика сидела в исправительной тюрьме округа Эри! Только «долгосрочники» знали, что значит поесть. Дело в том, что они довольно скоро научились кормиться пайками, выдававшимися «краткосрочникам». Я знаю, что долгосрочные получали более сытную еду; их было много в нижнем этаже нашего корпуса, и в бытность свою старостой я воровал у них провиант при раздаче. Человек не может же жить одним хлебом, да еще получаемым в недостаточном количестве!

Мой приятель был подателем земных благ. После двух дней работы во дворе меня вывели из моей камеры и сделали старостой—«коридорным». Утром и вечером старосты разносили хлеб арестантам в их камеры. Но в полдень применялся другой прием. Арестанты возвращались с работы длинной вереницей. Войдя в дверь нашего

корпуса, они разрывали цепь и снимали руки с плеч товарищей, шедших впереди. Сейчас же за дверью стояли лотки с хлебом, и здесь же находились первый коридорный и два его помощника. Я был одним из них. Нашей задачей было держать лотки с хлебом, пока не продефилирует шеренга арестантов. Как только лоток, скажем, мой, опоражнивался, мое место занимал другой коридорный с новым полным лотком. Когда опоражнивался этот, я занимал его место. Так мимо нас непрерывно проходили ряды арестантов; каждый протягивал правую руку и брал хлебный паек с протянутого лотка.

Иная работа лежала на первом коридорном. При нем была дубинка. Он стоял возле лотка и следил. Несчастные голодные арестанты не всегда могли отделаться от иллюзии, что можно сцапать с лотка лишний кусок хлеба. На моей памяти им это ни разу не удавалось! Дубинка первого коридорного с молниеносной быстротой выбрасывалась вперед и с проворством лапы тигра опускалась на дерзновенную руку. У первого коридорного был отличный глаз, и он набил этой дубинкой столько рук, что не мог промахнуться. Промахов и не было; обычно он наказывал провинившегося арестанта тем, что отбирал у него законный паек и отправлял в камеру обедать горячей водой.

Не раз случалось, что в то время, как все эти люди лежали голодные в своих камерах, я видел сотню и более пайков, припрятанных в камерах коридорных! Казалось, нелепо было удерживать чужой хлеб! Но это была наша взятка! В нашем корпусе мы были хозяева и проделывали приблизительно то же, что хозяева цивилизации. Мы заведывали снабжением населения продовольствием и совершенно так же, как наши братья, бандиты с «воли», заставляли публику дорого оплачивать нас. Мы торговали этим хлебом. Раз в неделю люди, работавшие во дворе, получали кусочек прессованного табаку для жевания стоимостью в пять центов. Этот жевательный табак был монетой нашего царства. Обычно мы променивали два-три пайка хлеба за кусочек табаку, и арестанты покупали его у нас не потому, что меньше любили табак, но потому, что больше любили хлеб. О, я знаю, это было то же самое, что отнимать конфетку у ребенка, но что вы хотите, жить надо было! Инициатива и предприимчивость должны же быть вознаграждаемы! Кроме того, мы лишь подражали примеру людей за стенами тюрьмы, которые в более широком масштабе и в более почетном образе купцов, банкиров и промышленников делали совершенно то же, что мы. Что сталось бы с этими беднягами без нас, я даже не мог себе представить. Небу известно, что мы пускали хлеб в народное обращение по тюрьме. Да еще поощряли бережливость и экономию... в лице бедняг, отказывавшихся от табаку. Мы подавали пример! В сердце каждого арестанта мы насаждали честолю-

бивое стремление уподобиться нам и заняться коммерцией. Мы были спасители общества—так, думаю я, надо понимать это дело.

Вот голодный человек без табаку. Может, он мот и все израсходовал на себя. Отлично; у него пара подтяжек. Я предлагаю за них полдюжины пайков хлеба или дюжину пайков, если подтяжки окажутся очень хорошего качества. Нужно вам сказать, что я не ношу подтяжек, но это неважно. За углом живет «долгосрочник», отбывающий десять лет заключения за убийство. Он носит подтяжки, и ему понадобилась пара подтяжек. Я могу променять ему подтяжки на имеющиеся у него мясо. Мне хочется мяса. А может, у него найдется какой-нибудь истрепанный роман в бумажной обложке? Это будет находка! Я могу прочесть роман, а потом сбыть его пекарям за пирожное или поварам за мясо и овощи, или истопнику за приличный кофе, или еще кому-нибудь за газеты, которые иногда просачивались в тюрьму, один Аллах ведает, какими путями. Все эти повара, пекари и истопники были арестанты, как и я, и жили они в нашем корпусе, в первом ряду камер над нами.

Короче говоря, в нашей «исправилке» царила высоко развитая система барышничества. Были в обращении и деньги. Эти деньги попадали контрабандой через краткосрочников, а чаще всего притекали из цырюльни, где обирали новичков; главная же масса денег шла из камер долгосрочников—как они их добывали, не могу понять.

При своем видном положении первый коридорный слыл еще и богачом. В добавление к своим разнообразным поборам он брал взятки и с нас. Мы эксплоатировали бедственное положение арестантов, а первый коридорный был генерал-эксплоататор над всеми нами. Свои личные взятки мы брали с его разрешения, и за это разрешение должны были платить ему. Как я уже говорил, он слыл за богатого человека; но мы не видели у него денег, и жил он в своей камере в блестящем одиночестве.

Что деньги имелись в тюрьме, на это у меня есть прямые доказательства—в течение некоторого времени я сидел в одной камере с третьим коридорным. У него было больше шестнадцати долларов. Обычно он пересчитывал их каждый вечер после девяти часов, когда нас запирали. И каждый вечер он рассказывал мне, что он со мной сделает, если я выдам его другим коридорным. Он, видите ли, боялся, что его ограбят, а эта опасность угрожала ему с трех разных сторон. Со стороны сторожей: несколько сторожей могли наброситься на него, задать ему трепку за мнимое неповиновение и посадить в «одиночку» (карцер); в свалке улетучились бы его шестнадцать долларов. Далее, первый коридорный мог отнять у него все деньги под угрозой уволить и отправить обратно на каторжные работы в тюремном дворе. О, наконец, оставалось еще десять человек обыкновенных коридорных. Про-

нюхай мы о его богатстве, легко может случиться, что в один прекрасный день вся наша банда загонит его в угол и ограбит. О, мы были волки, поверьте мне, совершенно как те господа, что делают дела на Уолл-Стрите!

У него были солидные основания бояться нас, и, стало-быть, мне надо было бояться его. Это был огромный невежественный зверь, отбывавший пять лет в тюрьме Синг-Синга, и притом зверь плотоядный. Он ловил силками воробьев, залетавших в наш зал сквозь прутья ограды. Поймав пленника, он уходил с ним в свою камеру, и я видел, как он пожирал добычу в сыром виде, хрустя косточками и выплевывая перья! О нет, я не выдавал его прочим коридорным! Вы, читатель, первый, которому я рассказываю об этих шестнадцати долларах.

Тем не менее я умудрился эксплоатировать его. Он был «врезавшись» в одну арестантку, заключенную в женском отделении. Он не умел ни читать, ни писать, я читал ее письма к нему и писал за него ответы. И за это заставил платить мне! Зато я писал отличные письма! Я очень старался, выискивал самые отменные выражения, и, мало того, я склонил ее чувства к нему: я имею основание думать, что она влюбилась не в него, но в скромного писца. Повторяю, письма были первый сорт!..

Другой вид взятки составляла «передача трута». Мы были небесные вестники, носители огня в этом железном мире замков и решеток. Когда люди возвращались с работы к вечеру и их запирали в камеры, им смертельно хотелось курить. Тогда-то мы разжигали небесную искру и обегали коридоры, от камеры к камере, с нашим тлеющим трутом. Те, кто был поумнее или с которыми мы уже имели дело, держали свои труты наготове. Однако, не каждый получал божественную искру. Арестант, отказывавшийся раскошелиться, ложился спать без искры и без курения! Но что нам было до этого? Преимущество было на нашей стороне; и если он начинал бушевать, двое-трое из нас бросались на него и давали ему встрепку.

У коридорных была своя философия. Нас было тринадцать коридорных. В нашем корпусе размещалось около пятисот арестантов. Предполагалось, что несем мы работу по поддержанию порядка. Последнее лежало на обязанности сторожей, а те препоручали его нам. Стало-быть, мы должны поддерживать порядок; если мы этого не сумеем сделать, нас прогонят на каторжные работы, по всей вероятности, дав предварительно попробовать карцера. Но покуда мы поддерживаем порядок, мы можем обделывать свои делишки.

Теперь вдумайтесь хорошенько! Нас было тринадцать зверей над пятистами других зверей. Наша тюрьма была сущий ад, и тринадцать человек должны были править им. Править мерами кротости было немыслимо, принимая во внимание характер зверей. И мы упра-

вляли террором. Разумеется, мы опирались на сторожей. В крайнем случае мы призывали их на помощь, но если бы мы стали их тревожить слишком часто, это бы им надоело, и они нашли бы на наше место более надежных старост. Но мы редко обращались к ним,— только тогда, когда, например, нужно было отпереть камеру, чтобы впихнуть в нее непослушного арестанта. В подобных случаях сторожу оставалось только отпереть дверь и уйти прочь, чтобы не быть свидетелем того, что происходит, когда с полдюжины коридорных вваливаются в камеру и начинают избивать человека.

О деталях этого избиения я ничего вам не скажу. В конце концов избиения были лишь меньшим из непередаваемых ужасов, происходивших в нашей тюрьме. Я говорю «непередаваемых», а по справедливости должен был бы сказать: «невообразимых». Они были невообразимы для меня, пока я не увидел их, а я хорошо знал и жизнь, и жуткие бездны человеческого падения. Понадобился бы длинный шнур, чтобы достать лотом до дна этой тюрьмы. Я здесь только слегка и шутливо задеваю поверхность вещей, которых я там насмотрелся...

Временами, например, по утрам, когда арестанты спускались вниз умываться, мы, тринадцать человек, буквально тонули в их массе, и самый последний из арестантов понимал это. Тринадцать против пятисот! Но мы управляли страхом. Мы не могли допустить ни малейшего нарушения правил, ни малейшей дерзости по отношению к себе. Дозволить это значило погибнуть. У нас было правилом: ударить человека, едва он раскроет рот, ударить сильно, ударить чем попало. Весьма отрезвляющее действие производила ручка метлы, если ткнуть ею прямо в лицо. Но это еще было не все! Такой протестант должен был послужить примером другим; поэтому вторым правилом было войти в толпу и погнаться за ним. Разумеется, знали наверное, что каждый коридорный, увидев погоню, примет участие в наказании строптивого; и это было правилом. Когда у коридорного выходили нелады с арестантами, то обязанностью другого коридорного, случившегося поблизости, было протянуть кулак помощи. В чем бы дело ни заключалось, надо было броситься и ударить, ударить чем попало и сбить протестанта с ног.

Помню красивого молодого мулата лет двадцати, которому пришла в голову безумная мысль: отстаивать свои права! И он ведь был прав, но это ему мало помогло. Жил он на самом верхнем коридоре. Восьмеро коридорных выбили из него спесь ровно в полторы минуты, ибо как-раз столько времени требовалось, чтобы пройти весь коридор до конца и пять стальных лестниц донизу. Этот путь он проделал всеми частями своего тела, за исключением ног, и восьмеро коридорных не тратили времени попусту. Мулат треснулся о каменный пол возле

меня. Он встал на ноги и с минуту стоял прямо. Потом широко раскинул руки и испустил страшный вопль ужаса и боли. В то же мгновение, словно в какой-нибудь фантасмагории, с него спали лохмотья толстой тюремной одежды, оставив его совершенно нагим; из каждой поры его тела лилась кровь. Он упал без чувств, безжизненным мешком. Он получил урок, и все каторжники, находившиеся в тюрьме и слышавшие его крик, зарубили себе на носу этот урок. Зарубил себе на носу и я! Жутко видеть человека, приведенного в подобное состояние в какие-нибудь полторы минуты...

А вот как мы обделывали делишки по торговле трутом. В наши камеры привели новичков. Вы проходите с вашим трутом мимо решетки. «Дай огоньку!» кричит вам кто-нибудь. Это значит, что у человека есть табак. Вы просовываете трут и идете дальше. Немного спустя вы возвращаетесь и как бы случайно прислоняетесь к решетке. «Не дашь ли ты нам табачку?», говорите вы. Если он не искушен опытом, то, весьма возможно, он торжественно станет клясться, что у него больше нет табаку. Отлично! Вы выражаете ему соболезнование и идете своей дорогой. Но вы знаете, что трута ему хватит только до конца дня. На другой день вы проходите мимо, и он опять говорит: «Эй, дай огоньку!» А вы отвечаете: «У тебя нет табаку, и тебе не нужно огоньку!» И вы не даете ему «огоньку». Через полчаса или через час, или два, три часа вы опять проходите мимо, и он окликнет вас, значительно поубавив тону: «Подойдите-ка сюда, Бо!» Вы подходите, просовываете руку сквозь прутья решетки, и вам насыпают в нее драгоценного табаку. После этого вы даете ему «огоньку».

Иногда приходит новичок, еще незнакомый с системой взяток. По тюрьме пускается таинственный лозунг, что с ним надо быть «по-божески». Откуда взялся этот слух, я не знаю; ясно только, что у человека есть «заручка». Может-быть, в лице одного из старших коридорных; может быть, сторож в другой части тюрьмы; может быть, хорошее отношение куплено у взяточника повыше; как бы там ни было, мы знаем, что с ним надо обращаться по чести, если мы хотим избежать неприятностей.

Мы, коридорные, играли в тюрьме роль посредников и почтальонов. Мы устраивали сделку между арестантами, заключенными в разных частях тюрьмы, и производили обмен. Принимали мы всякие поручения, и иной предмет, служивший обмену, проходил по меньшей мере через руки десятка посредников, из коих каждый снимал свою долю или получал ту или иную плату за свои услуги.

Иногда я оказывался в долгу по услугам, иногда другие были мне должны. Так, в тюрьму я вошел должником арестанта, который контрабандой спас мои вещи. Этак через неделю один из истопни-

ков сунул мне в руки письмо. Оно было вручено ему цырюльником. Цырюльник получил его от арестанта, который помог мне пронести контрабандой вещи. Так как я был перед ним в долгу, то обязан был передать письмо дальше. Но письмо было не от него. Автором письма был долгосрочник в его коридоре. Письмо предназначалось арестантке, сидевшей в женском отделении. Но адресовалось ли оно именно ей, или она в свой черед служила лишь одним из звеньев цепи посредников—мне было неизвестно. Мне только указали ее приметы, и я должен был вручить письмо ей.

Прошло два дня, в течение которых я носил при себе письмо; наконец, пришел желанный случай. Женщины занимались починкой белья арестантов. Нескольких коридорных посылали в женское отделение с большими узлами белья. Я уговорил первого коридорного отрядить меня в эту экспедицию. Дверь за дверью отпиралась перед нами, и мы прошли через всю тюрьму на женскую половину. Нас ввели в огромную комнату, где женщины сидели за починкой белья. Я начал искать глазами женщину по данным мне приметам, и, отыскав ее, стал пробираться к ней. За женщинами следили две матроны с ястребиными глазами. Я держал письмо зажатым в ладони и многозначительно посмотрел на ту женщину, которой должен был передать письмо. Она поняла, что у меня есть к ней дело, должно-быть, она ждала передачи, и с первой минуты, как мы вошли, пыталась угадать, кто посыльный. Но в двух футах от нее торчала одна из надзирательниц, а коридорные уже начали собирать узлы с бельем, которое должны были унести. Минуты бежали! Я возился над моим узлом, делая вид, будто он плохо увязан. Неужели надзирательница не отвернется? Или моя затея сорвется? Но как-раз в это мгновение другая женщина начала заигрывать с одним из коридорных—шутя ударила его или ущипнула, не знаю, что именно она сделала. Надзирательница перевела взгляд в ее сторону и начала бранить женщину. Не знаю, было ли это все нарочно подстроено, чтобы отвлечь внимание надзирательницы, но я понял, что нужно использовать это мгновение. Рука женщины, ожидавшей письмо, скользнула с колена. Я нагнулся поднять узел и, нагибаясь, сунул ей в руку письмо, получив взамен другое. В следующее мгновение узел был у меня на спине; надзирательница обратила на меня свои взоры, так как я задержался, и я поспешил догнать моих товарищей. Полученное от женщины письмо я передал истопнику, оно прошло через руки цырюльника, затем арестанта, пронесшего мои вещи, и, наконец, попал в руки долгосрочника на другом конце тюрьмы.

Мы часто передавали письма таким сложным путем, что не знали ни отправителя, ни получателя. Мы были только звеньями в цепи.

Какой-нибудь арестант тыкал мне в руки письмо с просьбой передать следующему звену. За все такие услуги впоследствии получалась мзда, сталкиваясь непосредственно с главным агентом по передаче писем; я получал у него плату. Вся тюрьма была покрыта сетью таких коммуникационных линий. Разумеется, мы, заведывавшие этой системой сообщения, взимали дань с наших клиентов по точному образцу капиталистического общества. Это была услуга за лихвенную плату, хотя иногда мы не отказывались делать одолжения не в служ-бу, а в дружбу.

Во все время пребывания в исправилке я старался ладить с моим товарищем. Он много сделал для меня и того же ожидал взамен. По выходе на волю мы должны были вместе «бродяжничать» и, нечего и говорить, вместе «варганить дела». Мой товарищ был уголовный преступник, правда, не алмаз чистой воды, а просто мелкий преступник, готовый украсть, ограбить, разгромить квартиру и, если его накроют, не остановиться перед убийством. Много мирных часов мы с ним просидели и протолковали. На ближайшее будущее у него были намечены два или три дельца, в которых моя роль была ясно очерчена, и я принимал участие в выработке этих планов. Я знал много преступников, и мой новый приятель не подозревал, что я только дурачил, мистифицировал его в течение тридцати дней. Он принимал меня за «настоящий товар», и я нравился ему за то, что я был неглуп; может быть, он даже привязался ко мне. Разумеется, я не имел ни малейшего намерения делить с ним его жизнь и грязные мелкие преступления; но я был бы идиот, отвергнув выгоды его дружбы. Когда ходишь по горячим плитам преисподней, не приходится выбирать дорожек. Приходилось быть заодно с «компанией» или нести каторжную работу за хлеб и за воду; чтобы быть заодно с «компанией», приходилось ладить с моим новым приятелем.

Нельзя сказать, чтобы жизнь в тюрьме отличалась монотонностью. Каждый день что-нибудь случалось: с арестантами происходили истерики, сумасшествия, драки, или напивались коридорные. Нашей главной звездой в этом отношении был Скиталец Джэк, один из младших коридорных. Это был профессиональный, заядлый бродяга, и, как таковой, он пользовался благоволением власть имущих. Джон из Питсбурга, второй коридорный, обычно присоединялся к Скитальцу Джэку в его затеях; любимым афоризмом этой парочки была поговорка, что наша исправилка—единственное место, где можно напиться и не попасть под арест. Лично я не видел, но мне рассказывали, что они опьянялись бромистым калием, который неведомыми способами добывали из лазарета. Но каковы бы ни были источники хмельного, я знаю, что они добывали его и время от времени напивались.

Наш корпус был сущим непотребным домом. Наполненный подонками общества и наследственными бездельниками, дегенератами, калеками, умалишенными, свихнувшимися, эпилептиками, чудовищами, он представлял кошмар людского отребья. Поэтому у нас нередко бывали припадки истерики. Эти припадки, кажется, были заразительны. Один человек начинал метаться, другие следовали его примеру. Я видел по семи человек сразу в припадке; они оглашали воздух пронзительными криками, а столько же других помешанных бормотало и неистовствовало вокруг них. Припадочным не подавалось никакой помощи, если не считать того, что их обливали холодной водой. Посылать за студентом-медиком или за врачом было бесполезно. Они не любили беспокоить себя по таким обыденным и частым случаям.

Был у нас молодой голландец, мальчик лет восемнадцати, с которым чаще всего случались такие припадки—обычно по припадку в день. По этой причине мы и держали его в нижнем этаже, подальше от коридора, в котором сами жили. После того, как с ним случилось несколько припадков на тюремном дворе, сторожа перестали беспокоиться о нем, и он целый день сидел взаперти с одним лондонцем, посаженным к нему «за компанию». Нельзя сказать, чтобы эта «компания» была ему чем-нибудь полезна. Когда на голландца накатывало, лондонец только смотрел на него, замирая в параличе ужаса.

Голландец не говорил ни слова по-английски. Он был сыном фермера и отбывал девяносто дней тюрьмы за то, что ввязался в какую-то драку. Припадки его начинались с воя—настоящего волчьего воя. Переживал он свою падучую стоя; это было весьма неудобно для него, ибо припадки всегда оканчивались тем, что он стремглав летел на пол. Заслышав волчий вой, я хватал метлу и бежал к его камере. Старостам не доверяли ключей от камер, стало-быть, я не мог войти к нему. Он стоял посреди своей тесной камеры, судорожно вздрагивая и закатив глаза так, что виднелись одни белки, и дико выл. Сколько я ни пытался, я никак не мог убедить лондонца подать больному помощь. Больной стоял и выл, а лондонец, скрючившись, трясся на своей верхней койке, устремив застывший в ужасе взгляд на страшную фигуру с закатившимися белками, дико завывавшую. Ему, этому бедняге лондонцу, тоже было несладко. У него самого мозги не совсем прочно сидели в коробке. Нужно только удивляться, как он не сошел с ума!

Самое большое, что я мог сделать, это действовать метлой. Я просовывал ее сквозь решетку, упирал в грудь голландца и ждал. По мере приближения кризиса он начинал пошатываться взад и вперед. Я следовал ручкой метлы за его движениями, ибо трудно было сказать, когда именно он совершит свое страшное падение. И когда мо-

мент наступал, я был с метлой тут как тут; подхватывал его и потихоньку спускал на пол. Но сколько я ни старался, он часто падал с размаху, и лицо его вечно было покрыто ссадинами от ударов о каменный пол. Когда он падал и начинал извиваться в конвульсиях, я выливал на него ведро воды. Не знаю, нужно ли было лить холодную воду, но таков был обычай в нашей исправительной тюрьме! Больше ему не оказывали никакой помощи, так он лежал час или два, а потом залезал на свою койку. Я никогда не обращался за помощью к сторожам. Да и чем можно помочь припадочному?

В смежной камере жил странный субъект—человек, отбывавший шестьдесят дней за то, что он поел помоев из ушата в цирке; по крайней мере так утверждал он. Он был не совсем «в себе», но первое время вел себя очень смирно. Дело происходило именно так, как он рассказывал. Однажды, забредя в цирк, терзаемый голодом, он пробрался к ушату, в который сваливали остатки еды циркачей. «Там был хороший хлеб,—уверял он меня,—а мяса ни крошки...» Его застал за этим делом полисмен, арестовал, а судья отправил его в тюрьму.

Однажды я проходил мимо его камеры с кусочком упругой и тонкой проволоки в руке. Он так настойчиво стал выпрашивать ее, что я сунул ему проволоку сквозь решетку. Быстро, без всякого орудия, кроме собственных пальцев, он разломал проволоку на несколько кусочков и согнул из них полдюжины недурных английских булавок. Кончики он заострил об каменный пол. После этого я завел торговлю английскими булавками. Я поставлял ему сырье и продавал готовый продукт, приготовленный им. В виде заработной платы я выдавал ему добавочный паек хлеба и время от времени жаловал ломтик мяса или суповую кость с мозгом.

Но тюремный плен стал сказываться на нем, и он с каждым днем становился все более буйным. Коридорные любили дразнить его. Они вызывали бурю в его слабом мозгу рассказами о большом состоянии, якобы завещанном ему. Его арестовали и посадили в тюрьму будто бы для того, чтобы лишить наследства. Разумеется (и он это знал), закона, запрещающего есть из ушата, не существует. Стало-быть, его посадили незаконно! Все это—заговор с целью лишить его состояния!

Мне это рассказали, когда я однажды остановился узнать, почему хохочут коридорные; они потешались над ним. Вскоре он пригласил меня на серьезную конференцию, рассказал о своих миллионах и о заговоре и назначил меня своим сыщиком. Я всячески старался помаленьку разубедить его, туманно намекал на ошибку, на то, что существует однофамилец—настоящий законный наследник. Мне удалось значительно охладить его; но я не мог запретить коридорным, а

они продолжали мистифицировать его пуще прежнего. Кончилось тем, что после яростной сцены он прогнал меня, лишил мандата частного сыщика и объявил забастовку. Пришлось мне прекратить торговлю английскими булавками! Он отказывался делать их, колол меня «сырым материалом» сквозь решетку своей камеры, когда я проходил мимо.

Помириться с ним мне так и не удалось. Коридорные рассказали ему, что я поступил в сыщики к его врагам, и доводили его до безумия своими росказнями. Он в конце концов превратился в опасного помешанного, способного на убийство. Сторожа отказывались слушать его повествования об украденных миллионах, и он обвинял их в том, что они участвуют в заговоре. Однажды он ошпарил сторожа чайником горячего чаю, и тогда его дело расследовали. Явился надзиратель, поговорил с ним через решетку. Потом его вывели и подвергли длительному исследованию. Больше он не возвращался, и я часто думаю: в могиле ли уже он, или продолжает бормотать о своих миллионах в каком-нибудь сумасшедшем доме?

Наконец, наступил великий день—день моего освобождения. Это был и день освобождения третьего коридорного. Девушка-краткосрочница, сердце которой я завоевал для него письмами, ожидала его за стенами тюрьмы. Счастливые, они ушли. Мы с моим товарищем вышли вместе и вместе пошли в Буффало. Разве мы не решили быть вечно вместе? Вместе мы выпросили на большой дороге несколько монеток и все, что «настреляли», потратили на «банки» пива—по три цента каждая. Все это время я искал случая улизнуть. У встретившегося на дороге бродяги я узнал, что в такой-то час отходит товарный поезд. Сообразно с этим я и распределил свое время. Когда наступил момент, мы с товарищем находились в трактире. Перед нами пенились две «банки» пива. Мне хотелось попрощаться с ним. Он хорошо относился ко мне... Но я не посмел. Я вышел через заднюю дверь трактира и перелез через забор. Побег совершился быстро, ибо спустя несколько минут я уже стоял на площадке товарного поезда и ехал на юг по западной железной дороге Нью-Йорк—Пенсильвания.

БРОДЯГИ, ПРОХОДЯЩИЕ НОЧЬЮ

В дни своих скитаний я встречал сотни бродяг, которых я окликал или которые меня окликали, с которыми я проводил время у водокачки, кипятил воду, варил немудреную пищу, попрошайничал по дорогам и в домах и ловил поезда; они проходили—и больше я их не видел. Но были бродяги, проходившие и вновь возвращавшиеся изумительно часто, и, наконец, были такие, которые проходили мимо, как привидения, почти невидимые.

За одним таким бродягой я гнался однажды на протяжении трех тысяч слишком миль железной дороги, и ни разу не удалось мне взглянуть ему в лицо. Его «гербом» был «Парусный Джэк». В первый раз я заметил этот герб в Монреале. Это был вырезанный складным ножом парус корабля. Работа была мастерская! Под рисунком виднелась надпись: «Парусный Джэк», а повыше пометка: «Н. З. 10—15—94». Это значило, что он миновал Монреаль, проехав в западном направлении 15 октября 1894 года. Он только на сутки обогнал меня! Моим же гербом и кличкой в то время было «Матрос Джэк»; я тотчас же вырезал свой герб рядом с его гербом, с указанием числа и месяца и того, что также еду на запад.

К сожалению, я пропустил следующие сто миль и только через восемь дней опять напал на след Парусного Джэка в трех милях западнее Оттавы. Вот он, этот герб, вырезанный на водокачке! По числу я видел, что и он задержался. Он только на два дня обогнал меня. Я был «комета», царственный бродяга; таков был и Парусный Джэк; и поймать его для меня было вопросом чести и репутации. Я ехал по железной дороге день и ночь, и обогнал его; потом он в свой черед обогнал меня. От бродяг, направлявшихся к востоку, я иногда узнавал кое-что о нем; от них же я узнал, что он заинтересовался «Матросом Джэком» и расспрашивает обо мне.

Если бы мы встретились, мы составили бы отменную парочку, думаю я; но мы никак не могли встретиться! Всю Манитобу я прошел впереди его. Но он обогнал меня в Альберте; и в одно отвратительное серое утро в конце линии, восточнее Перевала Брыкливой Лошади, я узнал, что его видели накануне вечером между Перевалом

Брыкливой Лошади и Перевалом Роджера. Любопытно, как я узнал об этом: всю ночь я ехал в «пульмановском вагоне с боковой дверью» (попросту, в товарном вагоне) и чуть не подох от холода, когда вылез на станции «пострелять» пропитания. Земля была окутана морозным туманом, и я подольстился к нескольким кочегарам, которых застал в паровозном депо. Они поделились со мной остатками завтрака; кроме того, я выудил у них чуть не кварту божественной «явы» (кофе). Я разогрел кофе и только сел поесть, как с Запада подошел товарный поезд. В одном вагоне отодвинулась дверь, и из него вылез бродяга. Он, прихрамывая, направился ко мне. Видно было, что он закоченел от холода, губы у него посинели. Я разделил с ним кофе и пищу, разузнал о Парусном Джэке, спросил, кто он сам. Вообразите, он был из моего родного города Оклэнда, в Калифорнии, и числился членом знаменитой «Шайки Бу», в которую я время от времени попадал! С полчаса мы толковали с ним, уплетая мой провиант. Потом мой поезд тронулся, и я, вскочив на площадку, поехал на запад, по следам Парусного Джэка.

Между горными перевалами я задержался, ходил два дня без еды, в третий день прошел пешком одиннадцать миль, пока раздобыл еду, и все же мне удалось обогнать Парусного Джэка на реке Фрэзер в Британской Колумбии. В ту пору я ездил на «пассажирах»,—на пассажирских поездах,—и нагонял время. Но, должно-быть, и он ездил на «пассажирах» и, верно, искусней меня, ибо он попал в Миссию раньше меня.

Миссия—узловая станция в сорока милях к востоку от Ванкувера. От этой станции можно проехать на юг через станцию Вашингтон и Орегон по Северной Тихоокеанской дороге. Меня занимала мысль: по какой дороге поедет Парусный Джэк? Я думал, что обгоняю его. Лично я все еще направлялся на Запад, к Ванкуверу. Я пошел к водокачке оставить себе памятку и здесь нашел герб Парусного Джэка с указанием числа. Я поспешил в Ванкувер. Но он уже исчез! Он немедленно сел на корабль и теперь летел на Запад, продолжая свою авантюру. Поистине, Парусный Джэк, ты был царственный бродяга, и под стать тебе только «ветер, облетающий мир!» Снимаю перед тобой шапку! Ты—настоящий, чистокровный бродяга! Через неделю я также сел на корабль и на борту парохода «Уматилья», на баке, поплыл в Сан-Франциско. О, Парусный Джэк и Матрос Джэк, встретитесь ли вы когда-нибудь?

Железнодорожная водокачка—адрес-календарь бродяг. Не зря вырезывают бродяги на них свои гербы, даты и маршруты! Сколько раз я встречал бродяг, которые серьезнейшим образом расспрашивали меня, не встречал ли я где-нибудь такого-то и такого-то бродягу или его герба. И сколько раз я имел возможность указать послед-

ний герб, водокачку и направление странствий бродяги! Получив эти сведения, спрашивающий устремлялся по следам разыскиваемого товарища. Я встречал бродяг, которые, в погоне за товарищем, дважды проезжали весь американский материк в прямом и обратном направлении, и все же не бросали поисков!

Гербы—это железнодорожные псевдонимы, которые бродяги сами выдумывают или которые к ним приклевают товарищи. Так, например, «Трусоватый Джэк» был труслив, почему товарищи и дали ему это прозвище. Ни один уважающий себя бродяга не избрал бы себе в товарищи Бума-Помойку! Весьма немногие бродяги любят вспоминать такие гнусные моменты своей жизни, когда им приходилось работать; поэтому гербы, основанные на профессиях, встречаются редко, хотя я помню кой-кого: Модельщика Блэки, Рыжего Красильщика, Жестянщика Шая, Котельщика, Моряка и Печатника. «Шай»—так бродяги называют Чикаго.

Очень любят бродяги заимствовать гербы от местностей, откуда они родом: Нью-йоркский Томми, Тихоокеанский Слим, Смит из Буффало, Тим Кантонский, Джо из Питсбурга, Сиракузский Глянец, Троянский Мики, Коннектикутский Джимми. А были и такие: «Тощий Джим с Уксусной Горки, которому труды всегда были горьки». «Глянец»—всегда негр; кличка, повидимому, заимствована от бликов света на негритянских физиономиях. Тихоокеанский Глянец или Толедский Глянец—кличка выдает место рождения и расу.

Из кличек, отражающих расу, я вспоминаю следующие: Еврейчик из Фриско, Нью-йоркский Ирландец, Мичиганский Француз, Джэк-Англичанин, Козел-Лондонец и Голландец из Мильвоки. Другие, повидимому, заимствуют свои гербы отчасти от цвета кожи, получаемого при рождении, как-то: Май-Беляночка, Красный из Нью-Джерси, Черномазый из Бостона, Шоколад из Сиэттля, Желтый Дик и Желтобрюхий—последний был креол с Миссисипи, которому, я думаю, навязали это прозвище посторонние.

Много воображения понадобилось бродягам, принявшим такие имена: Царственный Техасец, Счастливый Джо, Буян Конорс, Дородный Бо, Ураган Чумазый и Мак-Кол Касатель. Другие, с более скудной фантазией, дают себе прозвища применительно к своим физическим особенностям, как-то: Ванкуверская Чахотка, Коротышка из Детройта, Пузан из Огайо, Длинный Джэк, Большой Джим, Джо Мелкота, Нью-йоркский Мигало, Носач из Шая и Бен-Перебитый-Хребет.

Особняком стоят «дорожные мальцы» или «хваты» (особая разновидность бродяг), гербы которых отличаются бесконечным разнообразием. Вот, например, какие мне встречались: Олений Хват, Слепой Хват, Хват-Букашка, Священный Хват, Хват-Нетопырь,

Быстроногий Хват, Хват-Поваренок, Хват-Обезьяна, Хват из Айовы, Плисовый Хват, Хват-Оратор и Хват-Наглец (уж можете быть уверены, что он был наглец!).

Лет двенадцать тому назад на водокачке станции Сан-Марсиаля, в Новой Мексике, красовался такой для бродяг путеводитель:

1) Дорога—лафа.
2) Быки—не гордые.
3) Паровозное депо годится.
4) Поезд на север не годится.
5) В частные не заходи.
6) Рестораны хороши только для поваров.
7) Станционный дом хорош только для ночной работы.

Нумер первый означает, что можно просить милостыню на главной улице; нумер второй—что полиция не беспокоит бродяг; нумер третий—что можно поспать в паровозном депо; нумер четвертый имеет двойной смысл: либо на поезда, идущие на север, не следует вскакивать, либо же в них не следует «стрелять»; нумер пятый означает, что в частные дома попрошайке лучше не заглядывать, а нумер шестой значит, что только бывшие повара могут получить кормежку в ресторанах. Нумер седьмой мне самому не ясен; не могу понять: годится ли станционный дом для того, чтобы попрошайничать в нем ночью, или же он годится в этом смысле только для бродяг-поваров; либо же бродяга, повар он или нет, может помочь поварам станционного дома в грязной работе и за это получить что-нибудь из съестного.

Но вернемся к бродягам, проходящим ночью. Помню одного, встреченного в Калифорнии. Это был швед, так долго живший в Соединенных Штатах, что трудно было угадать его национальность. Его привезли в Соединенные Штаты маленьким ребенком. Впервые я наскочил на него в горном городе Трэки. «Куда направляешься, Бо?»—взаимно приветствовали мы друг друга, и каждый из нас дал один и тот же ответ: «На Запад!» На поезд прямого сообщения в эту ночь кинулась целая куча бродяг, и в свалке я потерял шведа из виду. Потерял я и поезд.

В Рено, в Неваде, я приехал в товарном вагоне, который очень скоро отвели на запасный путь. Это было в воскресенье утром, и я, выклянчив завтрак, пошел в лагерь Риуте наблюдать, как индейцы играют в карты. И тут я встретил моего шведа, который с чрезвычайным интересом присматривался к игре. Разумеется, мы «прилипли» друг к другу. Он был моим единственным знакомым во всей этой округе, а я был единственным человеком, знакомым ему. Вместе мы бродили, как двое беспокойных пустынников, вместе про-

водили день, клянча на обед, и позднее, вечером, вместе же осаждали один и тот же товарный поезд. Но его «спихнули», и я выехал один со станции, впрочем, только для того, чтобы самому быть выброшенным в пустыне, проехав двадцать миль!

Из всех пустынных мест, в каких я бывал, полустанок, на котором меня «спихнули», был самым пустынным. Маленькая «флажная станция» (где поезд останавливается только по сигналу флагом) состояла из камышевого шалаша, стоявшего прямо на песке. Дул холодный ветер, надвигалась ночь, и одинокий телеграфист, живший в этом шалаше, боялся меня. Я знал, что у него не разжиться ни едой, ни ночлегом. Он так явно боялся меня, что я не поверил его словам, будто поезда с направлением на восток не останавливаются здесь; к тому же меня ведь всего за пять минут до этого сбросили с поезда, шедшего на восток! Он уверял меня, что поезд остановился по особому распоряжению, что может пройти год, прежде чем остановится другой какой-нибудь поезд. Уверял, что осталось всего десять-двенадцать миль до Вадсворта и что мне лучше всего уйти. Но я предпочел подождать и имел удовольствие видеть два западных товарных поезда, прошедших без остановки, и один товарный поезд восточного направления! Не на этом ли поезде был швед? Мне ничего не оставалось, как пойти по шпалам в Вадсворт; и я пошел по шпалам к великому облегчению телеграфиста, ибо я пренебрег возможностью сжечь его хибарку и убить ее жильца. Телеграфистам вообще нужна такая добродетель, как благодарность! Пройдя миль шесть, я сошел со шпал и пропустил пассажирский поезд, шедший на восток. Он шел быстро, но на первой «слепой» площадке я разглядел туманную фигуру, очень похожую на шведа!

После этого я долго не видал его. Я прошел возвышенную часть этой пустыни штата Невада, тянущейся на сто миль; по ночам ехал на пассажирских поездах для скорости, а днем—в товарных вагонах, где отсыпался. Было начало года; на горных пастбищах свирепствовал холод. Кой-где на равнине лежал еще снег, горы были окутаны белым саваном и по ночам с них дул отчаянный холодный ветер. В этом краю не следовало задерживаться. Не забывайте, деликатный читатель, что бродяга проходит такой край без крова, без денег, попрошайничая по дороге и ночи проводя без одеял! Что значит это последнее, вы бы поняли только из опыта...

Однажды перед вечером я подошел к железнодорожному депо в Огденс. Пассажирский поезд Союзной Тихоокеанской дороги отходил на Восток, и я собирался отправиться в нем. Запутавшись в сетке путей перед паровозом, я встретил фигуру, медленно двигавшуюся в сумраке. Это был швед! Мы пожали друг другу руки, как братья, давно не видавшиеся, и я увидел, что его руки в перчатках. «Где

ты их стибрил?»—спросил я. «Из кабинки машиниста!—ответил он;—а где ты достал свои?» «Они принадлежали кочегару!—отвечал я;—он зазевался!»

Мы вскочили на «слепую» площадку как только тронулся поезд. Ну, и холодно же было на ней! Путь пролегал в узком ущелье между горами, покрытыми снегом. Мы дрожали, тряслись и обменивались отчетами о том, как нами было покрыто пространство между Рено и Огденом. В предыдущую ночь я спал не больше часа, а на этой площадке не было места, чтобы растянуться и вздремнуть. На остановке я пошел вперед, к паровозу. Так как поезд поднимался в гору, то к нему прицепили два паровоза.

Я знал, что на предохранительной решетке первого паровоза будет холодно. Поэтому я остановился на решетке второго паровоза, укрытой от ветра тендером первого. Я полез на эту решетку и убедился, что она уже занята. В темноте я нащупал тело мальчика. Он крепко спал. Потеснившись, можно было устроиться вдвоем, и я, заставив мальчика потесниться, прикорнул около него. Ночь была «хорошая»: кондуктор не тревожил нас и мы отлично спали. Время от времени я просыпался от толчков паровоза или от падавшей сверху горячей золы, потом тесней прижимался к мальчику и засыпал под храп машины и скрип колес.

Поезд направлялся в Ивентстон, в штате Уайоминг, и дальше не шел. Неожиданно дорогу нам заградили обломки крушения. Вынесли мертвого машиниста. Убило во время крушения и какого-то «зайца», но его трупа не принесли. Я разговорился с мальчиком. Ему было тринадцать лет. Он убежал от родных из местечка в Орегоне и теперь направлялся на Восток, к своей бабушке. Он рассказал мне весьма правдоподобную повесть о невероятных мучительствах, которым он подвергался дома; впрочем, ему не было надобности лгать мне, безымянному бродяге на рельсах!

Этот мальчик отчаянно торопился. Под ним точно земля горела! Когда начальство дистанции решило отправить пассажирский поезд обратно по той же дороге, затем перевести его по поперечной ветке на Сокращенную Орегонскую линию и оттуда—на смычку с Тихоокеанской железной дорогой по другую сторону потерпевшего крушение поезда, мальчик вернулся на решетку и объявил, что он останется на поезде! Но для меня и моего шведа это было слишком. Это значило ехать всю холодную ночь только для того, чтобы выгадать каких-нибудь десять миль! Мы решили подождать, пока расчистят путь, а тем временем постараться выспаться.

Не очень приятно входить в чужой город в полночь, в холодную пору и разыскивать ночлег. У шведа не было ни гроша. Мои же капиталы состояли из двух монет по десяти центов и никелевой

монетки в пять центов. У городских ребят мы узнали, что пиво стоит пять центов и что трактиры открыты всю ночь. Вот это дело! Два стакана пива нам обойдутся в десять центов, в трактирах есть печка и стулья, и мы сможем поспать до утра! Мы быстро пошли на огонек кабака, снег скрипел у нас под ногами, холодный ветерок продувал нас насквозь.

Увы! Я плохо понял городских ребят! Пиво стоило пять центов стакан только в одном кабаке всего городишки, и как-раз в этот кабак мы не попали! Но и в том, в который мы попали, было хорошо. Раскаленная добела печь весело гудела; кругом стояли уютные кресла с плетеными сиденьями, но зато весьма неприветливый целовальник подозрительно оглядел нас, когда мы вошли в комнату. Трудно человеку сохранить приличный вид, когда он дни и ночи не снимает с себя платья, скачет по поездам, осыпаемый сажей и пеплом, и спит, где попало! Наша внешность говорила не в нашу пользу; но что за беда? Монетки побрякивали в моих карманах!

— Два стакана пива,—небрежно сказал я буфетчику; и пока он цедил пиво, мы с шведом, прислонясь к стойке, с вожделением поглядывали на уютные кресла у печки.

Буфетчик поставил перед нами два пенящихся стакана, и я с гордостью выложил десять центов. Нужно вам сказать, что я люблю пустить пыль в глаза! Заметив ошибку в цене, я выложил бы и другие десять центов, нет нужды, что это оставило бы только одну монетку на мой пай в чужом краю! Я бы заплатил что следовало! Но буфетчик не дал мне возможности сделать это. Разглядев, какую монетку я положил, он схватил по стакану в каждую руку и вылил пиво в отлив за стойкой. В то же время, свирепо оглядев нас, он проговорил:

— У тебя короста на носу. У тебя короста на носу. Смотри!

Коросты у меня не было, как не было ее и у шведа. Носы у нас были в полной исправности! Что он хотел сказать этим, я так и не понял. Но главная мысль была ясна, как пропечатанная черным по белому. Мы ему не понравились! И пиво, очевидно, стоило десять центов стакан.

Я порылся в кармане и выложил на стойку еще десять центов, небрежно заметив:—О, я думал, что эти стаканы по пяти центов!

— Твоим деньгам здесь нет ходу!—отвечал он, толкнув ко мне обе монетки.

Я с гордостью опустил их в карман, с грустью поглядели мы в последний раз на благословенную печку и кресла и грустно вышли за дверь—в морозную тьму...

Когда мы выходили из двери, кабатчик, сверкая глазами, крикнул нам вслед:—У вас короста на носу, смотрите!

Я после этого много шатался по свету, путешествовал в чужих краях, среди чужих народов, читал немало книжек, не раз сидел в аудиториях; но по сей день, хотя размышляю упорно и долго, не могу разгадать смысла таинственной фразы, брошенной этим кабатчиком в Ивенстоне, в штате Уайоминг. Носы у нас, право, были чистые!

Эту ночь мы спали **над котлами** на электрической станции! Не помню, как мы открыли этот ночлег. Должно-быть, инстинктивно прямо набрели на него, как лошадь идет к водопою или почтовый голубь направляется к своей голубятне. Но я надолго запомнил эту ужасную ночь. До нас на котлах устроилось уже двенадцать бродяг, и всем нам было здесь невперенос горячо. В довершение бедствий машинист не позволил нам стоять у котлов внизу. Он предоставил на выбор: на котлах или на снегу!

— Ты говоришь, тебе хочется спать? Так спи же, чорт тебя подери!—сказал он мне, когда я, обезумев от жары, сошел вниз, в котельную.

— Воды!—прошептал я, отирая пот с глаз.—Воды!

Он указал мне на дверь, уверив, что где-нибудь там, впотьмах, я разыщу реку. Я отправился к реке, заблудился во тьме, попал в две или три лужи, оставил поиски и, полузамерзший, вернулся на котлы. Когда я оттаял, мне захотелось пить пуще прежнего. Вокруг меня стонали, вздыхали, всхлипывали, задыхались, катались, толкались бродяги. Мы были точно погибшие грешные души, поджаривающиеся на плитах преисподней, а машинист, как воплощенный сатана, предоставлял нам только один выход: мерзнуть на дворе! Швед сидел и страстно проклинал инстинкт бродяжничанья, который послал его на скитания и муки, в роде теперешних.

— Дай мне только добраться до Чикаго,—клялся он,—я найду себе работу и так прилеплюсь к ней, что чертям станет жарко! А потом опять пойду бродяжить!

По злой иронии судьбы на другой день, когда очистили путь от обломков крушения, мы со шведом выехали из Ивенстона в вагонах-ледниках поезда, предназначенного для перевозки апельсинов; это был товарный поезд, груженый фруктами из солнечной Калифорнии. Разумеется, в ледниках было пусто по случаю холодной погоды; но от этого они не показались нам теплее! Мы проникли в эти вагоны через люки наверху; вагоны эти строятся из оцинкованного железа, и в этот собачий холод к нему было очень неприятно притрагиваться. Тут мы лежали, тряслись и дрожали, стучали зубами и держали совет, решив, что проведем в этих ледяных ящиках весь день и всю ночь, пока не покинем негостеприимного плоскогорья и не приедем в долину Миссисипи.

Но есть нужно было, и мы решили, что на следующей остановке выпросим хлеба и вернемся в ледник. Перед вечером мы приехали в город Грин-Ривер, но слишком рано для ужина. Наименее подходящее время околачиваться у черных дверей, это—время перед трапезами; но мы набрались духу, отодвинули боковые двери, когда товарный поезд отвели на запасный путь, и побежали к домам. Мы скоро расстались, условившись встретиться у вагона. Вначале мне не везло; но, наконец, получив две подачки и засунув их за рубаху, я кинулся к поезду. Он уже тронулся. Вагон-ледник, в котором мы условились встретиться со шведом, прошел мимо. Я вскочил на поезд, пропустив с полдюжины вагонов, поднялся на крышу, торопливо пробежал по ней и спустился в ледник.

Но меня, к сожалению, заметил кондуктор, и на следующей же остановке, всего в нескольких милях расстояния, в Рок-Спринге, он сунул голову в вагон и промолвил: «Пошел вон, жабий сын! Пошел вон!» Он схватил меня за пятки и вытащил из вагона. Апельсиновый поезд вместе со шведом поехал дальше без меня.

Пошел снег. Предстояла холодная ночь. Я стал бродить по железнодорожным путям, пока не нашел пустого ледника, и залез уже не в самый ледник, а в вагон. Я задвинул тяжелые двери, и края их, обитые полосками резины, плотно захлопнулись. Стены вагона были толсты. Холод не мог проникнуть снаружи; но внутри было так же холодно, как на дворе. Как поднять температуру? На такие дела я был «профессор». Я разыскал в карманах три или четыре газеты. Сложив их на полу вагона, я их зажег! Дым ушел под потолок. Ни капли тепла не могло уйти наружу, и я провел в тепле чудесную ночь. Ни разу не проснулся!

Утром снег продолжал падать. Выклянчивая завтрак, я проворонил товарный поезд восточного направления. Позже в этот день я два раза вскакивал на поезда, и с обоих поездов меня «спихивали». До вечера не прошло ни одного поезда на восток. Снег продолжал валить густыми хлопьями; в сумерках мне удалось выехать на первой площадке пассажирского поезда. Когда я вскочил на площадку с одной стороны, какая-то фигура вскочила на нее с другой стороны; это был мальчик, убежавший из Орегона!

Нужно вам сказать, что первая площадка скорого поезда в сильную вьюгу—весьма невеселый приют! Ветер пронизывает вас насквозь, ударяется в стенку вагона и бьет вас рикошетом. На первой же остановке, как только стемнело, я подошел к голове поезда и вступил в переговоры с кочегаром. Я предложил ему подавать уголь до конца его дистанции—это было перед станцией Роллинс; и предложение мое было принято. Работать мне пришлось на тендере, в снегу; работа заключалась в том, что я откалывал лопатой глыбы

угля и подавал в будку паровоза. Но так как не все время приходилось это делать, то я мог залезать в будку и согреваться время от времени.

— Послушай,—сказал я кочегару в первую передышку,—на первой площадке едет малыш. Он совсем замерз!

Будки паровозов Тихоокеанской дороги довольно поместительны, и мы устроили малыша в теплом углу перед высоким стулом машиниста, где он быстро заснул. В полночь мы приехали в Роллинс. Снег повалил еще гуще. Здесь паровоз должны были отвести в депо, а на его место прицепить новый. Когда поезд остановился, я соскочил со ступенек паровоза прямо в объятия огромного мужчины в широком пальто. Он начал задавать мне вопросы; я быстро спросил его, кто он такой. Он также быстро ответил мне, что он полицейский агент. Я втянул рожки, слушал и отвечал.

Он начал описывать приметы малыша, спавшего в будке. Мозг мой быстро работал. Очевидно, семья разыскивала этого мальчика, а агент получил телеграфную инструкцию из Орегона. Да, я видел этого мальчика в Огдене. Дата, которую я назвал, совпадала со сведениями агента. Но я объяснил, что мальчик, вероятно, застрял где-нибудь в дороге, так как его ссадили с этого самого пассажирского поезда в ту ночь, когда я выехал из Рок-Спринга. Все это время я мысленно молил судьбу, чтобы малыш не проснулся, не вышел из будки и не выдал себя самого...

Агент оставил меня, чтобы расспросить кондуктора, но, уходя, сказал: «Этот город для тебя не годится. Понял? Ты выезжай с этим поездом и, смотри, не задерживайся. Если я поймаю тебя после того, как он отойдет...»

Я стал уверять, что попал в его город не по своей воле; единственно потому, что поезд здесь остановился; и что он больше меня не увидит, только бы мне выбраться из этого проклятого города...

Пока он беседовал с кондукторами, я вернулся в будку паровоза. Малыш проснулся и протирал глаза. Я рассказал ему новости и посоветовал проехаться с паровозом в депо. Короче говоря, малыш выехал с тем же пассажирским поездом на предохранительной решетке переднего паровоза. Я посоветовал ему обратиться с просьбой к кочегару на первой же остановке разрешить ему перелезть на второй паровоз. А меня снова «спихнули». Новый кочегар был человек молодой, еще не привыкший нарушать правила железнодорожных компаний, воспрещающие пускать бродяг на паровоз; и он отверг мое предложение подавать уголь. Надеюсь, малышу удалось с ним поладить,—ночь, проведенная на предохранительной решетке в такую страшную метель, означала верную смерть.

Странное дело, я теперь не могу припомнить, как меня сбросили в Роллинсе! Я помню только, что поезд мгновенно был проглочен снежною бурей, а я направился в трактир погреться. Здесь был свет, было тепло. Натопленные печки гудели, дверцы их стояли настежь. За столиком для игры в фаро, рулетку и покер теснился народ, несколько кутивших скотоводов задавало веселый трезвон на весь кабак. Мне удалось побрататься с ними, и я уже пропустил первый глоток за их счет, как чья-то рука опустилась на мое плечо. Я оглянулся и вздохнул: это был полицейский агент.

Не промолвив ни слова, он вывел меня вон, на снег.

— На путях стоит специальный апельсиновый поезд!—сказал он.

— Ночь чертовски холодная!—пытался я возражать.

— Он отправляется через десять минут,—добавил он.

И все. Спорить было не о чем! И когда этот «специальный апельсиновый поезд» выехал, я находился на нем—в леднике. Мне казалось, что до утра у меня замерзнут ноги, и последние двадцать миль перед станцией Лорами я стоял, высунувшись из люка, и бешено приплясывал. Снег был слишком густ, чтобы кондуктора могли меня разглядеть, да мне было теперь все равно!

На свои центы я съел горячий завтрак в Лорами и сейчас же вскочил на площадку багажного вагона пассажирского поезда, взбиравшегося на откос к ущелью в самом сердце Скалистых Гор. В дневное время нельзя ездить на площадках багажных вагонов; но я сомневался, чтобы в эту метель, на вершине Скалистого Хребта, у кондукторов хватило духу выбросить меня! И они меня не тронули. Мало того, на каждой остановке они подходили к моей площадке смотреть, не замерз ли я. У памятника Эмсу на вершине Скалистого Хребта,—забыл, на какой это было высоте,—кондуктор прошел мимо меня в последний раз.

— Послушай, Бо!—сказал он.—Видишь товарный поезд, отведенный на запасный путь, чтобы пропустить нас?

Я видел его. Он стоял на соседней колее в шести футах расстояния. Стой он несколькими футами дальше, в такую вьюгу я не разглядел бы его.

— Так вот, в одном из этих вагонов отсталые из армии Келли. Под ними добрых два фута соломы—и их так много, что в вагоне тепло!

Совет был хорош, и я последовал ему, приготовившись, однако, на случай, если кондуктор обманул меня, вскочить на площадку пассажирского, как только он отойдет. Но он сказал правду. Я нашел вагон—огромный ледник, дверь которого была открыта настежь для вентиляции. Я полез в вагон, наступил на чью-то ногу, потом на чью-то руку. Освещение было скудное, я мог разглядеть

только руки, ноги и тела, невероятно перепутавшиеся между собой. Никогда я еще не видел подобного человеческого месива! Все они лежали в соломе друг над другом, друг под другом, друг вокруг друга. Нужно много места, чтобы восемьдесят четыре бродяги разместились на полу врастяжку. Люди, по которым я шагал, чертыхались. Тела их колыхались подо мной, как волны морские, и невольно толкали меня вперед. Я не мог найти свободной соломинки, чтобы поставить на нее ногу, и поэтому наступал на людей. Негодование возростало, возростала и скорость моего движения. Оступившись, я с размаху сел на что-то. К несчастью, это оказалась голова человека; в то же мгновение он поднялся на четвереньках, и я полетел в воздух! Предмет, летящий вверх, обязательно должен опуститься вниз, и я опустился на голову другого человека.

Я смутно помню то, что произошло после этого. Мне казалось, я попал в молотилку! Меня швыряло из одного конца вагона в другой. Эти восемь десятков бродяг молотили меня до тех пор, пока мои жалкие останки каким-то чудом не нашли клочка соломы и на нем не успокоились. Получив это крещение, я был принят в веселую компанию бродяг. Весь этот день мы ехали сквозь мглу и вьюгу и, чтобы скоротать время, решили, что каждый расскажет какую-нибудь повесть. Повесть должна быть хорошая, кроме того, такая, которой никто не слыхал раньше! Невыполнившего это условие ждала молотилка. Все с честью выполнили его. Должен тут же сказать, что никогда еще в жизни я не слыхал таких изумительных рассказчиков! Тут собрались восемьдесят четыре человека со всех концов света—я был восемьдесят пятым; и каждый рассказал шедевр! Ему ничего другого не оставалось, ибо альтернатива была такова: шедевр или молотилка!

Поздно вечером мы прибыли в Чейен. Вьюга достигла своего апогея, и хотя последней нашей трапезой был жалкий завтрак, никто не решился выйти поклянчить ужин. Всю эту ночь мы мчались по рельсам в тумане и вьюге, и следующий день застал меня на славных равнинах Небраски все еще в поезде. Мы вышли из гор и из царства вьюги! Благословенное солнце озаряло улыбающийся край! Мы согрелись, но были голодны; двадцать четыре часа мы ничего не ели. Известно было, что товарный поезд к полудню остановится у города—если я не ошибаюсь, это был Грэнд-Айленд.

Мы устроили складчину и послали телеграмму властям этого города. В телеграмме говорилось, что восемьдесят пять здоровых и голодных бродяг прибудут около двенадцати, и хорошо было бы приготовить для них обед! Перед властями Грэнд-Айленда стояло два выхода: они могли накормить нас или посадить в тюрьму. В по-

следнем случае они все же вынуждены были бы кормить нас, и потому они благоразумно решили, что обед обойдется дешевле.

Когда товарный поезд подкатил в полдень к вокзалу Грэнд-Айленда, мы сидели на крышах вагона залитые солнечным светом и весело болтали ногами. Вся полиция местечка вошла в состав комитета встречи! Нас развели взводами по разным отелям и ресторанам, где был приготовлен обед. Тридцать шесть часов мы ничего не ели—учить нас, что делать, было излишне! После обеда мы замаршировали обратно на железнодорожную станцию. Полиция благоразумно заставила товарный поезд подождать нас. Поезд медленно тронулся, и все мы, в числе восьми с половиной десятков, выстроенных вдоль пути, повскакали на боковые лесенки. Мы «полонили» поезд!

В этот вечер мы не ужинали,—по крайней мере «команда»,—но я ужинал. Как-раз ко времени ужина, когда товарный поезд выехал со станции городка, некий субъект залез в вагон, где я играл в педро с тремя бродягами. Рубаха незнакомца подозрительно отдувалась. В руках он держал побитую жестянку, от которой поднимался пар. Носом я зачуял «яву». Я передал свои карты одному из бродяг и извинился. И в другом конце вагона, преследуемый завистливыми взглядами, я присел с незнакомцем и разделил с ним его «яву» и другие подачки, распиравшие его рубашку. Это был швед!

Около десяти часов вечера мы прибыли в Омагу.

— Давай, бросим команду!—сказал мне швед.

— Идет!—отвечал я.

Когда поезд подходил к Омаге, мы приготовились сойти с поезда. Но и омагские жители приготовились! Мы со шведом висели на боковых лесенках, готовясь соскочить. Но поезд не остановился! Мало того, длинный ряд полисменов, поблескивая в электрическом свете пуговицами и значками, выстроился по обе стороны рельсов! Мы со шведом понимали, что будет, если мы соскочим в их объятия. Мы остались на боковых лесенках, и поезд повез нас через реку Миссури в Каунсиль-Блэфс.

«Генерал» Келли с армией в две тысячи бродяг расположился лагерем в парке Чотоквы в нескольких милях отсюда. Банда, с которой мы ехали, составляла арьергард «генерала» Келли и, сойдя с поезда в Каунсиль-Блэфсе, она приготовилась маршировать к лагерю. Ночью захолодало. Сильные шквалы, сопровождаемые дождем, заморозили нас и промочили насквозь. Масса полиции сторожила нас и направляла к лагерю. Мы со шведом улучили удобную минутку в этой суматохе и улизнули!

Дождь лил потоками, и во мраке, таком густом, что не видно было руки перед носом, мы, как двое слепых, ощупью искали крова.

Инстинкт руководил нами, ибо очень скоро мы натолкнулись на убежище,—не на трактир, открытый и «делающий дела», даже не на кабак, запирающийся на ночь, и не на кабак с постоянным адресом, но на кабачок, поставленный на большие бревна с кадками снизу и передвигаемый с места на место. Дверь была на запоре. Нас обдавало дождем и ветром. Мы не колебались! Выломали дверь и вошли внутрь.

Немало я отведал трудных ночей в своей жизни, скитался в сатанинских столицах, ночевал в лужах воды, спал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовый термометр показывал семьдесят четыре градуса Фаренгейта ниже нуля (а это ведь пустяки перед сто шестью градусами мороза!); но должен сказать, что никогда я не проводил более отвратительной ночи, чем эта ночь, проведенная со шведом в передвижном кабаке в Каунсиль-Блэфсе! Во-первых, постройка, как бы подвешенная в воздухе, имела в полу массу отверстий, через которые свободно проходил ветер. Во-вторых, у стойки было пусто; хотя бы бутылка огненной воды, чтобы согреть тело и забыться! Одеял с нами не было; мы попробовали спать в мокром платье. Я залез под стойку, а швед—под стол. Оставаться там было совершенно невозможно из-за бесчисленных щелей и дырок в полу, и через полчаса я полез на стойку. Спустя немного времени и швед полез на свой стол!

Так мы дрожали, дожидаясь рассвета. Я, например, знаю, что я так издрожался, что больше уже не мог трястись: мускулы мои обессилели и только страшно болели. Швед стонал и кряхтел и каждую минуту, стуча зубами, бормотал: «Больше никогда, больше никогда!» Он повторял эту фразу непрерывно, неустанно, тысячи раз; и даже когда задремал, продолжал бормотать во сне.

С первым серым лучом рассвета мы покинули нашу юдоль мучений и вышли наружу, в густой и холодный туман. Мы плелись вперед, пока не дошли до полотна железной дороги. Я шел обратно в Омагу поклянчить завтрак; мой товарищ продолжал путь в Чикаго. Наступил момент расставания. Мы протянули друг другу онемелые руки. Оба мы отчаянно тряслись, и когда пытались заговорить, то могли только постучать зубами и снова закрыть рот. Так стояли мы, одинокие, отрезанные от всего мира; взорам нашим доступен был лишь небольшой отрезок рельсовой колеи, концы которой терялись во мраке тумана.

Мы тупо глядели друг на друга, сочувственно сжимая друг другу трясущиеся руки. У шведа лицо посинело от холода; такое же, я думаю, было и у меня.

— Никогда больше, а?—сумел я, наконец, выговорить.

Слова застряли в глотке у шведа; и, наконец, слабым шопотом, исходившим, казалось, из самого дна его замерзшей души, он произнес:

— Никогда больше бродяжить...

Он помолчал и продолжал уже окрепшим голосом, и в хрипе его слышалась воля:

— Никогда больше не буду бродягой! Я поищу работы! Лучше и тебе сделать тоже. От таких ночей, как эта, только наживешь ревматизм!

Он встряхнул мою руку.

— Прощай!—сказал он.

— Прощай!—сказал я.

И через минуту мы скрылись друг от друга в тумане. Это была наша последняя встреча. Привет тебе, швед, где бы ты ни был! Надеюсь, ты нашел работу!..

БРОДЯГИ И ХВАТЫ

Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях я натыкаюсь на очерки моей жизни, из которых, деликатно выражаясь, узнаю, что я сделался бродягой в видах изучения социологии. Это очень мило и внимательно со стороны биографов, но совершенно неверно. Я стал бродягой... ну, потому, что кипел жизнью, что в крови моей была жажда скитаний, не дававшая мне покоя! Социология привходила чисто случайным элементом; она являлась при этом совершенно так же, как мокрая кожа является при погружении в воду. Я вышел на «Дорогу» потому, что не мог жить без «Дороги»; потому, что в кармане у меня не было денег на покупку железнодорожных билетов; потому, что был создан так, что не мог всю свою жизнь «работать на одной и той же смене»; потому... ну, потому, что мне легче было бродяжить, чем не бродяжить!

Началось это в моем родном городе, а Оклэнде, когда мне было шестнадцать лет; в эту пору я пользовался головокружительной репутацией в моем избранном кругу авантюристов, давших мне кличку: «Принц Устричных Пиратов». Правда, люди находившиеся непосредственно вне этого круга, как, например, честные матросы бухты, портовые рабочие, лодочники и законные владельцы устриц, называли меня буяном, головорезом, вором, грабителем и другими мало лестными кличками; но все это имело ласкательный смысл и способствовало усилению головокружительности высокого места, на котором я восседал. В ту пору я еще не читал «Потерянного Рая», и впоследствии, прочтя у Мильтона [1]), что «лучше царствовать в преисподней,

---

[1]) Мильтон (1608 — 74) — крупнейший поэт пуританства, — английской буржуазии, перешедшей в XVII веке в наступление на дворянство. Черпая сюжеты и идеи из библии, Мильтон выражал мироотношение пуританства. Пуритане, рушащие царство кавалеров (дворян), изображались, напр., в виде Самсона, рушащего царство филистимлян. В „Потерянном Рае“ побежденный богом враг посылает вызовы и угрозы небу.

Бунтарской натуре Джэка Лондона были близки эти мотивы мятежных „вызовов небу“.

чем служить в небесах», я убедился, что великие умы сходятся в мыслях.

В эту пору случайное сцепление обстоятельств отправило меня в мою первую авантюру на «Дороге». Случилось так, что на устрицах в это время заработать было нельзя, что в Бенисии находилось несколько одеял, которые мне нужно было взять, и что в Порта-Косте, в нескольких милях от Бенисии, стояла на якоре краденая лодка под надзором полицейского констэбля. Оная лодка принадлежала одному из моих друзей, по имени Динни Мак-Кри. Украл ее и бросил в Порта-Косте Виски Боб, другой мой приятель. (Бедный Виски Боб! Не далее, как прошлой зимой, он был найден на берегу убитым неизвестно кем). Незадолго до этого я прибыл с верхнего течения реки и доложил Мак-Кри о местонахождении его лодки; Динни Мак-Кри тотчас же предложил мне десять долларов, если я приведу эту лодку к нему в Оклэнд!

Свободного времени у меня в ту пору было сколько угодно. Я сидел на пристани и обмозговывал это дело с Ники Греком, другим признанным и праздным устричным пиратом. «Давай поедем!»—сказал я; и Ники согласился. Он сидел тогда «на мели». У меня было пятьдесят центов и маленький ялик. Центы я пустил в оборот и погрузил их в форме сухарей, мясных консервов и десятицентовой банки французской горчицы (в то время мы были помешаны на французской горчице), затем перед вечером мы подняли наш маленький парус и отправились в путь. Мы плыли всю ночь и к утру с первым же роскошным приливом и с попутным ветром торжественно миновали пролив Каркинес, направляясь в Порта-Косту. И сразу увидели украденную лодку, привязанную в каких-нибудь двадцати пяти футах от пристани! Мы причалили и спустили свой маленький парус. Я отправил Ника на нос лодки Мак-Кри поднять якорь, а сам начал возню с парусами.

На пристань выбежал человек и окликнул нас. Это был констэбль. Мне вдруг пришло в голову, что я забыл запастись письменным полномочием от Динни Мак-Кри на принятие для доставки его лодки! Кроме того, я знал, что констэбль желает получить по меньшей мере двадцать пять долларов награды за отнятие лодки у Виски Боба и за последующие заботы о ней. Мои последние пятьдесят центов были истрачены на мясные консервы и французскую горчицу, награда же моя составляла всего десять долларов! Я быстро переглянулся с Ники, хлопотавшим на носу. Он дергал якорь, опускал и поднимал цепь. «Вытащи вон!»—крикнул я ему, затем повернулся и крикнул ответ констэблю. Получилось, что мы говорили в одно и то же время, и наши слова, сталкиваясь на половине пути, смешались в неразборчивый гвалт.

В голосе констэбля послышались повелительные ноты, и мне поневоле пришлось слушать. Ники так усердно тянул якорь, что, казалось, у него вот-вот лопнет кровеносный сосуд! Когда констэбль высыпал все свои угрозы и предостережения, я спросил его, кто он такой. Время, которое он потратил на ответ, дало Ники возможность выдернуть якорь. Я мысленно произвел быстрый расчет. У ног констэбля была лестница, сбегавшая к воде, а к лестнице был привязан ялик. В ялике лежали весла. Но цепь была заперта на замок. Все зависело от этого замка. Я чувствовал свежий бриз на своих щеках, видел вздохи прилива, поглядел на оставшиеся снасти, ограничивавшие парус, перевел глаза на блоки и понял, что все готово; после этого я бросил притворство.

— Валяй!—крикнул я Ники, бросился к вантам [1]), распустил их, мысленно возблагодарив свою судьбу за то, что Виски Боб завязал их как следует.

Констэбль тем временем сбежал с лестницы и возился с ключом у замка. Наш якорь был поднят на борт и последний ревант, державший парус, распущен в тот самый миг, как констэбль освободил ялик и бросился к веслам.

— Бизань-фалы! [2])—скомандовал я своему экипажу, в то же самое время бросившись к гафель-фалам. Паруса взвились. Я закрепил снасти и перешел на корму, к рулю.

— Вытягивай!—крикнул я Ники. Констэбль был уже за нашей кормой. Сильный ветер подхватил нас, и мы помчались стрелой. Это было великолепно! Будь у меня черный флаг, я бы его выкинул с триумфом! Констэбль стоял в своем ялике и в самых отборных выражениях осквернял божественный день. Он яростно клял себя за то, что не захватил оружия. Как видите, мне в этом отношении повезло!

Во всяком случае, мы не крали лодки! Она не принадлежала констэблю! Мы только украли его награду, составлявшую особую форму взятки. И награду эту мы украли не для себя ведь; мы украли ее для нашего друга Динни Мак-Кри!

К Бенисии мы долетели в несколько минут, а еще через несколько минут мои одеяла уже лежали на дне лодки. Я перевел лодку на дальний конец пароходной пристани, и с этого удобного пункта мы могли видеть, не гонится ли кто за нами. Кто знает, может-быть, констэбль Порта-Косты телефонировал констэблю в Бенисию!

---

[1]) Ванты—снасти, держащие мачты и их части с боков и сзади.

[2]) Фалы—снасти, служащие для подъема рей, косых парусов, флага и пр. К этому слову (фалы) прибавляется название паруса, который поднимается; напр., бизань—косой парус бизань-мачты; отсюда—бизань-фалы и т. п.

Мы с Ники устроили военный совет. Мы лежали на палубе под теплым солнцем, свежий ветерок обвевал наши щеки, волны прилива, подергиваемые рябью, катились мимо. Немыслимо было отправиться обратно в Оклэнд до вечера, до отлива! Но мы сообразили, что констэбль будет подстерегать нас с начала отлива в проливе Каркинеса, и нам ничего не оставалось, как подождать следующего отлива, около двух часов ночи, и попытаться прошмыгнуть мимо цербера в темноте.

Итак, мы лежали на палубе, курили папиросы и радовались тому, что остались в живых. Я плевал через борт и глазами измерял скорость течения.

— При таком ветре мы могли бы пройти по этой реке до самой Рио-Висты!—сказал я.

— А на реке теперь как-раз фруктовый сезон!—добавил Ники.

— Низкая вода,—закончил я,—лучшее время года для поездки в Сакраменто.

Мы сели и поглядели друг на друга. Чудесный западный ветер опьянял нас, как вино. Одновременно мы сплюнули за борт и измерили глазами течение. Категорически утверждаю, что во всем виноваты эти отлив и ветер! Они разбудили в нас наши морские инстинкты. Если бы не они, цепь событий, швырнувших меня на «Дорогу», была бы порвана.

Мы не сказали ни слова, но подняли якорь и паруса. Наши приключения на реке Сакраменто не войдут в этот рассказ. Мы доехали до города Сакраменто и привязали свое судно у пристани. Вода была чудесная, и мы почти все время купались и плавали. На отмели, повыше железнодорожного моста, мы наткнулись на группу юнцов, также купавшихся и плававших. В промежутках между купаньями мы лежали на мели и беседовали. Они разговаривали иначе, чем ребята, с которыми я до сей поры водился. Это был какой-то новый жаргон. Это были «дорожные мальцы» или «хваты», и с каждым словом, которое они произносили, дорожная тяга охватывала меня все с большей силой.

«Когда я был в Алабаме...»—начинал, бывало, один хват; а другой: «перейдя с К на А, с К на С...». На что третий хват отвечал: «О, на К и на А нет лесенок к слепым площадкам!» Я молча сидел на песке и слушал. «Было это в маленьком городишке в Огайо, на дороге Озернобережная—Мичиган»; другой подхватывал: «А ездил ты когда-нибудь на «пушечном ядре» по Вобашскому участку?» И кто-нибудь отвечал: «Нет, но я выезжал на белом почтовом из Чикаго». «А что до железной дороги, так ты погоди, пока попадешь в Пенсильванию: четыре колеи, никакой водокачки, воду забирает на ходу, вот это фунт!». «Северная Тихоокеанская совсем стала дрянь», «Сэлинас на-чеку», «к быкам и не подступайся». «Меня поймали в

Эль-Пасо вместе с Хват-Моком». «А насчет того, чтобы пострелять, так ты погоди, пока не попадешь во французский край, за Монреалем—ни черта не понимают по-английски. Говоришь, бывало: «Манд-же, мадам, мандже, не парле французски!» «Прикинешься голодненьким, потрешь себе живот—она и подаст тебе кусок сала и ломоть сухого хлеба».

А я все лежал на песке и слушал. Перед этими проходимцами мое устричное пиратство казалось совсем жалким занятием! Целый заманчивый мир открывался мне в каждом слове, произнесенном ими: мир вагонных тележек и буферов, «слепых площадок» и «пульманов с боковой дверью», «быков» и кондукторов, кусочков и подачек, цапания и задавания стречка «крепких на руки и вольготных бродяг, новичков и специалистов». От всего веяло приключением! Отлично, я войду в этот новый мир! Я пристал к этим дорожным хватам. Я был силен, как любой из них, так же проворен, и мозг мой работал не хуже ихнего.

После купанья, к вечеру, они оделись и пошли в город. Я пошел с ними. Хваты начали «клянчить монеты» на главной улице. Я ни разу еще не просил милостыни, и это мне показалось самым трудным делом, когда я вышел на «Дорогу». У меня было нелепое представление о попрошайничестве. В ту пору моя философия заключалась в том, что лучше украсть, чем просить милостыню; грабить—еще лучше, ибо тут и риск, и наказание пропорционально значительнее. Как устричный пират, я уже нахватал приговоров из рук правосудия, которые, вздумай я отбывать их, потребовали бы по меньшей мере тысячи лет государственной тюрьмы! Грабить—мужественное дело; попрошайничать—грязное, презренное занятие.

С течением времени я научился смотреть на попрошайничество, как на веселую забаву, как на игру, требующую ума и хладнокровия. Но в эту первую ночь я не оказался на высоте положения; в результате, когда хваты готовы уже были пойти в ресторан и поесть, мне было не на что это сделать. Я был без гроша! Минни-Хват—так, кажется, его звали—ссудил мне сумму на обед, и мы потрапезовали. Во время еды я размышлял. Говорят, притонодержатель не лучше вора; Минни-Хват просил милостыню, а я пользовался плодами ее. Я решил, что притонодержатель много хуже вора и что больше этого не будет. Я сдержал свое слово: на следующий день я вышел и так же хорошо «стрелял», как и прочие.

У Ника Грека нехватило честолюбия пойти на «Дорогу». Ему не везло в «стрельбе», и в одну ночь он залез на баржу и поплыл по реке в Фриско. Я встретил его через некоторое время на бойцовом состязании. Он сделал большие успехи. Он сидел на почетном месте у бойцовой площадки! Теперь он был антрепренером бойцов на приз

и очень этим гордился! В известной степени, в области местного спорта, он теперь настоящее светило.

«Из мальца не будет дорожного хвата, пока он не перейдет через «горку»,—таков был завет «Дороги», исповедуемый в Сакраменто. Ладно, я перейду через «горку» и получу аттестат. «Горкой», заметьте себе, назывался хребет Сиерры-Невады. Вся наша банда шла на прогулку через «горку», и, разумеется, я отправился с нею. Это было первое приключение Француза-Хвата в дороге. Он только-что убежал от родных из Сан-Франциско. Мне и ему нужно было показать себя. Мимоходом замечу, что мой прежний титул—«Принц»—исчез. Я получил свой «герб». Я был теперь «Матрос-Хват», позднее известный под прозвищем «Фриско-Хват»—это когда между мною и моим родным штатом легли Скалистые Горы.

В десять часов двадцать минут вечера от станции Сакраменто отошел на восток пассажирский поезд Центральной Тихоокеанской дороги—этот момент неизгладимо запечатлелся в моей памяти! В нашей шайке было около двенадцати человек, и мы выстроились шеренгой в темноте впереди поезда, готовые «полонить» его. Все известные нам местные дорожные хваты вышли провожать нас—и ссадить, если можно будет. По их представлениям, это была милая шутка, и вышло их на эту потеху человек сорок. Коноводом их был испытанный «дорожный хват» по имени Боб. Сакраменто был его родной город, но, впрочем, он себя чувствовал, как дома, в любом месте страны. Он отвел француза и меня в сторону и дал нам приблизительно такой совет: «Мы хотим ссадить вашу банду, понимаете? Вы оба хилые. Прочие могут постоять за себя. Так вот, как только вскочите на площадку, «накройте» вагон и оставайтесь на крыше, пока не проедете Розвильского узла; в этом местечке фараоны неласковы и сбрасывают всех, кого ни завидят!»

Паровоз свистнул, и поезд тронулся. В поезде были три слепых площадки—достаточно места для всех. Дюжина бродяг, отправлявшихся в странствие, предпочла вскочить на поезд потихоньку; но наши сорок приятелей толклись тут же с изумительной и бесстыдной демонстративностью. Следуя совету Боба, я тотчас же «накрыл» поезд, т.-е. залез на крышу одного из почтовых вагонов. Здесь я и лежал с сильно бьющимся сердцем, прислушиваясь к происходившей внизу потехе. Вся кондукторская бригада бросилась к нам, и «сбрасывание» с поезда совершалось быстро и яростно. Пройдя с полмили, поезд остановился, бригада опять побежала вперед и «сбросила» уцелевших. Один я остался на поезде!

А на станции, в депо, окруженный двумя или тремя членами банды, свидетелями несчастного случая, лежал «Француз-Хват» с отрезанными ногами! Он оступился или поскользнулся—и этого было

достаточно, колеса сделали остальное. Так я получил свое дорожное крещение. Только два года спустя я встретил Француза-Хвата и осмотрел его «культяпки». Это был акт вежливости. Калеки любят показывать свои увечья! Одно из занимательнейших зрелищ во время бродяжничества—присутствовать при встрече двух калек. Их общее несчастье служит неистощимым источником беседы; они рассказывают, как произошло несчастье, описывают процедуру ампутации, обмениваются критическими замечаниями насчет своих и чужих хирургов и кончают тем, что отходят в сторону, снимают повязки и обертки и сравнивают свои увечья.

Но узнал я об этой печальной судьбе Француза-Хвата только несколько дней спустя, в Неваде, когда банда присоединилась ко мне. Банда сама прибыла в тяжелом состоянии. При крушении поезда ее протащило по снеговым щитам; Счастливый Джо ходил на костылях—ему помяло обе ноги, остальные отделались ссадинами и ушибами.

Тем временем я лежал на крыше почтового вагона, силясь вспомнить—на первой или второй остановке будет Розвильский узел, насчет которого Боб предостерегал меня. Для большей верности я не сходил на площадку вагона, пока мы не миновали второй остановки. Только тогда я сошел. Я был непривычен к этой новой игре и чувствовал себя в большей безопасности там, где находился. Но я не рассказывал банде, что пролежал на крыше всю ночь, проехал Сиерры, проехал снеговые щиты и туннели, и так до Трэки, по другую сторону хребта, куда я прибыл в семь часов утра. Рассказав правду, я сделался бы всеобщим посмешищем. Я только теперь в первый раз рассказываю всю правду об этой первой поездке за горы! Банда же полагала, что у меня все в порядке, и назад, в Сакраменто, я вернулся уже оперенным «дорожным хватом!»

Мне пришлось многому поучиться. Боб был моим ментором, а он был молодец. Помню один вечер (это было в Сакраменто, мы шатались по ярмарке и жили припеваючи), когда я потерял свою шапку в драке. Я ходил простоволосый по улице, и Боб пришел мне на выручку. Он отвел меня в сторону от банды и сказал, что надо делать. Услышав его совет, я немного струсил. Я только-что вышел из тюрьмы, где сидел три дня, и знал, что если полиция опять меня поймает, то меня жестоко проучат. С другой стороны, я не смел показать свою трусость. Я побывал за «горкой» и вполне оперенным бродягой вернулся к банде—стало-быть, я должен держать себя молодцом! Я принял поэтому совет Боба, и он пошел со мной наблюдать, чтобы я сделал дело как следует.

Мы заняли позиции на улице, на углу, мне помнится, Пятой. Вечер был в самом начале, на улице было людно. Боб изучал голов-

ные уборы всех китайцев, проходивших мимо. Я всегда дивился, как дорожные хваты умудряются носить пятидолларовые «стэтсоны» с твердыми полями. Теперь я уже знаю как. Они снимают их с китайцев, как я снял свою! Я нервничал—кругом было столько народу; но Боб был хладнокровен, как айсберг [1]). Несколько раз, когда я кидался к китайцу в нервной лихорадке, Боб оттаскивал меня назад. Ему нужно было, чтобы я снял хорошую шляпу и притом по своей мерке! Одна такая шляпа попалась, но она была не новая; после дюжины неподходящих шляп проходила новая шляпа, но не по моей мерке. Если же попадалась шляпа и новая, и правильной мерки, то поля были то слишком широки, то слишком узки. Боб привередничал! Я так разнервничался, что готов был сорвать любой головной убор.

Наконец, показалась шляпа—единственная шляпа по всем Сакраменто, подходившая мне! При первом взгляде на нее я понял, что эта она! Я глянул на Боба. Он обшарил глазами толпу, ища полицию, потом кивнул мне. Я снял шляпу с головы китайца и нахлобучил ее на собственную. Шляпа была, как вылитая! Потом я вздрогнул. Я услыхал выкрик Боба и мельком заметил, что он загородил дорогу раздраженному монголу и двинул его кулаком. Я побежал, повернул за угол, а затем еще раз повернул. Эта улица была не так людна, и я спокойно пошел по тротуару, переводя дыхание и поздравляя себя с новой шляпой и с удачным бегством.

И вдруг из-за угла за моей спиной показался простоволосый китаец! С ним были еще несколько китайцев, а за ними по пятам следовала дюжина взрослых мужчин и мальчишек! Я кинулся к следующему углу, пересек улицу и опять завернул за угол. Я решил, что, наверное, я обогнал китайца, и пошел спокойно. Но из-за угла по пятам за мною опять показался настойчивый монгол. Это была старая сказка про зайца и черепаху! Он не мог бежать так же быстро, как я, и оставался на месте, делая вид, что бежит, и бранился на чем свет стоит! Он призывал весь Сакраменто в свидетели бесчестия, учиненного ему, и добрая часть Сакраменто слышала это и шла за ним. А я бежал, как заяц, и каждый раз этот настойчивый монгол с непрерывно возроставшей толпой нагонял меня. Наконец, когда в его свите показался полисмен, я побежал, как безумный. Я сворачивал, вилял и готов поклясться, что пробежал не меньше двадцати кварталов по прямой линии! Я перестал встречать китайца. Шляпа была щегольской, новехонький с иголочки «стэтсон», только из магазина—предмет зависти всей банды! Она была символом того, что я показал себя молодцом; я носил ее больше года.

---

[1]) Пловучая ледяная гора.

Дорожные хваты—славные малые, когда вы их встречаете в одиночку, и они рассказывают вам, «как это случилось». Но, верьте моему слову, их надо остерегаться, когда они ходят стаями. Тогда это волки, и, как волки, могут сожрать самого сильного человека! В эти моменты они не трусы. Они бросаются на человека и хватают его со всей силой своих тощих мышц, пока не опрокинут. Я не раз наблюдал это, и знаю, о чем говорю. Обычный их мотив—пограбить. И берегитесь «крепкой руки»! В этой банде, с которой я странствовал, каждый хват был большим мастером в этом приеме. Даже Француз-Хват знал его—это было до того, как он лишился ног.

Мне хорошо вспоминается видение, представившееся однажды моим глазам у «ив». Ивы—это была купа деревьев на большом пустыре возле железнодорожного депо, всего в пяти минутах ходьбы от центра Сакраменто. Время ночное, картина освещена скудным светом звезд. Я вижу дородного рабочего в куче дорожных хватов. Он рассвирепел и ругает их, ни капельки не боясь их и уверенный в своей силе. В нем весу около ста восьмидесяти фунтов, мускулы у него твердые; но он не знает, с кем имеет дело. Хваты рычат. Картина неприятная! Они бросаются на него со всех сторон, а он вертится во все стороны. Возле меня стоит Хват-Цырюльник. Когда человек завертелся, Хват-Цырюльник прыгает вперед и прибегает к особой уловке. Он толкает человека кулаком в спину; и в то же время нажимает другой рукой на яремную вену врага, схватив его сзади за шею. У противника захватывает дыхание. Это и называется «крепкая рука».

Человек сопротивляется, но фактически он уже обессилен. Дорожные хваты наседают на него со всех сторон, цепляются за его руки, ноги, за туловище, а Хват-Цырюльник, как волк, впившийся в горло волу, висит на нем и оттягивает его назад. Человек падает навзничь под кучей врагов. Хват-Цырюльник меняет положение своего тела, но не отпускает противника. И в то время, как хваты разделывают жертву под орех, другие держат ее ноги, чтобы она не могла брыкаться. «Для легкости» они стаскивают башмаки жертвы. Что касается жертвы, то она сдалась, она побита. Кроме того, рука стискивает ей горло и перехватывает дыхание. Жертва тяжело хрипит, а хваты торопятся. Убивать они ведь не хотят! Все уже сделано, и по данному сигналу все разом оставляют жертву, и хваты разбегаются во все стороны, при чем один из них с башмаками жертвы—он знает, где за них ему дадут пол-доллара. Жертва сидит, ошеломленная и беспомощная, и начинает оглядываться. Если бы даже он хотел преследовать врагов, то на босую ногу, в темноте это было бы бесполезно. Я стою и наблюдаю его. Он щупает свое горло, издает сухие икотные звуки и как-то странно мотает головой, словно хочет

убедиться, не вывихнута ли у него шея. Тогда я пускаюсь догонять банду, и больше этого человека я никогда не увижу. Но мысленно я всегда буду видеть эту фигуру, сидящую в слабом свете звезд, немножко ошеломленную и делающую странные дергающие движения головой и шеей.

Пьяницы—излюбленная добыча дорожных хватов. Ограбить пьяницу у них называется «покатать человечка»; и где бы они ни находились, они всегда высматривают пьяниц. Пьяницы—их специальное блюдо, как муха—специальное блюдо паука. «Покатать человечка» иногда очень забавно, особенно когда человек беспомощен и сдачи не может дать. При первом «катаньи» деньги и драгоценности человечка исчезают. Затем хваты садятся вокруг своей жертвы на манер военного совета. У какого-нибудь хвата является охота поживиться галстуком жертвы. Галстук слетает! Другому хвату понадобилось нижнее белье. Его сдергивают и ножом укорачивают рукава и штанины. Бывает так, что зовут какого-нибудь приятеля-бродягу взять куртку и кальсоны, слишком широкие для грабителей. И в конце концов они уходят, оставив побитому кучу своего тряпья.

Еще одна картина встает перед моим мысленным взором. Темная ночь; моя банда шагает по тротуарам предместий. Впереди нас в электрическом свете человек переходит улицу по диагонали. В его походке какая-то неуверенность. Хваты мгновенно зачуяли добычу. Человек этот пьян. Он переходит на противоположный тротуар и пропадает во тьме, избирая краткий путь через пустырь. Охотничьего клича не раздается, но вся банда бросается вперед. В середине пустыря она догоняет жертву. Но что это? Между стаей и ее добычей вырастают странные рычащие фигуры, маленькие, тусклые и угрожающие. Это другая стая дорожных хватов! И в наступившей враждебной паузе мы узнаем, что это—их добыча, что они выслеживают ее вот уже десять кварталов и больше и что нам лучше уйти! Но это мир первобытных инстинктов. Эти волки—младенцы. (Я думаю, среди них ни одного не было старше двенадцати или тринадцати лет; кое-кого из них я встретил впоследствии и узнал, что они в этот день только-что «перешли горку» и что родина их—Солт-Лок-Сити). Наша стая бросается вперед. Волчата-младенцы пищат, визжат и дерутся, как чертенята. Вокруг пьяницы кипит ожесточенная борьба за обладание им. В гуще этой свалки он падает, и битва бушует над ним наподобие того, как греки и троянцы дрались над телом и доспехами павшего героя. С криками, слезами и взвизгиваниями молодые волчата разбегаются, а моя стая начинает «катать жертву». И вот мне вспоминается изумленный и ошарашенный вид бедной жертвы в момент неожиданно завязавшегося сражения на пустыре! Я точно сейчас вижу, как он, глупо

тотчас, добродушно пытается разыграть миротворца в этой свалке, смысла которой он не понимает, и вижу оскорбленное выражение на его лице, когда его хватают множество рук и начинают дубасить!

«Узелковый бродяга»—также любимая добыча дорожных хватов. Узелковый бродяга—странствующий рабочий. Эту кличку он получил от связки одеял, которую он носит с собой и которую называют «узелком». Так как он работает, то обычно у узелкового бродяги бывает кой-какая мелочь,—и вот за этой-то мелочью дорожные хваты и охотятся. Излюбленными местами охоты на узелкового бродягу являются сараи, риги, лесные дворы, железнодорожные пути и т. п. на окраине города, а наилучшим временем охоты считается ночь, когда узелковый бродяга разыскивает эти местечки, чтобы завернуться в свои одеяла и заснуть.

«Веселые коты» также нередко попадаются в руки дорожных хватов. У «веселых котов» есть более фамильярные клички: «Короткорогие», «Чечако», «Однокашники» или «Новички». «Веселые коты»—это новички «Дороги», не достигшие зрелого возраста или, по крайней мере, законченной юности. С другой стороны, мальчик «Дороги», каким бы он ни был новичком, никогда не называется «веселым котом»; он «дорожный хват» или «трут», а если он скитается со специалистом-профессионалом, то его называют прилагательным именем «Прусский». Я никогда не был «Прусским»—я был сперва «дорожным хватом», а потом «профессионалом». Так как я начал смолоду, то фактически перескочил через годы ученичества; одно время, когда я менял свой герб «Фриско-Хвата» на герб «Матроса-Джэка», во мне подозревали «веселого кота». Но при близком ознакомлении со мной они отказались от этого подозрения—я в короткое время приобрел безошибочный вид и приметы завзятого бродяги-профессионала, аристократа «Дороги»! Эти бродяги—хозяева и владыки, первобытные дворяне—столь излюбленная Ницше «белокурая бестия»!

Когда я вернулся «через горку» из Невады, то нашел, что какой-то речной пират украл лодку Динни Мак-Кри. (Я до сего дня не могу припомнить, куда девался ялик, в котором мы с Греком Ники отплыли из Оклэнда в Порта-Косту. Я знаю, что констэблю он не достался, а больше ничего не помню). Потеряв лодку Денни Мак-Кри, я тем самым обрек себя «Дороге». И когда мне надоел Сакраменто, я попрощался с бандой (которая на свой дружественный лад попыталась «спихнуть» меня с товарного поезда, когда я уезжал) и поехал по долине Сан-Хоакина. «Дорога» крепко схватила меня и не хотела отпускать; впоследствии, когда я постранствовал по миру и наделал кое-каких дел, я вернулся на «Дорогу» для более продолжительных скитаний, сделался «Кометой» и плюхнулся в ванну социологии, промочившую меня до костей.

ДВЕ ТЫСЯЧИ БРОДЯГ

Однажды мне посчастливилось побродяжить несколько недель с бандой, насчитывавшей две тысячи бродяг. Она известна была под названием «Армии Келли». По всему дикому и лохматому Западу, от самой Калифорнии, «генерал» Келли и его герои брали в плен поезда; но они были разбиты, когда пересекли Миссури и натолкнулись на изнеженный Восток. Восток не имел ни малейших намерений предоставлять свободный транспорт двум тысячам бродяг! Армия Келли беспомощно стояла некоторое время в Каунсиль-Блэфсе. В день, когда я присоединился к ней, она, придя в отчаяние от задержек, двинулась маршем захватывать поезд.

Зрелище было поистине внушительное! Генерал Келли сидел на великолепном черном жеребце; с развивающимися знаменами, под воинственную музыку флейтистов и барабанщиков, рота за ротой, двумя дивизиями эти две тысячи бродяг двинулись вперед и вышли на колесную дорогу к местечку Вестон. Будучи последним из рекрутов, я находился в последней роте последнего полка второй дивизии, мало того, в последнем ряду арьергарда. «Армия» расположилась лагерем в Вестоне возле железнодорожного полотна, вернее будет сказать, полотен, ибо здесь проходили две дороги: дорога Чикаго—Мильвоки и Сент-Поль и дорога на Рок-Айлэнд.

Мы намеревались атаковать первый поезд, но железнодорожные чиновники разбили нашу игру и перехитрили нас. Первого поезда не оказалось! Они связали обе линии и прекратили движение поездов. Тем временем, пока мы стояли у мертвых путей, бродяги Омаги и Каунсиль-Блэфса пришли в движение. Они замыслили образовать толпу, захватить поезд в Каунсиль-Блэфсе, привести его и преподнести нам в дар! Железнодорожные чиновники разгадали и эту игру. Они не стали ждать, пока образуется толпа. Рано утром на другой день паровоз с одним пассажирским вагоном прибыл на станцию и пошел на запасный путь. При этих признаках жизни, начавшейся на мертвых путях, вся армия выстроилась у полотна.

Никогда, кажется, жизнь так чудовищно не развертывалась на мертвых железных дорогах, как на этих двух в ту пору! С запада донесся

свисток локомотива. Он шел в нашем направлении, к востоку. Нам также нужно было ехать на восток. По рядам пробежала тревога. Свисток свистел яростно и не умолкая, и поезд прогремел мимо нас с максимальной скоростью. Нет такого бродяги в мире, который мог бы вскочить на такой поезд! Просвистел другой паровоз—и промчался другой поезд, потом третий, потом четвертый, поезд за поездом, поезд за поездом; наконец, проскочил последний поезд, составленный из пассажирских и товарных вагонов, товарных платформ, мертвых паровозов, цистерн, почтовых вагонов и всякой дряни и невыгодного подвижного состава, накопляющегося на путях больших железных дорог. Когда пути станции Каунсиль-Блэфса были основательно очищены, частный вагон с паровозом ушел на восток, и пути замерли окончательно.

Прошел день, еще день—никакого движения! А тем временем две тысячи бродяг под дождем, градом и изморозью лежали у полотна. Но в эту ночь бродяги Каунсиль-Блэфса перехитрили железнодорожных чиновников. В Каунсиль-Блэфсе образовалась толпа, перешла через реку в Омагу и здесь соединились с другой толпой для набега на пути Союзно-Тихоокеанской дороги. Первым делом они захватили паровоз, потом сколотили поезд, затем объединенные толпы влезли на поезд. пересекли Миссури и поехали прямо по Рок-Айлэндской ветке, чтобы передать поезд нам. Железнодорожные чины попытались расстроить и этот план, но не успели в этом, к смертельному ужасу начальника участка и одного из железнодорожных чинов в Вестоне. Эта парочка по секретному телеграфному приказанию попробовала устроить крушение поезда с нашими спасителями, разобрав рельсы. Случилось, однако, так, что мы были осторожны и расставили свои патрули. Пойманные на месте преступления за подготовкой крушения поезда и окруженные двумя тысячами разъяренных бродяг, начальник участка и его помощник уже приготовились к смерти. Не помню, что их спасло—кажется, прибытие поезда.

Наступил наш черед провалиться, и мы провалились позорным образом. Второпях обе толпы не составили достаточно длинного поезда! На нем не оказалось места для двух тысяч бродяг! И вот толпа и бродяги устроили совещание, побратались, попели песни и расстались; спасители отправились обратно на своем пленном поезде в Омагу, а бродяги на следующее утро двинулись в стосорокамильный поход к Демуану. Перейдя Миссури, армия Келли начала свой пеший поход, и после этого ей уже не пришлось ездить по железной дороге. Это вскочило железным дорогам в копеечку, но они действовали по принципу и победили.

Ундервуд, Леола Менден, Авока, Уолнет, Марно, Атлантик, Войото, Анита, Адер, Адам, Кези, Стюорт, Декстер, Карлем, Де-Сото, Ван-

Метер, Буневиль, Коммерс, Вэли Дженкден—названия городов встают передо мной, когда я гляжу на карту и вспоминаю наш путь по упитанному краю Айовы [1]). А эти гостеприимные айовские фермеры! Они выезжали в своих тачках и везли наш багаж; кормили нас горячими завтраками в полдень у края дороги; мэры уютных городишек произносили приветственные речи и помогали нам двинуться дальше; депутации маленьких девочек и девиц выходили к нам навстречу, добрые граждане высыпали сотнями, делали цепь и шли с нами по своим главным улицам. Когда мы прибывали в город, это был словно цирковой день—и каждый день был цирковой, ибо дней было много.

По вечерам в наш лагерь набивались толпы местного населения. Каждая рота раскладывала свой костер, и у каждого костра что-нибудь делалось. Повара моей роты, роты «Л», были мастера петь и плясать и устраивали нам спектакли. В другой части лагеря собирался певчий клуб—одной из звезд его был «дантист», заимствованный из роты «Л», и мы страшно гордились им. Он, кроме того, дергал зубы всей армии, и так как это обыкновенно происходило во время трапезы, то разнообразные инциденты помогали нашему пищеварению. У дантиста не было анестезирующих средств, но двое-трое бродяг всегда находилось под рукой с готовностью подержать пациента. Помимо этих развлечений и певческого клуба, обычно отправлялось богослужение при участии местных проповедников, и всегда произносилось много политических речей. И все это происходило тут же, рядом, непрерывно—настоящая ярмарка! Среди двух тысяч бродяг немало можно откопать талантов. Я помню, мы собрали «девятку» для игры в «безбол» и по воскресеньям пускали ее по всем местным девяткам. Иногда мы устраивали в вкресенье даже два сеанса.

В прошлом году, приглашенный читать лекции, я приехал в Демуан в пульмановском вагоне—не в «пульмане с боковой дверью», но уже в настоящем. На окраине города я увидал развалины кирпичного завода, и сердце мое запрыгало от волнения. Здесь, вот у этих развалин, лет двенадцать тому назад остановилась армия бродяг и дала великую клятву, что дальше не сделает шагу! Мы завладели заводом и объявили Демуану, что мы тут останемся, что мы вошли в город, но будь мы прокляты, если выйдем! Демуан был гостеприимный город, но для него это оказалось слишком. Произведите мысленный подсчет, любезный читатель! Две тысячи бродяг, съедающих три трапезы в день, составят шесть тысяч трапез в сутки, сорок две тысячи трапез в неделю или сто шестьдесят восемь тысяч трапез в самый короткий месяц в календаре. Это копеечка! А с нами не было денег. Платить должен был Демуан!

---

[1]) Штат Северной Америки между реками Миссисипи и Миссури.

Демуан пришел в отчаяние. Мы разбились лагерем, произносили политические речи, устраивали духовные концерты, дергали зубы, играли в безбол и в семерку и съедали наши шесть тысяч обедов в сутки, а Демуан платил за все. Демуан обращался к железным дорогам, но те упорствовали; они решили, что мы не поедем—и делу конец. Позволить нам поехать, значило установить прецедент, а никаких таких прецедентов быть не должно. А мы продолжали есть! Это было самое ужасное во всей ситуации. Нам нужно было ехать в Вашингтон, и Демуану пришлось бы выпустить муниципальный заем, чтобы оплатить наш проезд даже по специально пониженным ставкам; если же мы останемся здесь, то ему придется выпустить заем, чтобы иметь возможность прокормить нас!

И вот какой-то местный гений разрешил проблему! Мы не хотим итти? Отлично, мы поедем! Из Демуана в Кеокук, на реке Миссисипи, текла река Демуан. Длина этой реки была триста миль. Мы можем поехать по ней,—нашел наш местный гений,—и если нас снабдить пловучими средствами, то мы можем проехать вниз по Миссисипи до Огайо, а оттуда вверх по Огайо, и через короткий водораздел в Вашингтон! Демуан организовал подписку. Гражданственно настроенные жители собрали несколько тысяч долларов. Лес, канаты, гвозди и пакля для конопаченья закуплены были в огромном количестве, и на берегах Демуана открылась грандиозная эра судостроения. Нужно вам сказать, что Демуан—крохотная речонка, не по заслугам величаемая «рекой». В наших обширных западных краях ее назвали бы ручьем. Старожилы местечка покачивали головами и говорили, что нам это не удастся—в реке нехватит воды, чтобы поднять нас! Но демуанцев это мало беспокоило, раз они от нас избавлялись, а мы были такими сытыми оптимистами, что не беспокоились о дальнейшем!

В среду, 9 мая 1894 года, мы снарядились в путь и отправились в наш колоссальный пикник. Демуан дешево отделался от нас, и, без сомнения, обязан поставить бронзовый памятник местному гению, который вывел город из затруднения. Правда, Демуану пришлось оплатить наши суда; мы съели шестьдесят шесть тысяч обедов и взяли с собой в дорогу двенадцать тысяч добавочных обеденных порций, чтобы не умереть от голода в пустыне; но подумайте, что было бы, если бы мы остались в Демуане и прожили там одиннадцать месяцев вместо одиннадцати дней? При расставании мы обещали Демуану вернуться, если река откажется нести нас!

Очень приятно было иметь двенадцать тысяч обедов в провиантской лодке, и, без сомнения, «провиантские молодцы» воспользовались этим; ибо провиантская лодка очень скоро исчезла, и моя лодка, например, так и не увидела ее. Наша рота расклеилась за время речной

поездки; в каждом отряде людей всегда найдется известный процент бессильных людей, обыкновенных людей, лентяев и теплых ребят. В моей лодке было десять человек, и это были сливки роты «Л». Каждый был теплый парень! Меня включили в этот десяток по двум причинам. Во-первых, я так же ловко умел «кидать ножки», т.-е. попрошайничать по дорогам, как всякий другой бродяга; а затем я был «Матрос-Джэк». Я знал суда и судоходное дело! Мы, десятеро, мгновенно забыли об остальных сорока человеках роты «Л», и, когда не получили первого обеда, тотчас забыли о провиантской. Мы были самостоятельны. Мы поплыли вниз по реке за собственный страх, сами клянчили для себя пищу, обогнали все лодки нашего флота и—должен сознаться, увы!—иногда крали запасы, собранные фермерами для армии!

На протяжении значительной части трехсот миль мы были впереди армии на сутки или полсуток. Нам удалось раздобыть несколько американских флагов. Приближаясь к маленькому городку или завидя группу фермеров, собравшихся на берегу, мы поднимали наши флаги, называли себя «авангардной» лодкой и требовали сведений, какой провиант может быть собран для армии! Разумеется, мы были представителями армии, и провиант передавался нам! Но мы действовали умно. Мы никогда не брали больше, чем могли взять с собой. Зато мы снимали сливки со всего! Так, например, если какой-нибудь человеколюбивый фермер преподносил на несколько долларов табаку, мы забирали табак. Забирали мы также масло и сахар, кофе и консервы. Когда же провиант заключался в мешках с бобами и мукой и двух-трех воловьих тушах, мы решительно воздерживались и отправлялись своей дорогой, оставив приказ передать провиант провиантским лодкам, следующим за нами.

Славно мы пожили в этой тучной стране! Генерал Келли долгое время тщетно пытался настичь нас. Он выслал двух гребцов в легком челноке, чтобы догнать нас и положить конец нашей пиратской карьере. Они догнали нас честь-честью, но их было двое, а нас было десятеро! Генерал Келли уполномочил их взять нас в плен, что они и объявили нам. Но когда мы выразили нежелание пойти под арест, они поспешили в ближний городок и обратились за содействием к властям. Мы тотчас же высадились на берег и сварили ранний ужин; под покровом темноты мы обошли и город, и его властей.

Я вел дневник, охватывающий часть этого путешествия. Теперь, перечитывая, я вижу то-и-дело повторяющуюся фразу, а именно: «Живется знатно». Мы, действительно, пожили знатно! Мы даже стали пренебрегать кофе, вареным на воде. Мы варили наш кофе на молоке, и этот чудесный напиток, если я верно помню, называли «бледным кофе по-венски».

Между тем, как мы ехали вперед, снимая сливки, а провиантская лодка безнадежно отстала от главной армии, главная армия, находившаяся в середине, дохла с голоду. Это было жестоко по отношению к армии, я согласен; но ведь мы, десятеро, были индивидуалисты! С нами была инициатива и предприимчивость! Мы твердо верили, что еда достается тому, кто первый напал на нее, и что кофе по-венски—удел сильных. На одном участке армия плыла сорок восемь часов без крошки во рту; наконец, она прибыла к деревушке из трехсот жителей, названия которой я твердо не помню—кажется, Ред-Рок. Этот городок, следуя обычаю всех городов, мимо которых проплывала армия, выбрал комитет общественного спасения. Если считать пять человек на семью, то в Ред-Роке было шестьдесят хозяйств. Комитет общественного спасения пришел в ужас при виде двух тысяч голодных бродяг, выстроивших свои ладьи у речного берега двумя или тремя рядами. Генерал Келли был человек честный, он не хотел налагать непосильную тяготу на деревню. Он не предполагал, что шестьдесят хозяйств могут поставить две тысячи обедов. Кроме того, у армии было свое казначейство.

Но комитет общественного спасения потерял голову. «Никаких поблажек налетчикам!»—такова была программа, и когда генерал Келли пожелал купить провианта, комитет прогнал его. Продавать было нечего; деньги генерала Келли «не годились» в этой деревушке! И тогда генерал Келли приступил к действиям. Затрубили трубы. Армия побросала лодки и выстроилась в боевом порядке на берегу. Комитет был приглашен полюбоваться. Разговор генерала Келли был короток.

— Ребята!—проговорил он.—Когда вы последний раз ели?

— Позавчера!—проревели они в ответ.

— Вы голодны?

Общее подтверждение из двух тысяч глоток потрясло атмосферу. Тогда генерал Келли обратился к комитету спасения:

— Джентльмены! Вы видите положение. Мои люди ничего не ели двое суток. Если я напущу их на ваш город, то не отвечаю за последствия! Они теперь отчаянные! Я хотел купить для них провианта, но вы отказались продать. Теперь я беру свое предложение обратно. Вместо этого я требую! Даю вам пять минут срока! Либо убейте мне шесть волов и предоставьте четыре тысячи пайков, либо я выпущу на вас людей. Пять минут, джентльмены!

Пораженный ужасом комитет спасения поглядел на две тысячи голодных бродяг и съежился. Он не стал дожидаться пяти минут! Он не стал рисковать. Немедленно начался убой волов и сбор контрибуции,—и армия пообедала.

А десять бессовестных индивидуалистов продолжали нестись вперед и забирать все, что им попадалось на глаза! Но генерал Келли все

же подкузьмил-таки нас. По обоим берегам он послал верховых, которые предупредили на наш счет всех фермеров и горожан. Они отлично справились со своей задачей. Первые же гостеприимные фермеры встретили нас с ледяным равнодушием! Мало того, они позвали констэблей, когда мы привязали лодку у берега, и спустили на нас собак. Две собаки схватили меня в промежутке за изгородью из колючей проволоки, отделявшей реку. Я как-раз нес в эту минуту два ведерка молока для венского кофе. Я не стал, конечно, думать об ограде, но мы пили плебейский кофе на обыкновенной воде, и мне пришлось выклянчить пару штанов. Не знаю, любезный читатель, пробовали ли вы когда-нибудь поспешно взбираться на забор из колючей проволоки с ведром молока в каждой руке! С этого дня у меня какое-то предубеждение против колючей проволоки.

Потеряв возможность вести честную жизнь при наличии двух верховых генерала Келли впереди себя, мы вернулись к армии и подняли революцию. Дело было маленькое, но оно разложило роту «Л» второй дивизии. Капитан роты «Л» отказался признать нас; назвал нас дезертирами, предателями, прохвостами и, получив пайки из провианта для роты «Л», не дал нам ни шиша! Этот капитан не умел ценить нас, иначе он не отказал бы нам в еде! Мы тотчас же завели интригу с первым лейтенантом; он примкнул к нам с десятью рядовыми своей лодки, и мы избрали его капитаном роты «М». Капитан роты «Л» поднял шум, на нас набросились генерал Келли, полковник Спид и полковник Бекер. Но мы, числом в два десятка, твердо стояли на своем, и революция наша получила признание.

Мы не связывались с провиантскими комиссарами! Наши молодцы добывали у фермеров куда лучшие пайки. Однако, наш новый капитан не доверял нам. Он не знал, увидит ли опять свою «десятку», когда мы тронемся утром, и позвал кузнеца. На корме нашей лодки, по каждую сторону ее, прибито было два тяжелых железных болта с ушками. Соответственно на носу другой лодки было прикреплено два больших железных кольца. Лодки были снабжены концами, кольца вогнаны в ушки, и нас закрепили. Теперь мы не могли потерять этого капитана! Но справиться с нами было трудно. Из наших уз мы создали себе непобедимое оружие, давшее нам возможность обогнать все суда нашего флота!

Как и все великие изобретения, это наше открытие было сделано случайно. Мы его сделали, когда в первый раз, плывя по стремнине, натолкнулись на подводный ствол. Передняя лодка повисла на нем и застряла, а задняя была подхвачена течением и повернулась, повернув и переднюю. Я находился на корме задней лодки, правя веслом. Тщетно старались мы отпихнуться! Тогда я приказал пассажирам передней лодки перейти на заднюю. Тотчас же передняя

лодка всплыла, и пассажиры вернулись на нее. После этого подводные стволы, камни, отмели и другие заграждения уже не пугали нас! Как только передняя лодка застревала, ее пассажиры перепрыгивали на заднюю. Разумеется, передняя лодка тотчас же всплывала над препятствием, и тогда садилась задняя. Двадцать человек, сидевшие в задней лодке, как автоматы, перепрыгивали в переднюю, и задняя освобождалась и всплывала.

Все лодки армии были совершенно одинаковы, их делали по одному образцу и сколотили очень грубо. Это были плоскодонки не овальной, а четырехугольной формы. Каждая лодка имела в ширину шесть футов, в длину десять футов и в глубину полтора фута. Таким образом, когда наши лодки были скреплены вместе, я управлял с кормы судном в двадцать футов длины, на котором находились два десятка коренастых бродяг, сменявших друг друга на веслах и на руле, а в виде груза—одеяла, кухонные принадлежности и наш частный провиантский склад.

Все же мы причинили много хлопот генералу Келли. Он отозвал с берега своих конных стражей и заменил их тремя полицейскими лодками, которые плыли в авангарде и не давали ни одной лодке пройти мимо. В полицейских лодках густо сидели солдаты роты «Л». Мы легко могли обогнать их, но это было бы против правил, поэтому мы держались на почтительном расстоянии сзади и ждали. Мы знали, что впереди девственная крестьянская страна, еще «не обстрелянная» и щедрая; но мы ждали. Мы знали, чего мы дожидались; и когда обогнули излучину и показались пороги, мы поняли, что момент наступил. Трах! Полицейская лодка номер один натолкнулась на камень и застряла. Трах! Полицейская лодка номер два последовала ее примеру. Трах! Полицейскую лодку номер три постигла та же участь. Разумеется, то же случилось и с нашей лодкой; но люди наши—раз-два-три!—выскочили из передней и бросились в заднюю; раз-два-три!—они выскочили из задней и бросились в переднюю; и раз-два-три!—люди из задней лодки вернулись в нее, и мы всплыли.

— Стоп, сукины, распросукины дети!—раздался крик с полицейской лодки.

— Как мы можем остановиться? Эта проклятая река, попробуй!—жалобно взвыли мы, проносясь мимо, подхваченные неумолимым течением, которое скоро унесло нас от посторонних глаз в гостеприимный крестьянский край, снабдивший наш частный провиантский магазин сливками своих контрибуций. Опять мы начали попивать кофе по-венски и убеждаться, что жратва остается за тем, кто ее схватит.

Бедный генерал Келли! Он придумал другой план. Весь флот отправился впереди нас. Рота «М» второй дивизии заняла свое надлежащее место в линии, т.-е. последнее. И мне понадобился только один

союзник, чтобы расстроить и этот план! Перед нами простирались двадцать пять миль очень трудного речного пути—пороги, стремнины, отмели, камни. На этом участке реки древние обитатели Демуана сложили когда-то свои буйные головы. Впереди нас плыло около двухсот лодок, и они сгрудились самым изумительным образом. А мы проплыли между этим потерпевшим крушение флотом, как вода сквозь пальцы! Обойти эти камни, отмели и подводные стволы можно было только выйдя на берег! Но мы не обходили их. Мы просто перескакивали через них; раз-два-три, передняя лодка, задняя лодка; передняя лодка, задняя лодка; прыг назад, прыг вперед, прыг назад! Этой ночью мы разбили свой бивуак особняком и своевольничали весь следующий день, покуда они чинили свои разбитые посудины и догоняли нас.

Конца не было нашему озорству! Мы поставили мачту, подняли паруса (одеяла) и без труда подвигались вперед, тогда как им приходилось работать сверхурочно, чтобы не потерять нас из виду. Тогда генерал Келли прибег к дипломатии. Ни одна лодка не могла догнать нас прямым путем. Мы, без сомнения, представляли самую проворную банду, когда-либо плававшую по Демуану. Полицейские лодки были отменены. Полковник Спид был взят к нам на борт, и с этим отменным офицером мы имели честь прибыть первыми в Кеокук на реке Миссисипи. И здесь я хочу протянуть генералу Келли и полковнику Спиду руку. Ибо вы были герои, вы были мужчины! Я сожалею, по крайней мере, о десяти процентах хлопот, которые вам задала передовая лодка роты «М»!

В Кеокуке весь флот был связан в огромный плот, и когда мы проплыли сутки под ветром, пароход взял нас на буксир и повез в Миссисипи, в Квинси, в штате Иллинойс, где мы разбились лагерем за рекой на Гусином Острове. Здесь мы розняли наш плот, связали лодки группами по четыре и перекрыли их досками. Мне кто-то говорил, что Квинси—богатейший город в штате. Когда я услышал это, мною овладело неудержимое желание «пострелять». Ни один заправский бродяга не может пройти мимо столь многообещающего города. Я переплыл через реку в Квинси в маленькой лодчонке; вернулся же в большой лодке, до бортов нагруженной плодами моей «стрельбы». Разумеется, я оставил себе все настрелянные деньги, расплатившись, правда, с лодочником; кроме того, я взял свою долю ношеного белья и платья, рубах, носков, штанов и т. п.; и когда рота «М» забрала все, что ей нужно было, то осталась еще порядочная куча для роты «Л». Увы, я был молод и расточителен в те дни! Я рассказал тысячи сказок добрякам города Квинси, и каждая была шедевром; когда я начал писать для журнала, я не раз жалел о богатейшем запасе беллетристики, расточительно пролитом в тот день в Квинси, в штате Иллинойс!

Десять «Непобедимых» рассыпались в Ганнибале (штат Миссури). Это было сделано без умысла. Мы просто рассыпались в разные стороны. Я и Котельщик дезертировали тайком. В тот же день Скотти и Дэви быстро улизнули на Иллинойский берег; сбежали также Мак-Авой и Фиш. Это—шестеро из десяти; что сталось с остальными четырьмя, я не знаю. Чтобы дать представление, какую жизнь мы вели, привожу следующую выписку из моего дневника, который я вел в течение нескольких дней после бегства.

«Пятница, 25 мая. Котельщик и я покинули лагерь на острове. Мы переплыли на иллинойскую сторону в ялике и прошли шесть миль по дороге к Фелл-Крику. Шесть миль мы прошли пешком, а потом подсели на телегу и проехали шесть миль в Гуль на Вобаше. Здесь мы встретили Мак-Авоя, Фиша, Скотти и Дэви, также задавших дёру из армии».

«Суббота, 26 мая. В 2 часа 11 мин. ночи мы сели на «пушечное ядро», замедлившее ход на скрещении. Скотти и Дэви ссадили. Нас четверых ссадили в Блэфсе через сорок миль. Перед вечером Фиш и Мак-Авой сели на товарный поезд, в то время как мы с Котельщиком добывали жратву».

«Воскресенье, 27 мая. В 3 часа 21 мин. мы захватили «пушечное ядро» и нашли на площадке Скотти и Дэви. На рассвете нас всех согнали в Джэксон-Вилье. Здесь проходит дорога К и А. И мы по ней пойдем. Котельщик ушел и не вернулся. Я думаю, он попал на товарный».

«Понедельник, 28 мая. Котельщик не показывается. Скотти и Дэви ушли куда-то поспать и не вернулись к пассажирскому поезду К. С., уходящему в 3 часа 30 мин. ночи. Я сел на него и ехал до вечера, когда прибыл в Массон-Сити, 25.000 жителей. Сел в скотский поезд и ехал всю ночь».

«Вторник, 29 мая. Прибыл в Чикаго в 7 часов утра...»

Много лет спустя, в Китае, я с огорчением узнал, что способ, примененный нами для плавания по порогам Демуана,—раз-два-три! передняя лодка, задняя лодка,—изобретен не нами! Я узнал, что китайские лодочники уже много тысяч лет пользуются подобным же приемом для плавания по «скверной воде». Во всяком случае, это ловкая штука, хоть и не нам за это слава! Она вполне отвечает оставленному доктором Иорданом критерию истины: «Будет ли это действовать? Доверите ли вы свою жизнь?»

„БЫКИ“

Если бы бродяги вдруг исчезли в Соединенных Штатах, то это повлекло бы за собой катастрофу для многих семейств. Бродяги дают возможность тысячам людей зарабатывать честный хлеб, учить детей и воспитывать их в страхе божием и в труде. Я знаю это наверное. Одно время мой отец был констэблем и охотился за бродягами, добывая этим пропитание. Община платила ему по столько-то с головы за всех бродяг, которых ему удавалось изловить; кроме того, я думаю, он получал поверстные. Добывание средств всегда было жгучей задачей в нашем хозяйстве, и количество мяса на столе, новых пар башмаков, платья или учебников для школы зависело от удачи моего отца на охоте. Я очень хорошо помню подавленное любопытство и напряжение, с каким я ждал каждое утро сообщений о результатах ночной работы—сколько бродяг удалось сцапать отцу, и каковы шансы на то, что их осудят. И много позднее, когда мне, бродягой, случалось увернуться от какого-нибудь хищного констэбля, я искренно жалел маленьких мальчиков и девочек, обитающих в доме этого констэбля; мне казалось, что я лишаю этих малюток радостей жизни!

Но с этим ничего не поделаешь. Бродяга бросает вызов обществу, а сторожевые псы общества кормятся им. Некоторые бродяги любят даже предаваться сторожевым псам, особенно в зимнюю пору. Разумеется, такие бродяги выбирают общины, где тюрьмы «хорошие», т.-е. где не заставляют работать, а кормежка питательна. Кроме того, существовали, вероятно, и сейчас существуют, констэбли, делящие заработок с бродягами, которых они арестовывают. Такому констэблю не приходится охотиться. Он только свиснет—и добыча сама к нему подходит. Изумительно, какие деньги можно вытянуть из безденежного бродяги! По всему Югу—по крайней мере, так было в дни моего бродяжничества—разбросаны лагери и плантации, где время осужденных бродяг покупается фермерами и где бродягам простонапросто приходится работать. При этом есть такие местечки, как каменоломня в Ретленде, в штате Вермонт, где бродягу эксплоатируют, и все, что он накопил «стрельбой на дорогах», извлекается в интересах той или иной общины.

Я не имею понятия о каменоломнях в Ретленде, в штате Вермонт, и очень рад этому, хотя помню, что раз чуть не попал туда. Бродяги распространяли о них вести, и я впервые узнал об этих каменоломнях в штате Индиана. Попав в Новую Англию, я то-и-дело слышал о них, и всегда эти сообщения сопровождались тревожными сигналами. «В каменоломнях нужны рабочие,—говорил проходящий бродяга.—И бродяге там никогда не дают меньше девяноста дней». К приходу в Новый Гемпшир я хорошо был осведомлен об этих каменоломнях и всячески избегал железнодорожных крючков—«быков» и констэблей—как никогда раньше.

Однажды я вышел к железнодорожным путям станции Конкору и застал товарный поезд. Я выбрал пустой товарный вагон, отодвинул боковую дверь и залез в него. Надеялся к утру добраться к Уайт-Риверу; это значило попасть в штат Вермонт и очутиться не больше, чем в тысяче миль от Ретленда; но после этого, чем дальше на Север, расстояние между мною и опасным пунктом начало бы увеличиваться. В вагоне я застал бродягу, так и затрясшегося при моем появлении. Он принял меня за кондуктора, и когда узнал, что я тоже бродяга, начал рассказывать о каменоломнях в Ретленде—их он и испугался, увидя меня! Это был молодой деревенский парень, шатавшийся только по местным дорогам.

Поезд двинулся, мы легли в углу вагона и заснули. Через дватри часа на остановке я был разбужен шумом правой двери, с грохотом отодвинутой. Бродяга продолжал спать. Я не шевелился, только сощурил глаза так, чтобы можно было видеть, что делается. В дверь просунулся фонарь, за ним голова кондуктора. Он увидел нас и с минуту глядел на нас. Я готовился услышать от него отчаянную ругань или обычное: «Вылезай на полотно, жабий сын!» Вместо этого он потихоньку убрал фонарь и очень-очень тихо задвинул дверь. Это мне показалось необыкновенным и крайне подозрительным. Я прислушался и услышал, как скобка опустилась в петлю. Дверь заперли снаружи! Мы не могли открыть ее изнутри. Путь из этого вагона был загражден. Дело плохо! Я подождал несколько секунд, затем подполз к левой двери и попробовал ее. Она еще не была защелкнута. Я выдвинул ее, выскочил на землю и закрыл за собой. Затем перешел по буферам на другую сторону поезда. Я отпер дверь, запертую кондуктором, влез в вагон и задвинул ее за собой; теперь опять оба выхода были свободны. А бродяга продолжал спать!

Поезд тронулся. Он подошел к следующей остановке. Я услышал шаги на полотне. Затем левая дверь с шумом распахнулась. Бродяга проснулся. Я сделал вид, что проснулся. Мы сидели и таращили глаза на кондуктора и его фонарь. Он не стал тратить времени и сразу приступил к делу.

— Мне нужно три доллара!—объявил он.

Мы вскочили на ноги и подошли к нему ближе посовещаться. Мы выразили горячее, абсолютное желание дать ему три доллара, но объяснили свое бедственное состояние, вынуждавшее нас оставить это желание без удовлетворения. Кондуктор не поверил. Он стал торговаться с нами. Он готов согласиться на два доллара! Мы с сожалением сослались на свою нищету. Он наговорил нам много нелестных вещей, называл нас жабьими сынами, ругал на все корки. Потом начал грозить. Он объяснил, что если мы не раскошелимся, то он запрет нас и привезет к Уайт-Риверу, а там передаст властям. Он рассказал нам о каменоломнях в Ретленде.

Этот кондуктор воображал, что залучил нас в ловушку! Не стоял ли он у одной двери и не запер ли другую дверь всего несколько минут назад? Когда он заговорил о каменоломнях, испуганный бродяга начал бочком пробираться к двери. Кондуктор громко захохотал. «Не торопись!—сказал он.—Я запер эту дверь снаружи на последней остановке.—И он говорил с такой уверенностью, что слова его подействовали! Бродяга поверил ему и пришел в полное отчаяние.

Кондуктор объявил нам ультиматум. Либо мы дадим ему два доллара, либо он запрет нас и передаст констэблю в Уайт-Ривере, а это значит девяносто дней и каменоломни. Теперь представьте себе, любезный читатель, что вторая дверь была бы заперта. Как превратна жизнь человеческая! Из-за какого-нибудь доллара мне пришлось бы попасть в каменоломни и отслужить три месяца каторжных работ! То же самое пришлось бы и бродяге. Не считайте меня, потому что я безнадежен; но подумайте о бродяге! И после этих девяноста дней он вышел бы преступником на всю жизнь! И впоследствии мог проломить вам череп—даже ваш череп!—дубинкой в стараниях завладеть вашими деньгами, а если не ваш череп, так череп какого-нибудь другого невинного человека.

Но дверь была отперта, и я один знал это. Мы с бродягой взмолились о пощаде. Думаю, что я присоединился к его просьбам и нытью просто из озорства. Но я во-всю старался! Я рассказал кондуктору «историю», которая растопила бы сердце любого новичка, но она не смягчила сердца этого скаредного взяточника. Когда он убедился, что с нами нет денег, он задвинул дверь, накинул засов и подождал минутку—авось, мы его обманули и предложим ему теперь два доллара.

Тут я послал ему вдогонку несколько крепких слов. Я назвал его жабьим сыном. Вернул ему все клички, которыми он меня наградил, и добавил от себя кое-что! Я родом с Запада, где люди умеют ругаться, я не позволю какому-нибудь шелудивому кондуктору на паршивой ново-английской ветке превзойти меня в силе и выразитель-

ности брани! Вначале кондуктор отвечал мне смехом. Потом он сделал промах, попробовав отвечать. Я осыпал его тучей отборных ругательств, разделал его, что называется, под орех. И делал я это вовсе не по литературному капризу—я действительно возмущен был этой гнусной тварью, из-за какого-нибудь доллара готовой обречь меня на трехмесячное рабство! Кроме того, у меня было подозрение, что он делился прибылью с констэблем. Но я задел его за живое! Я ущемил его чувства и гордость на много долларов. Он попробовал пугнуть меня, пригрозив, что войдет в вагон и «выбьет из меня начинку». В ответ я пообещал ткнуть его в рожу, если он попробует полезть в вагон. Я занимал более выгодную позицию, и он это видел. Поэтому он закрыл дверь и позвал на помощь бригаду. Я слышал, как кондуктора откликнулись и заскрипели их шаги по насыпи. И все это время вторая дверь была не заперта, и они этого не знали; и все это время бедный бродяга помирал от страха!

О, я был герой, приготовивший себе удобное отступление. Я ругал кондуктора и его товарищей до тех пор, пока они не распахнули дверь и не показали свои разъяренные физиономии в свете фонарей. Им все казалось очень простым: они заперли нас в вагоне, сейчас влезут и изобьют нас! Они влезли! Я никого не хватил по лицу. Я просто распахнул противоположную дверь, и мы с бродягой улизнули! Бригада бросилась за нами.

Мы перескочили, если я правильно помню, через каменный забор. Но не помню, где мы именно находились. В темноте я очень скоро наткнулся на могильный камень и полетел. Бродяга растянулся на втором. Потом мы пустились бежать по кладбищу. Вероятно, покойникам никогда не приходилось видеть такой гонки! То же самое и поездной бригаде, ибо когда мы выбежали с кладбища и пустились по дороге в темный лес, кондуктора бросили погоню и вернулись к поезду. Немного спустя мы с бродягой очутились у колодца фермы. Нам хотелось пить; мы заметили, что с одной стороны колодца тянется веревочка. Мы вытащили ее, и на конце веревки нашли привязанную большую крынку сливок! Ближе я не подходил к каменоломням Ретленда в Вермонте.

Когда бродяги пускают слух о каком-нибудь городе, что там «быки неласковы», обойдите этот город или, если можете, пройдите его потихоньку! Есть города, через которые всегда надо проходить тихонько. Таков город Чейен на Союзной Тихоокеанской дороге. Он пользуется национальной репутацией «неласковости», и все это благодаря стараниям некоего Джеффа Кара (если я правильно вспоминаю это имя). Джефф Кар обладал талантом мгновенно узнавать любого бродягу. Он не вступал в дискуссию. Первую секунду он измерял бродягу взглядом, а в следующую ударял его обоими кулаками, дуби-

ной или чем попало. Избив бродягу, он выводил его из города с обещанием расправиться энергичней, если бродяга еще раз попадется ему на глаза. Джефф Кар знал свое дело. На Север, на Юг, на Восток и на Запад, до крайних пределов Соединенных Штатов (включая Канаду и Мексику) избитые бродяги разносили весть, что Чейен «неласков». К счастью, мне ни разу не случилось встретиться с Джеффом Каром. Я прошел Чейен в метель. Со мной в то время были восемьдесят четыре бродяги. В таком числе мы могли никого не бояться, даже Джеффа Кара. Но имя «Джефф Кар» поражало наше воображение, приводило нас в оцепенение, и вся наша банда смертельно боялась встречи с ним.

Редко бывает, чтобы стоило вступить в объяснения с «быком», когда он «неласков». Поскорей убираться—вот что надо делать. Я не сразу усвоил эту истину. Окончательно меня в ней наставил некий «бык» в Нью-Йорке. С той поры бросаться в бегство при виде направляющегося ко мне полисмена стало у меня вполне автоматическим действием. Это автоматическое действие сделалось главной пружиной моего поведения, пружиной, заведенной и в любой момент готовой размотаться. Этого я никогда не смогу в себе побороть. Даже если мне будет восемьдесят лет и я буду ковылять по улице на костылях, и ко мне вдруг направится полисмен,—я знаю, что брошу костыли и побегу быстрее лани.

Последний штрих моего образования по «бычачьей части» я получил в жаркий летний вечер в Нью-Йорке. Стояла неделя невыносимой жары. Я завел обыкновение «стрелять» по утрам, а послеобеденное время проводить в маленьком парке, расположенном у газетного ряда и городской думы. Здесь я покупал с лотка на колесах новейшие книги (попорченные во время печатания или в переплетной) за несколько центов. В парке находилась будочка, где за пенни можно было купить чудесного, холодного, как лед, стерилизованного молока или простокваши. Каждый вечер я садился на скамейку, читал и предавался молочному разгулу. Я выпивал от пяти до десяти стаканов в вечер. Жара была страшная!

Так я посиживал этаким смиренным, книголюбивым, млекопитающимся бродягой, и смотрите, что вышло! Однажды вечером прихожу я в парк со свеженькой книжкой подмышкой и огромной жаждой под ложечкой. Посредине улицы перед думой я заметил, пробираясь к молочной будке, собравшуюся толпу. Она скопилась на моем пути через улицу, и я остановился посмотреть, по какому случаю собралась толпа. Вначале я ничего не мог разглядеть. Затем по раздавшемуся стуку и возгласам я заметил, что кучка уличных мальчишек играет «в камушки». Играть «в камушки» запрещено на улицах Нью-Йорка. Я этого еще не знал, но не замедлил узнать. Простоял я

каких-нибудь тридцать секунд, в течение которых понял причину сборища, и вдруг услышал крик одного из мальчишек: «Быки!» Мальчишки знали свое дело, они побежали, а я своего дела не знал...

Толпа немедленно рассыпалась и хлынула на оба тротуара. Я направился к тротуару со стороны парка. Там было человек пятьдесят, первоначально находившихся в толпе, а теперь шедших в одном со мной направлении. Мы шли рассеянным строем. Я увидел «быка»— щеголеватого полисмена в сером мундире. Он шел посредине улицы, не торопясь, небрежной раскачкой. Я заметил, что он переменил направление и наискось направился к тому самому тротуару, к которому я шел прямиком. Он продолжал итти небрежной походкой, расталкивая остатки толпы, и я видел, что его путь и мой должны неизбежно скреститься. Я до такой степени не видел за собой ничего дурного, что, несмотря на свое знакомство с «быками» и их повадками, не испытывал ни малейшего страха. Мне даже и в голову не приходило, что «бык» направляется ко мне! Из уважения к закону я готов был в любой момент остановиться и дать ему пройти! Остановка действительно наступила, но не по моей воле; и не столько остановился, сколько отшатнулся назад. Без предупреждения «бык» внезапно двинул меня в грудь обоими кулаками! И буквально в ту же секунду выругал меня ублюдком, заодно крайне непочтительно отозвавшись о моих предках.

Кровь свободного американца так и закипела во мне. Все мои свободолюбивые предки разом завопили! «Что вам нужно?»—сказал я. Мне, как видите, нужно было объяснение. И я получил его! Трах! Дубинка опустилась мне на макушку, и я покатился по земле, как оступившийся пьяница; любопытные физиономии зрителей запрыгали перед моими глазами, как волны на море, драгоценная книга вывалилась из рук прямо в грязь, а «бык» уже приготовил дубинку для второго удара. И в этот головокружительный момент мне представилась картина: дубинка многократно опускается на мою голову; вот я избитый, окровавленный, обезображенный стою в полицейском суде; слышу обвинение в непристойном поведении, в богохульной брани, в сопротивлении чиновнику и во многом другом—все это читает секретарь, и я вижу себя в Блэквель-Айленде. О, я все понял! Я утратил всякий интерес к объяснениям! Я не стал подбирать моей драгоценной, еще непрочитанной книги. Я повернулся и побежал. Я был еле жив, но бежал! И буду бегать до смертного часа, всегда буду бегать, когда «бык» начнет объясняться со мной дубинкой...

Через много лет после моих скитаний, когда я был студентом калифорнского университета, я однажды вечером пошел в цирк. После спектакля и концерта я остался посмотреть, как действует

транспортная машина большого цирка. Цирк в эту ночь уезжал. У костра я наткнулся на группу мальчиков. Их было десятка два, и из их слов я узнал, что они собираются убежать с цирком. Циркачам не хотелось возиться с этой кашей ребят, и телефонный звонок в полицейский участок расстроил всю затею. Взвод в десять полисменов был отряжен на место действия заарестовать мальчуганов за нахождение на улице позже установленного часа. Полисмены окружили костер и в темноте тихо поползли к нему. По данному сигналу они кинулись вперед, запустив руки в кучу мальчишек, как в корзинку с кишащими угрями.

Я ничего не знал о вызове полиции, и когда вдруг со всех сторон высыпали «быки» в шлемах с медными пуговицами, и каждый протянул вперед руки, я потерял душевное равновесие; остался только автоматический процесс бега. И я побежал! Я не сознавал даже, что бегу. Я ничего вообще не сознавал; все это произошло чисто автоматически. Я не был бродягой. Я был гражданин этой общины. Это был мой город, здесь был мой дом. Я не провинился ни в каком проступке. Я был студент университета. Мое имя даже печаталось в газетах. Я носил приличный костюм, в котором ни разу не спал! И все же я побежал—слепо, безумно, как вспугнутая лань! И бежал целый квартал! Когда я пришел в себя, я заметил, что все еще бегу. Мне потребовалось серьезное напряжение воли, чтобы остановить свои ноги.

Нет! К этому я никогда не привыкну! Это сильнее меня! Когда «бык» приближается—я бегу! Кроме того, у меня несчастный дар попадать в тюрьму. С той поры, когда я перестал быть бродягой, я чаще попадал в тюрьму, чем во время скитаний. В одно воскресное утро я поехал с одной молодой девицей покататься на велосипеде. Не успели мы выехать за город, как нас арестовали за то, что мы обогнали пешехода на тротуаре. Я решаю впредь быть осторожнее! В следующий раз я выехал на велосипеде ночью—и у меня закапризничал ацетиленовый фонарь. Я ласково лелею умирающий огонек, памятуя об обязательном постановлении. Я тороплюсь, но еду шагом улитки, чтобы не загасить умирающее пламя. Я достиг границ города; я за пределами юрисдикции обязательных постановлений; я начинаю гнать во-всю, наверстывая потерянное время. Спустя полмили меня сцапал «бык», и на следующее утро я уже вношу залог в полицейский суд! Город вероломно раздвинул свои границы на добрую милю, я этого не знал, только и всего! Памятуя свое неотъемлемое право мирно собираться и свободно произносить речи, я стал однажды на ящик из-под мыла с намерением развить свои экономические взгляды перед собравшейся публикой—и вот «бык» стаскивает меня с ящика и отводит в городскую тюрьму, откуда меня выпу-

скают на поруки! В Корее меня арестовывали чуть не каждый день. То же самое и в Манджурии. В последнюю свою поездку в Японию я попал в тюрьму по подозрению, будто я русский шпион. В действительности этого не было, но в тюрьме я все-таки посидел. Я безнадежен! Очевидно, мне еще суждено проделать штуку в роде Шильонского узника! Это фатально!

Однажды я гипнотизировал «быка» на Бостонском Выгоне. Дело было за полночь, и он разделал меня под орех. Но перед тем, как отпустить, он вытащил серебряную монетку в четверть доллара и дал мне адрес ресторана, открытого всю ночь. Потом, помню, попался мне «бык» в Бристоле, в штате Нью-Джерси; он поймал меня и отпустил, а у него было достаточно поводов посадить меня в тюрьму! Я нанес ему такой удар, каких он не пробовал, вероятно, за всю свою жизнь. Случилось это так. Около полуночи я сел на товарный поезд, выехавший из Филадельфии. Кондуктор согнал меня. Поезд медленно полз в лабиринте путей и стрелок товарного двора. Я опять сел на поезд и опять был сброшен. Должен вам сказать, что на этом поезде приходилось сидеть «снаружи», ибо это был товарный поезд прямого сообщения и двери всех вагонов были заперты и запломбированы. Ссадив меня во второй раз, кондуктор прочел мне нотацию. Он объявил мне, что я рисковал жизнью, ибо это скорый поезд и идет очень быстро. Я ответил, что привык к быстрой езде, но это не помогло делу. Он объявил, что не позволит мне совершить самоубийство, и я слез на полотно. Но я сел на поезд в третий раз, поместившись между буферами. Это были самые скаредные буфера, какие я видел в жизни—я имею в виду не настоящие буфера,—парные железные тарелки, соединенные брусом, ударяющиеся и трущиеся друг о друга,—я имею в виду выступы, торчащие на концах товарных вагонов над буферами. Бродяга едущий на буферах, стоит на таких выступах, ногой на каждом выступе, а буфера находятся между его ногами чуть пониже.

Но выступы, на которых я в этот раз очутился, были не те честные, широкие выступы, какие в ту пору обычно устраивались на концах товарных вагонов. Эти, напротив, были очень узкие—шириною не больше полутора дюймов. Их нехватало и на половину моей подошвы. Притом не за что было ухватиться руками. Правда, имелись концы двух товарных вагонов; но концы—то плоские перпендикулярные поверхности, гладкие стенки вагонов. Ни выступа, ни ручки! Я мог только упереться ладонями в стенки. Это было бы ничего, если бы выступы под моими ногами имели приличную ширину.

Выйдя со станции в Филадельфии, поезд начал ускорять ход, и теперь я понял, почему кондуктор говорил о самоубийстве. Поезд

шел все быстрее и быстрее. Это был товарный поезд прямого сообщения, и ничто не могло остановить его. На этом участке Пенсильванской дороги рядом бегут четыре колеи, и моему восточному поезду не нужно было скрещиваться с западными поездами или бояться, что его нагонит восточный экспресс. Ему была отведена особая колея. Положение мое было крайне опасным. Я стоял на узеньких выступах, отчаянно упираясь ладонями рук в плоскости перпендикулярных стенок двух вагонов. А вагоны эти двигались и двигались индивидуально—дерг вверх, дерг вниз, дерг вперед, дерг назад! Видели ли вы когда-нибудь циркового наездника, когда он стоит на двух бегущих лошадях, ногой на каждой лошади? Вот это самое проделывал и я, но только с некоторыми различиями. Цирковой наездник держится за поводья, у меня же в руках не было ничего; он опирается всей широкой подошвой своих ног, а я стоял на кончиках пальцев. Он сгибает ноги и тело, приобретая устойчивость свода и пользуясь низким положением центра тяжести, тогда как я должен был стоять отвесно и держать ноги вытянутыми; он едет лицом вперед, тогда как мне приходилось держать голову повернутой в сторону. И, наконец, упав, он может только покатиться по мягким опилкам, тогда как я был бы размолот в кашу колесами.

А поезд летел с ревом и визгом, бешено качаясь на закруглениях, с грохотом пробегая мосты; конец одного вагона подпрыгивал вверх, в то время как другой дергался вниз или вправо в то время, как другой дергался влево. А я все время молил небо, чтобы поезд, наконец, остановился! Но он не останавливался. Ему не нужно было останавливаться! В первый, последний и единственный раз на «Дороге» я получил, что мне следовало. Я оставил буфера и кое-как умудрился перебраться на вагонную лесенку. Это была трудная работа, ибо никогда я еще не встречал таких скаредных вагонов, вагонов, до такой степени лишенных какой бы то ни было опоры для рук и ног!

Засвистел паровоз, и я почувствовал, что скорость уменьшается. Я знал, что поезд не остановится, но решил соскочить, если ход достаточно замедлится. В этом месте полотно закруглялось, пересекая мост над каналом, и проходило через город Бристоль. Совокупность этих обстоятельств вынуждала машиниста к медленному ходу. Я уцепился за боковую лесенку и ждал. Я не знал, что мы приближаемся к Бристолю, не знал, чем вызвано было замедление хода. Я знал только, что мне нужно соскочить! Напрягая глаза, я искал в темноте перекрестка, на котором можно было бы спрыгнуть. Я довольно низко висел на лесенке. Прежде, чем мой вагон попал в город, паровоз уже прошел станцию, и я почувствовал, что он ускорил ход.

Показалась улица. Было слишком темно, нельзя было ни определить ее ширину, ни разглядеть, что находится на другой стороне. Мне требовалось только одно: остаться на ногах после того, как я соскочу. Я соскочил влево. Но это только говорится легко. «Соскочил» значит вот что: прежде всего, держась за боковую лесенку, я выкинул свое тело вперед, насколько мог, в направлении хода поезда—это чтобы как можно больше откинуться назад при соскакивании. Затем я стал откидываться назад, назад изо всей мочи, отпустив поезд, и перестал держаться, запрокинувшись назад, словно хотел удариться затылком оземь. Все это для того, чтобы как можно больше нейтрализовать инерцию, сообщенную поездом моему телу. В момент, когда мои ноги коснулись земли, тело мое висело в воздухе под углом в сорок пять градусов к горизонту. До некоторой степени я уменьшил свою инерцию, ибо когда ноги мои ударились óземь, я не треснулся тотчас же ничком; вместо этого мое тело поднялось, заняв отвесное положение, и начало наклоняться вперед. Туловище мое в сущности еще сохраняло инерцию, ноги же, прикоснувшись к земле, потеряли ее. Эту утраченную инерцию ног мне пришлось восстановить, поднимая их как можно быстрее и мчась вперед, дабы они оставались под моим летящим вперед туловищем. В результате мои ноги отбивали быструю и мелкую дробь по мостовой. Я не смел остановить их. Если бы я остановил их, я стремглав полетел бы ничком наземь. Я должен был продолжать бег.

Я представлял собою живой снаряд, озабоченный тем, что находится на другой стороне улицы, и ласкал себя надеждой, что там не окажется стены или телеграфного столба. И вот я на что-то наткнулся. С ужасом я узнал этот предмет за мгновенье до катастрофы—представьте себе, «бык» вырос передо мной в темноте! Оба мы полетели наземь, перевернувшись несколько раз; и такова была автоматичность этого несчастного создания, что в момент столкновения он протянул руку, сцапал меня и не отпускал! Оба мы сильно расшиблись, и он, придя в себя, держал в руках бродягу, кроткого, как агнец.

Если бы у этого «быка» было воображение, он должен был принять меня за выходца с другой планеты, за человека с Марса, только-что прилетевшего; за темнотой он не видел, что я соскочил с поезда. И в самом деле, первые его слова были: «Откуда тебя чорт принес?» А следующие (хотя я еще не успел ответить и на первые): «Тебя надо запереть в каталажку!». Последнее, я убежден, он также сказал машинально. В сущности, это был добрый «бык», ибо когда я ему рассказал мою «басню» и помог ему почиститься, он дал мне отсрочку до следующего товарного поезда, чтобы я мог убраться из города. Я поставил два условия: во-первых, чтобы это был товар-

ный поезд направлением на Восток, и, во-вторых, чтобы это не был товарный поезд с запертыми и запломбированными дверями. На это он согласился. Таким образом, по условиям Бристольского Трактата, я избежал каталажки.

Помню другую ночь в этой части страны: в эту ночь я счастливо миновал другого «быка». Вот как произошло дело. Я жил в общественных конюшнях в Вашингтоне. В моем распоряжении находилось стойло и бесчисленное множество попон. За мою роскошную квартиру я обязан был чистить каждое утро нескольких лошадей. Если бы не «быки», я и сейчас находился бы в этой чудесной должности.

В один вечер, около девяти часов, я вернулся в конюшню, собираясь лечь спать, и застал игру в «крап» в полном разгаре. День был базарный, все негры были при деньгах. Нужно вам объяснить обычаи края. Конюшня выходила на две улицы. Я вошел с фасада, прошел через контору и вышел в проулок между двумя рядами стойл, тянувшихся во всю длину строения и открывавшихся проходом на другую улицу. Приблизительно посередине этого проулка, под газовой горелкой, между рядами лошадей, собралось десятка четыре негров. Я пристал к ним в качестве зрителя. Я был без гроша и не мог играть. Один из негров метал банк. Ему везло, и после каждой сдачи он удваивал ставку. На полу лежали деньги самых разнообразных наименований. Зрелище было восхитительное! После каждого «банка» все возростали шансы следующих банкометов. Всеобщее возбуждение достигло крайних пределов. И как-раз в это мгновение раздался грубый удар в огромные двери, открывавшиеся на заднюю улицу.

Несколько негров кинулось в противоположную сторону. Я тоже кинулся бежать, но на минуту приостановился и сгреб все деньги, валявшиеся на полу. Это не было воровство; это был просто обычай! Всякий, кто не бежал, брал деньги. Дверь с треском распахнулась, и в помещение ворвался отряд «быков». Мы кинулись в другую сторону. Кругом царила тьма, узкая дверь не хотела выпустить нас всех на улицу разом. Образовался затор. Один негр прорвался в окно, сорвав с собой подоконник, за ним последовали другие. Между тем в тылу у нас «быки» хватали отставших. Я и огромный негр одновременно бросились к дверям. Он был сильнее, без труда оттолкнул меня и выбежал первый. В следующее же мгновение дубинка обрушилась ему на голову, и он упал, как вол. Снаружи нас поджидал другой отряд полицейских. Они знали, что им не остановить бурного натиска бегущих, и пустили в ход дубинки. Я споткнулся об упавшего негра, который оттолкнул меня у дверей, увернулся от удара дубинки, нырнул между ногами «быка» и очутился на свободе. Ну, и бежал же я! Впереди меня мчался суто-

пырый мулат, и я последовал за ним. Он лучше меня знал город, и я понимал, что в той стороне, куда он бежит, лежит спасение. Он же принял меня за «быка». Он даже не оглядывался! Он просто бежал. Легкие у меня были крепкие, я не отставал от него и едва не уморил его бегом. Наконец, он споткнулся, упал на камни и сдался мне. И когда он узнал, что я не «бык», то меня спасло только то, что он выбился из последних сил.

Вот почему я убрался из Вашингтона—не из-за этого мулата, но из-за «быков». Я отправился на станцию и вскочил на первую площадку экспресса Пенсильванской железной дороги. Когда поезд разошелся, я отметил про себя его скорость; во мне зашевелились мрачные предчувствия. Это была четырехколейная железная дорога, и паровозы на ней забирали воду на ходу. Бродяги неизменно предупреждали меня никогда не садиться на слепые площадки поездов, паровозы которых забирают воду на ходу! Позвольте объяснить вам, в чем дело. Между рельсами бегут неглубокие металлические желоба. Когда паровоз на полном ходу пробегает над этими желобами, вниз опускается род наклоненного черпака или желоба. В результате вся вода из водоемов сбегает по этому наклонному желобу и наполняет тендер.

Между Вашингтоном и Балтиморой, сидя на «слепой» площадке вагона, я заметил тонкую струю воды, поднявшуюся в воздух. Она была довольно безвредна. «Ага,—подумал я,—это выдумка, будто забирание воды на ходу опасно для бродяги, находящегося на первой площадке! Как может быть опасна эта маленькая струйка?» Я начал восхищаться. Вот это железная дорога! Куда годятся жалкие, первобытные дороги Запада? Тут тендер наполнялся, даже не добежав до конца желоба! И вдруг целый водопад перелился через котел тендера прямо на меня! Я промок до нитки, точно упал за борт в море.

Поезд подкатил к Балтиморе. Как это часто бывает в больших городах американского Востока, железная дорога проходила ниже уровня мостовой, на дне огромной выемки. Когда поезд начал подходить к освещенному депо, я скорчился и съежился, как только мог, на своей площадке. Но железнодорожный «бык» увидел меня и открыл за мной погоню. К нему присоединились два других. Я пробежал депо, выбежал на полотно и попал в какую-то западню. По обе стороны вздымались высокие стены выемки, и если бы я, попробовав подняться по откосу, сорвался, то обязательно попал бы в тесные объятия «быков». Я продолжал бежать, осматривая стены выемки и ища удобного местечка, чтобы выбраться. Наконец, такое местечко мне попалось, когда я миновал мост, соединявший две верхних улицы. Цепляясь руками и ногами, я стал подниматься по крутому скату. Три железнодорожных «быка» тем же путем следовали за мной.

Наверху я увидел, что нахожусь на пустыре. С одной стороны его тянулась низкая стенка, отделявшая пустырь от улицы. Времени изучать положение не оставалось—«быки» гнались за мной по пятам! Я побежал к стенке и вскочил на нее. И здесь меня ожидал величайший сюрприз! Мы привыкли думать, что одна сторона стены такой же высоты, как и другая. Но с этой стеной дело обстояло иначе. Видите ли, пустырь находился на значительно более высоком уровне, чем улица. На моей стороне стена была низкая, но на другой стороне... словом, когда я соскочил со стены, мне показалось, что я лечу в бездну. И как-раз подо мной на тротуаре, в свете уличного фонаря, красовался «бык»! Я думаю, до тротуара было не больше девяти или десяти футов; но мне, пораженному ужасом, это расстояние показалось, по малой мере, вдвое больше!

Выпрямившись в воздухе, я спустился наземь. В первый момент мне казалось, что я лечу на «быка». Я мазнул его своим платьем, и ноги мои с треском ударились о тротуар. Удивительно, как он не упал замертво—он не видел и не слышал меня! Я должен был показаться ему человеком с Марса! Он подскочил и шарахнулся от меня, как лошадь от автомобиля, но сейчас же бросился за мной. Я не стал останавливаться для объяснений. Я предоставил это моим преследователям, довольно неуклюже спрыгивавшим со стены. Погоня возобновилась. Я пробежал одну улицу, потом другую, шмыгнул в переулок, и, наконец, улизнул.

Истратив часть денег, попавших в мой карман в карточной сумятице, и убив часок в кабачке, я вернулся к железнодорожной выемке за фонарями депо и стал ждать поезда. Я успел остыть и в своем насквозь промокшем платье отчаянно дрожал. Наконец, к станции подошел поезд. Я спрятался в темноте и успешно вскочил на поезд, когда он тронулся, на этот раз благоразумно избрав вторую площадку. Теперь я мог не бояться водопада. Поезд пробежал сорок миль до первой остановки. Я соскочил у освещенной станции, которая показалась мне странно знакомой: оказалось, я вернулся в Вашингтон! Каким-то образом в пылу балтиморской гонки, бегая по незнакомым улицам, виляя, изворачиваясь и лавируя, я спутал направления и сел в обратный поезд! Я провел бессонную ночь, промок до нитки, бегал от погони, как безумный, и за все свои труды прибыл обратно в то место, откуда выехал! О, нет, жизнь на «Дороге» не сплошная масленица! Но я не стал возвращаться в конюшню. Я довольно недурно поживился и не имел желания отчитываться перед неграми. Поэтому я «поймал» следующий поезд, и завтракал уже в Балтиморе.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРМИАН ЛОНДОН

ЖИЗНЬ ДЖЭКА ЛОНДОНА

Стр.

ДЖЭК ЛОНДОН

ДОРОГА
